



СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

ЧАСТЬ 1

Составитель: Сергей Митюрёв

<i>Максим Горький</i> Челкаш.....	3
<i>Василий Шукшин</i> Упорный.....	22
Дебил.....	31
<i>Вячеслав Кондратьев</i> Сашка.....	36
<i>Александр. Солженицын</i> Правая кисть.....	115
<i>Михаил Булгаков</i> Собачье сердце.....	122
<i>Михаил Зощенко</i> Аристократка.....	157
<i>Владимир Войнович</i> Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.....	159
<i>Илья Ильф, Евгений Петров</i> Двенадцать стульев.....	213
Часть первая. Старгородский лев.....	213
Глава I. Безенчук и «Нимфы».....	213
Глава II. Кончина мадам Петуховой.....	218
Глава III. «Зерцало грешного».....	222
Глава IV. Муза дальних странствий.....	225
Глава V. Великий комбинатор.....	228
Глава VI. Брильянтовый дым.....	232
Глава VII. Следы «Титаника».....	236
Глава VIII. Голубой воришка.....	238
Глава IX. Где же ваши локоны?.....	244
Глава X. Слесарь, попугай и гадалка.....	248
Глава XI. Алфавит «Зеркало жизни».....	254
Глава XII. Знойная женщина – мечта поэта.....	260
Глава XIII. Дышите глубже: вы взволнованы!.....	266
Глава XIV. «Союз меча и орала».....	274
Часть вторая. В Москве.....	281
Глава XV. Среди океана стульев.....	281
Глава XVI. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца.....	282
Глава XVII. Уважайте матрацы, граждане!.....	286
Глава XVIII. Музей мебели.....	290
Глава XIX. Баллотировка по-европейски.....	295
Глава XX. От Севильи до Гренады.....	301
Глава XXI. Экзекуция.....	307
Глава XXII. Людоедка Эллочка.....	313
Глава XXIII. Авессалом Владимирович Изнуренков.....	318
Глава XXIV. Клуб автомобилистов.....	324
Глава XXV. Разговор с голым и инженером.....	329
Глава XXVI. Два визита.....	333
Глава XXVII. Замечательная допровская корзинка.....	336
Глава XXVIII. Курочка и тихоокеанский петушок.....	340
Глава XXIX. Автор «Гаврииады».....	345
ГЛАВА XXX. В театре Колумба.....	349
Часть третья. Сокровище мадам Петуховой.....	356
Глава XXXI. Волшебная ночь на Волге.....	356
Глава XXXII. Нечистая пара.....	361
Глава XXXIII. Изгнание из рая.....	365
Глава XXXIV. Междупланетный шахматный конгресс.....	368
Глава XXXV. И др.....	377
Глава XXXVI. Вид на малахитовую лужу.....	379
Глава XXXVII. Зеленый мыс.....	384
Глава XXXVIII. Под облаками.....	389
Глава XXXIX. Землетрясение.....	393
Глава XL. Сокровище.....	400

Максим Горький

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом. Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки паровых судов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, – к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков – то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, – рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию¹. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-паровозы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, – машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это – наступило время обеда.

¹ Меркурий – в древнеримской мифологии бог торговли, покровитель путешественников. Изображался в крылатых сандалиях, дорожной шляпе и с жезлом в руках.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, – появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурные усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

– Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

– Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

– Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.

– Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз² Добровольного флота³.

– Пошел к черту! Товарищ повернул назад.

– Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

– Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

– Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарашило глаза и было очень смешно.

² Пакгауз – помещение для хранения грузов.

³ Добровольный флот – российское морское судоходное общество, основанное на добровольные пожертвования в 1878 году.

– Сказано тебе – в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

– Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

– Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!.. Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

– Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, – ты Мишку не видал?

– Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

– Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своем Челкаш.

– С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдало чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

– Ага, ишь ты! а ты говоришь – не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

– Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

– Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки – здоровы? – И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: – В гости к тебе собираюсь, да все времени нет – пью все вот...

– Ну, ну, – ты это брось! Ты, – не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

– Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

– Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! – крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

– Я – босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, – ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата оцупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суতোлке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, шуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, – он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной⁴ рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

– Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

– Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. – С косовицы, что ли?

– Как же!.. Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду – уйма! Голодающий этот самый приплелся, – цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

– Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там тръшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и – получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

– Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

– Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

– Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

– Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: – Рыбак я...

– Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

– Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда – все! Удочки такие есть для этого...

– Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети

По сухим берегам

Да по амбарам, по клетям!..

– А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

– Нет, видать где же! Слыхал...

– Нравятся?

– Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

– А что тебе – свобода?.. Ты разве любишь свободу?

– Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел – куда хошь, делай – что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, – первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

– Сейчас вот мое дело... – говорил тот. – Отец у меня – умер, хозяйство – малое, мать-старуха, земля высосана, – что я должен делать? Жить – надо. А как? Неизвестно.

⁴ Пестрядина – название употребляется для обозначения грубых льняных или бумажных тканей, полосатых или клетчатых, деревенской выделки.

Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь – теть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и – Антипу-то – на-кося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. – А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, – шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!.. Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

– Теперь куда ж ты?

– Да ведь – куда? известно, домой.

– Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

– В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

– Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь. Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

– Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

– Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

– Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

– Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

– Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

– А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

– Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, – за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда

неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

– Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, – больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть.

Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

– Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

– Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

– Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

– Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

– Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш – с важной миной хозяина, покручивая усы, парень – с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

– А как тебя звать? – спросил Челкаш.

– Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегда заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!» – на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который – славный человек! – так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

– Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

– Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

– Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

– Ну-ка, идем! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

– Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

– Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

– Сейчас! Уключина вот шатается, – можно разок вдарить веслом?

– Ни-ни! Никакого шума! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

– Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.

– Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, – длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

– Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.

– Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

– Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, – и он протянул Гавриле бутылку.

– Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

– Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

– Хорошо море? – спросил Челкаш.

– Ничего! Только боязно в нем, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

– Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желанием ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, – охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

– А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

– Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

– Ты вот что – сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

– Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

– Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

– Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

– Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

– Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

– Эй! кто орет? – донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

– Сам ты и орешь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

– Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами – конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу – к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

– Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

– Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

– Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

– Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? – ну и молчи!

– Господи! – вздохнул Гаврила.

– Ну-ну!.. куксись у меня! – оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертась в узких полосах воды между бортами.

– Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем – молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

– Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: – Судьбина моя пропащая!..

– Не ной! – внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапты.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

– Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

– Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь – на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, – какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея.

Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

– Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

– Устал? – спросил он.

– Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там – получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитяtko?

– Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

– Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

– Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крикнул.

– Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

– Ну, греби тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море – тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

– Эх, кабы дождь пошел! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания – баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

– Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, – кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой – он ждал – вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, – он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, – но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

... Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, – поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж⁵ обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевающая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

– Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

⁵ Такелаж – общее название всех снастей на судне.

– Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь – только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут – далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... – Челкаш торжествующе оглянулся кругом. – Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастливы ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желанья не было уже в нем – он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

– Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как – точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

– Я слышу, – тихо сказал он.

– То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я – на весла, устал, походи!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

– Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

– Мне – ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, – и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

– Ну, скажи мне, – заговорил Челкаш, – придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

– Какой уж смак! – робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

– Правее держи! – сказал Челкаш. – Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна – и полтысячи я тяпнул!

– Полтысячи?! – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А это что же будет за вещь?

– Это – дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

– Н-да-а?... – вопросительно протянул Гаврила. – Кабы мне так-то вот! – вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... – Эх, важно бы!.. – грустно вздохнул он.

– Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгροхал – ну, для дома денег, положим, маловато...

– Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

– Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

– Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

– Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

– Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

– Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, – он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал рассказывать ему:

– Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом – грош ему цена – да он твой. У тебя земля своя – и того ее горсть – да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? – воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

– Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие – самолюбие бесшабашного удальца – бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

– Замолол!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

– Да чудак человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, – много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...

– Садись, тюлень, в весла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и

плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца – рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овеванным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

– Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

– Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

– Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

– Устал...

– Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.

– Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

– Пять сотен?

– Не меньше.

– Это, тово, – сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

– По крестьянству?

– Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, ступенчатое приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды. Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

– Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

– Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

– Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

– Ну, спускай трап!

– Калимера, Селкаш!

– Спускай трап, копченый дьявол! – взревел Челкаш.

– О, сердытий пришел сегодня... Элоу!

– Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном

сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

– Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

– Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

– Эй, теленок, вставай!.. – толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

– Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Баринот стал!

– У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

– Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

– Ну, а еще раз поехал бы? а?

– Еще?.. Да ведь это – как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

– Ну ежели бы две радужных?

– Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

– Стой! А как душу-то загубишь?..

– Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

– Ну, ладно! будет шутики шутить. Едем на берег... И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

– Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

– Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

– Эге!.. – подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него...

– Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

– Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана. Гаврила увидел пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

– Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это – сколько?

– Пятьсот сорок!

– Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-эх-ма!.. Кабы такие деньги!.. – И он угнетенно вздохнул.

– Гульнем мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

– Коли не обидно тебе – что же? Я приму! – Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

– Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

– А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

– Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

– Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

– Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой – прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

– Нет... я... не пойду... я... – Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

– Что это тебя корчит? – спросил он.

– Так... – Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

– Ну ты к черту! – махнул рукой Челкаш. – Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

– Уходишь?! – звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

– Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь – только в ночь... А мне – года нужны... Дай – молиться за тебя буду! Вечно – в трех церквах – о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы – в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна – и богат! Сделай доброе дело! Пропаший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы – ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно тарашил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

– На! Жри... – крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

– Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь – нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

– Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. – визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. – Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу – молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного – никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

– Осчастливил ты меня! – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

– Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

– Дай сюда деньги!.. – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, – другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи – и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

– Что, счастлив ты? – сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила

кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

– Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды – сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

– Брат, встань-кось! – шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

– Поди прочь!..

– Брат! Прости!.. дьявол это меня... – дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

– Иди... Ступай... – хрипел тот.

– Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

– Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! – вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. – Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! – И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

– Тьфу! – плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

– Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

– Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. – презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. – Деньги взял? – сквозь зубы процедил он.

– Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!.. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

– Возьми и ступай!

– Не возьму, брат... Не могу! Прости!

– Бери, говорю!.. – взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

– Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

– Врешь, возьмешь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

– Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

– Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

– Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

– Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

– Ну прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

– Прости, брат!.. – еще раз попросил Гаврила.

– Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо держа свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

Василий Шукшин

Упорный

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель – невозможен. По тем-то и тем-то причинам потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему – Моня. Его звали – Митька, Дмитрий, но бабка звала его – Митрий, а ласково – Мотья, Мотя. А уж дружки переделали в Моню – так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель-невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие-в разные времена-предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже подумал: «Да ну!.. Что значит – невозможен?»

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было, если ему влетела в лоб какая-то идея, – то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, – то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал – ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор – все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно. Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы – как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колесо жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса, желоб – так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька). Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать, ну, не толкать – давить на него будет, на стерженек-то! А

стерженек соединен с осью, ось закрутится – закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника: пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромный простор своей родины, России, – как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине – идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в такой ходьбе – ничего больше, идет, и все, почудилось Моне некое собственное величие. Вот так пройдет человек по земле – без крика, без возгласов, – поглядит на все тут – и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы – хотелось, но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал – там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, – скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах – просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать – кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб – как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, ручкомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению – к ручкомойнику умыться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время – умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко – хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как

сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотыкина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что есть она и вроде ее нет.

– Чего эт ты седня такой? – спросила бабка, когда сидели завтракали.

– Какой? – спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

– Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

– Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле,

– Подь ты к лешему! – Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: Ну, и что бы ты с имя стал делать?

– Что?.. А ты что?

– Я тебя спрашиваю.

– Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

– Мне ничего не надо. Может, дом бы перебраться...

– Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать – гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

– Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

– Начинается! – недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью – нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру.– Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась:

– А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

– Ну, и... придет-значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотыка не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

– Дак чего приснилось-то?

– Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

– Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет – не возрадуется.

– Ничего! – беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. – Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в оgrade, возился с мотоциклом.

– Здравствуй! – сказал Моня.

– Здравствуй! – не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь, – подумал Моня.– Молодой еще».

– Зашел сказать свое «фэ»,– продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

– Что еще за «фэ»?

– Как ученые думают насчет вечного двигателя? – сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. – А?

– Что за вечный двигатель?

– Ну этот – перпетуум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

– Ну? И что?

– Как сейчас насчет этого думают?

– Да кто думает-то? – стал раздражаться инженер.

– Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

– Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

– Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу:

– Сняли.

– Не рано? – не давал ему уйти от разговора Мона.

– Что «не рано»? – оглянулся опять инженер.

– Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Монию:

– Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Мона тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

– Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее взгляделся в Монию... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку – тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

– Поздравляю.

Мона обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель – невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми – это тяжело, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его – чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

– А что дальше? – спросил Мона.

– В каком смысле?

– Ну, ты поздравил... А дальше?

– Дальше – пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

– Придумал.

– Ну вот... – Инженер усмехнулся, качнул головой. – Вот и двигай теперь... Пиши что ли, я не знаю.

Мона помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

– Ну, а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно.

– Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревно, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Монию сверху.

– Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

– Полтора года.

– Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком. Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

– Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу – бредятина! – изумился Мона, чувствуя, что все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

– И узнавать не хочу.

– Почему?

– Потому что – это глупость, И ты должен сам понимать, что глупость.

– Ну, а вдруг не глупость?

– Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

– Спасибо за совет.– Моня встал.– Вообще за добрые слова...

– Ну вот...– сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно.– И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

– Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

– Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! – воскликнул инженер.– Почти девять лет учился, и – на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

– Да вот так все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

– Да не махнули рукой, а доказали давно: не-воз-можен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? – Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал: – Что же ты восемь с половиной лет делал?

– Смолил и к стенке становил, – тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру.– Что ты как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

– Вот видишь... – чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. – Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить. – Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел напрямик домой – к чертежу. Шаггал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз-вот он-давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но – вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны – подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал что делать. Делать что-то надо было – иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дому, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал – в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

– Здравствуйте, – сказал Моня. – А муж уехал?

– Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

– А вы же ведь учительница? – спросил он.

Хозяйка удивилась:

– Да, А что?

– По какому?

– По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку – что она еще не привела себя в порядок, – прошел к столу.

– Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда. Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

– Что? – спросил Моня.

– А в чем дело-то? – тоже спросила учительница, подходя к столу.

– Смотрите, – стал объяснять Моня по чертежу, – вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он – вот так вот наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

– Надавит...

– Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

– Это что же, вечный двигатель, что ли? – удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

– Что это? – спросила она.

– Да вы же сами сказали!

– Вечный двигатель?

– Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

– А? – спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

– Не будет колесо вращаться, – сказала учительница.

– Почему?

– Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

– Ну, ребята!.. – заговорил он. – Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? – Моня остановился, глядя в упор на женщину. – Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась,

– А вам нужно, чтобы оно вращалось? – спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил – все свое:

– Почему оно не будет вращаться?

– А как вам муж объяснил?

– Муж... никак. Муж взялся стыдить меня, – И опять Моня кинулся к чертежу: – Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

– Давит.

– Давит, Стержень от этого давления...

– Знаете что, – прервала Моню учительница, – чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

– Знаю.

– Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

– Только подождите меня, ладно? – попросила учительница. – Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась:

– Мне одеться нужно...

– А-а, – догадался Моня. – Ну конечно. Я на крыльце подожду. – Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: – Вот дела-то! Да?

– Я сейчас, – сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

– Вот!.. – сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. – Видите, как все продумано! А вы говорите... – И повернулся к Моне, И, потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять:

– Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень – вертикально. Вот... – Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень. – Вот сюда мы его присобачим... Так? – Гекман был очень доволен. – Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от. – Учитель и пружину изобразил. – А другим концом...

– Я уже такой двигатель видел в книге, – остановил Моня учителя. – Так не будет крутиться.

– Ага! – воскликнул счастливый учитель. – А почему?

– Пружина одинаково давит в обои концы...

– Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз – это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень и на желоб. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что – чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

– Да как же?! – вскинулся он, – Вы что? По желобу он только скользит, – желоб можно еще круче поставить, – а на стержень падает. И это – одинаково?! – Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость,

– Да! – тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. – Одинаково! Эта неравномерность – это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

– Да горите вы синим огнем с вашим равенством! – горько сказал Моня. Стрелб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор, Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось – покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу – с изумлением, враждебно – смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

Пришел на речку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то беспокоилась, бормотала сама с собой – и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо – шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два – говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет – пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей – трех примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот – медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

– Доброе утро! – сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

– Здорово! – откликнулся инженер.

– А ведь крутится! – сказал Моня. – Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню – не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

– Двигатель, что ли?

– Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

– Правда, что ли?

– Пойдем – поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

– Ну, это... фокус какой-нибудь, – все же не верил он. – Подстроил там чего-нибудь?

– Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и крутится.

– От чего колесо-то?

– От велика.

Инженер приостановился:

– Ну, правильно: там хороший подшипник – оно и крутится.

– Да, – сказал Моня, – но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благодное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

– И всю ночь крутится? – не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

– Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его, и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Мoneй, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Мone даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

– Приготовились! – сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай – крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

– Ну-у, – сказал инженер. – Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал.

Не смешно, парень.

– Ну, извини, – сказал Моня, довольный. – Пойдем – у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся:

– Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату...

Прошли уже было, но бабка услышала.

– Мотька, где был-то всю ночь? – спросила она.

– Спи, спи, – сказал Моня. – Все в порядке.

Они вошли в горницу.

– Садись, – пригласил Моня. – Я сейчас организую...

– Да ты... ничего не надо организовывать! – сказал инженер шепотом. – Брось. Чего с утра организовывать?

– Ну ладно, – согласился Моня. – Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

– Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился? А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный – как если бы у него уже было трое детей и он смотрел, как они развиваются.

– Весь день вчера угробил... Дело не в этом, – заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством, – дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

– Не должно, – сказал инженер. – В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек – улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо – не до этого стало.

– Учиться надо, дружок, – посоветовал инженер, – тогда все будет понятно.

– Да при чем тут – учиться, учиться, – недовольно сказал Моня. Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

– Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

– Давай еще по рюмахе?

– Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

– Шагай вольнее, – сказала она, – все равно не сплю.

– Здравствуй, бабушка! – поприветствовал ее инженер.

– Здорово, милоч. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

– А в старости-то что будем делать? – сказал инженер весело.

– В старости тоже не поспишь.

– Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

– Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным – всходило солнце. Село пробудилось; хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит-недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. люди, милые люди... Здравствуйте!

Дебил

Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем – «Дебил». Дебил – это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопаю. А потом это слово пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь – Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала – Дебил. Анатолий психовал, один раз «приварил» супруге, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что Дебил – так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. «Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?.. Лапочка ты моя, синеокая ты моя... Свинцовой примочкой надо – глаз-то. Купить?»

Так довели мужика с этим Дебилем, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но... Не то что денег не было, а – не решался. Засмеют деревенские: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима – он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой поверху, с вмятинками – там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя

пальцами шляпу, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

– Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот выбирает, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

– Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «цивилизейшен» (так он про себя называл шляпы), погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

– Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа – это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните, – Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Оглоеды, – подумал он про людской поток в целом. – Куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Можно же не торопиться».

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

«Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попусту-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же – обзывать! А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком пристегнул бы ее к челюсти – что тогда?»

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки тупого психоза.

– Ой, умру! – сказала она с трудом.

– Схороним, – сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность.

– Ты что, сдурел? – спросила жена.

– В чем дело?

– Зачем ты ее купил-то?

– Носить.

– У тебя же есть фуражка!

– Фуражку я дарю вам, синьорина, – в коровник ходить.

– Вот идиот-то. Она же тебе не идет. Получилось, знаешь, что: на тыкву надели ночной горшок.

Анатолий с прищуром посмотрел на жену... Но интеллигентность взяла вверх. Он промолчал.

– Кто ты такой, что шляпу напялил? – не унималась жена. – Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты – шляпу. Да ты что?!

Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался.

– Шалашня!⁶ – сказал он. – Могу ведь смазь замастырить.⁷ Замастырить?

– Иди, иди – покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться все будут!..

– Смеется тот, кто смеется последний.

С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно даже позволить кому-нибудь подержать в руках – у кого руки чистые.

⁶ жарг. женщины, бабье.

⁷ жарг. изувечить.

Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками. По-разному оценили шляпу: кто посмеялся, кто сказал, что – хорошо, глаза от солнышка закрывает... Кто и вовсе промолчал – шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один...

Его-то, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он – это учитель литературы, маленький, ехидный человек. Глаза, как у черта, – светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался Дебилем. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку (старая от известки испортилась, облезла). Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил:

– А один конец вот сюда спустите: здесь будет настольная лампа.

– Никаких настольных ламп, – ответил Анатолий. – Как было, так и будет – по старой ведем.

– Старое отменили.

– Когда?

– В семнадцатом году.

Анатолий обиделся.

– Слушайте... вы сильно ученый, да?

– Так... средне. А что?

– А то, что... не надо здесь острить. Ясно? Не надо.

– Не буду, – согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу. И привернул розетку.

Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель, довольный, вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что «нечего своевольничать! Как было, так и будет. Ясно?» Учитель сказал: «Я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете?» – «Потому, что... знаете? – нечего меня на понт брать! Ясно? А то ученых развелось – не пройдешь, не проедешь». Почему-то Анатолий невзлюбил учителя. Почему? – он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть... Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался... и смотрел в глаза Анатолию – прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза! Нет, это он пустил по селу «Дебила», он, точно.

Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок. На шаги оглянулся, поздоровался, скорей машинально... Отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся... Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром.

– Здравствуйте! – сказал учитель. – А я смотрю: тень какая-то странная на воде образовалась... Что такое, думаю? И невдомек мне, что это – шляпа. Славная шляпа! Где купили?

– В городе, – Анатолий и тон этот подхватил – спокойный, подчеркнута спокойный. Он решил дать почувствовать «ученому», что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. – Нравится?

– Шикарная шляпа!

Анатолий спустился с бережка к коряжке, присел на корточки.

– Клюет?

– Плохо. Сколько же стоит такая шляпа?

– Дорого.

– Мгм. Ну, теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку – и на стенку. Иначе поля помнутся, – учитель посмотрел искоса – весело – на Анатолия, на шляпу его...

– Спасибо за совет. А зачем же косяк давить? Мм?

– Как это? – не понял учитель.

– Да вот эти вот взгляды... косые – зачем? Смотреть надо прямо – открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо.

– Да... Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду. Так... иногда почему-то хочется искоса посмотреть, черт его знает почему.

– Это неуважение.

– Совершенно верно. Невоспитанность! Учишь, учишь эти правила хорошего тона, а все... Спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже – интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.

– Правила хорошего тона?

– Да. А что?

– Изучают такие правила?

– Изучают.

– А правила ехидного тона?

– Э-э, тут... это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность. Талант, если хотите.

– Клюет!

Учитель дернул удочку... Пусто.

– Мелюзга балуется, – сказал он.

– Мули.

– Что?

– У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль – рыбка такая, ма-аленькая... Считаете, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой?

– Та ну их!.. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь... Надо иногда и подумать. Тоже не вредно. Правда?

– Это смотря в каком направлении думать. Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить теще...

Учитель засмеялся.

– Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову. Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещу – это все-таки довольно угловатая мысль, с зазубринами.

– Ну, о чем же вы думаете? С удочкой-то?

– Да разное.

– Ну, все же?

– Ну, например, думаю, как... Вам сколько лет? – учитель весело посмотрел на Анатолия. Тот почему-то вспомнил «Дебила».

– Сорок. А что?

– И мне сорок. Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку – и так пройтись по селу? А?

Анатолий стиснул зубы... Помолчал, через силу улыбнулся.

– Нет, не хочется.

– Значит, я один такой... Серьезно, сижу и думаю: хорошо бы пройтись босиком по селу! – учитель говорил искренне. – Ах, славно бы! А вот не пройдешь... Фигушки!

– Да... – неопределенно протянул Анатолий. Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит, покидал камешек на ладони и положил на место. И еще сказал непонятно: – Так-так-так...

– Слушайте, – заговорил учитель горячо и серьезно, – а давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся! Какого черта! Вместе. Я один так и не осмелюсь... Будем говорить о чем-нибудь, ни на кого не будем обращать внимания. А вы даже можете в шляпе!

Анатолий, играя скулами, встал.

– Я предлагаю тогда уж и штаны снять. А то – жарко.

– Ну-ну, не поняли вы меня.

– Все понятно, дорогой товарищ, все понятно. Продолжайте думать... в таком же направлении.

Анатолий пошел вразвалочку по бережку... Отошел метров пять, снял шляпу, зачерпнул ею воды, напился... Отряхнул шляпу, надел опять на голову и пошагал дальше. На учителя не оглянулся. Пропел деланно беспечно:

Я ехала домо-ой,

Я думала о ва-ас;

Блестяща мысль моя и путалась и рвалась...⁸

Помолчал и сказал негромко, себе:

– В гробу я вас всех видел. В белых тапочках.

⁸ Искаж. слова из популярного романа Марии Пуаре.

*Кондратьев Вячеслав Леонидович
(1920–1993)*

Русский писатель, участник Великой Отечественной войны. В творчестве Кондратьева военная тема занимает главное место. Продолжая антимилитаристскую традицию русской литературы, писатель показывает в своих произведениях суровую правду войны, ее жестокость и бесчеловечность, изображает поведение человека в экстремальных условиях.

Переживание крушения прежних идеалов в последние годы писателя усугублялось его болезнью и ощущением собственной ненужности. Разочаровавшись в происходящих в России переменах, покончил жизнь самоубийством.

Вячеслав Кондратьев

Сашка

Всем воевавшим подо Ржевом – живым и мертвым – посвящена эта повесть

1

К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края роши прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно.

Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка, что чернеет на середине поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роша в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.

По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали – от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый пенёк или куст фрицем оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.

Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса, в летах, тем тяжко.

Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтоб немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать – сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете?

Когда наступали они днями на Паново, заметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие (немца-то зимой убило и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в польню и начерпал сапоги доверху. Стал снимать – ни в какую! Голенища узкие стянулись на морозе, и, кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти – сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку. Пришлось согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести

обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.

Место, где фриц лежит, Сашка заприметил, даже ориентир у него есть: два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березу эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая – откладывать ничего нельзя.

Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, накашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости – что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает – и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле в это самое место мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.

Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все! Отложу-ка на утро, подумал он и начал взбираться обратно.

А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо них, и как бы не прошло совсем, и не совершить им тогда ничего геройского, о чем мечталось вечерами в теплой курилке.

Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения. Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем, а они металась на заснеженном тогда поле... Хорошо, наши сорокапятки⁹ затывкали, отогнали фрицев.

Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили, отделялись утренними и вечерними минометными налетами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли поперет немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться?

Часа через два пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сем. Сержант все о выпивке мечтает – разбаловался в разведке, там чаще подносили. А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось – граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по сто – и не почувствуешь. Да не до водки сейчас... С хлебцем плохо. Навару никакого. Полкотелка жидни пшенки на двоих – и будь здоров. Распутица!

⁹ Сорокопятка - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, использовалась на первом этапе [Великой Отечественной войны](#), но в связи с недостаточной бронепробиваемостью была заменена [1942 году](#) на более мощную пушку [М-42](#) того же калибра.

Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его, сонного, на свое место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...

Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна уходил и один раз даже поднялся напарника проверить – ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыха, когда на пост заступил, – на самого себя надежи-то больше.

Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать – так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило: надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...

До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой – чистое поле. Как бы немец не засек! Здесь уж на пузе придется, ползком... Сашка помедлил малость, обтер пот со лба... Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы¹⁰ насквозь водой пропитались – и за лето не просушить, а тут сухенькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!

Без останову дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится мертвого тела касаться, его не смущало – попривыкли они к трупам-то. По всей роще раскиданы, на людей уже не похожие. Зимой лица их цвета не покойницкого, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались – красноватыми.

В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось, пришлось на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел... Значит, один есть.

Небо на востоке зажелтилось немного, но до настоящего рассвета еще далеко – так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же перед тем, как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро к взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.

Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роще, и пошло... Что-то рановато сегодня немцы начали. С чего бы так?

Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем, там все в грохоте, треске, в дыму и гари, а сюда немец не бьет. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали, и обстрел большой – рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенный пулеметище. А вдруг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю, им не до наблюдения.

Вот заразы так заразы! Все не перестают! И верно, такого налета Сашка не помнит, уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное – разрывы по всему лесу, взмечаются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья.

¹⁰ Пимы – старое русское название валяной обуви (валенков, катанок, чёсанок).

Как бы не побило всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.

Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал крутить сигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их – обомлел!

Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще не видимым Сашкой: дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные, – сперва головы в касках, потом в полтуловища, а потом и во весь рост...

Сигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело – ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось – то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...

И Сашка понял, не выдержит он сейчас, поднимется, заорет благим матом «немцы» и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал он приглушенную команду «форвертс, форвертс»¹¹, которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безохотное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него.

Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль: побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд – что делать сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, привстав на колени, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.

Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел – немцы бежали вовсю, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...

Сашка влетел в рощу, крича «немцы! немцы!», чтоб упредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:

– Много их? Много?

– Много! – выдохнул Сашка.

– Беги передай – всем за овраг! Там залечь и ни шагу!

– А вы?

– Беги! – повторил ротный, и Сашка побежал.

И верно, подумал Сашка, принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рощу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет.

В середине пяточка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал:

– Ни шагу! Назад ни шагу!

– Приказ ротного – отойти за овраг! – крикнул Сашка. – А оттуда ни шагу!

Этого будто и ждали, побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паникой рота.

¹¹ нем. Vorwärts! – Вперед!

Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.

– Попрдержжи их! – прохрипел ротный и, пустив короткую, видать, из последних патронов, очередь, миновал Сашку.

Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Стало Сашке страшновато – как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад.

За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех по местам.

Немцы к тому времени неожиданно замолкли ни стрельбы, ни криков, ни свиста...

И рота, занявшая оборону кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа (были тут такие, неизвестно кем копанные), – тоже притихла в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползать фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжагься в матушку-землю... Тут враг был рядом и, главное, их оружие доступный – и пуле, и гранате, и штыку, – а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести. Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким:

– Братцы, помогите... Братцы... – они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:

– Сержант! Все люди на месте?

– Вроде все... – не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.

– Точнее!

Сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:

– Все, товарищ командир.

– Провокация... – процедил ротный. – Передать по цепи: без команды не стрелять!

Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум?

– Братцы... – донеслось опять оттуда, еще более хрипкое, придушенное, и снова тяготная тишина нависла над ними.

И вдруг другой голос – молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух – прокричал им:

– Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...

– Ух, лярвы, – проскрежетал Сашка. – Знают, сволочи, что мы без курева...

А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:

– Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...

Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:

– Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед! – и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.

Но люди побежали, растянув рты в «ура» и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, а сообразить это не может и недоумеваает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая.

Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл – настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыпаются и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним трассирующими... Вот будет им закурка! А то «закурим сигареты!»! Вот гады! В таком раже обогнал Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая. И впрямь грохнули разрывы по всей роще, а особенно густо перед краем. Стали стеной перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас восвояси. И так обидно стало – уйдут, заразы, безнаказанно, – что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до опушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись? Как сквозь землю провалились!

И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился – запасного диска-то нет, ротному отдал...

А минометный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет, не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но, когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подалее и приподнялся... Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.

Откуда? Значит, тут еще немцы? Сашка быстро отполз чуток в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было не вырвался у него вскрик: «Стой, мать твою! Хальт!»¹² Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол «лимонки»¹³, а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал:

– Теперь не уйдешь, гад... Не уйдешь...

Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрерывно налезавшую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля.

¹² нем. halt – Стоп! Стоять!

¹³ Лимонка – ручная граната.

Немца было не видать. Залег, наверно, а всего скорее – ползет он к взгорку. Теперь кто кого опередит.

Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся – немец, наверно, нет-нет да оглядывается. Если заметит, то режет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую – какой обзор у ползущего?

То, что патронов у него нет, Сашка помнил и, на что идет, понимал, но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а скольких ребят из разведки положили, пока за «языком» лазили, Сашка знал.

Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорок поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал.

Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед – достал бы! – но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главной была: не дать уйти тому на поле – там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто.

А до взгорка считанные метры! Пока они здесь, в низинке, надо и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда! Сделал Сашка хороший замах и бросил «лимонку» с расчетом, что упадет она впереди немца и тот, увидя ее, бросится наземь, тут Сашка и навалится...

Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский «шмайссер»¹⁴, а левой сбоку что есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка, немец не сильнее его, и, кабы не маета их двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось – дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился – в роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка – одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.

Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал – метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан, природнились за эти месяцы страшные.

Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного:

– Сашка! Где ты? Сашка!

¹⁴ Шмайссер – немецкий автомат.

Не ответить было нельзя, и он откликнулся:

– Здесь я, командир! Фрица прижал!

– Иду! Не выпускай, Сашок!

«Догадался ротный, что без патронов я», – с теплотой подумал Сашка, но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть – оторвать руку от фрицевского «шмайссера»... Удар, который нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:

– Ну что? Не ушел, зараза! Теперь все, капут!

Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя.

– Теперь все, можешь отпустить... – сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними уже обезоруженный, плененный уже окончательно. – Молодец, Сашок! Как это вышло? – спросил ротный.

– А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил – никого. Ну, думаю, упустили фрицев. Потом приподнялся... – Но тут Сашке пришлось умолкнуть. Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение – если прибьют, то с немцем заодно. Ближе рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву... Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радостного, что ощущалось, – ведь первого немца взяли!

Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать сигарку.

– И мне сверни, – попросил ротный.

Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожащими пальцами, спокойно прислонивает, и все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешней, еще размеренней – дескать, плевать мы хотели на ваш огонь... Но еще большее удивление, если не сказать – недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут – «катушкой» они это называли, – начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выбивалась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту.

Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему еще не выдали, такое же оружие у него солдатское – автомат. Только маленький кубарь в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.

Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одноклассник, лет двадцати – двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его друга деревенского – Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным.

Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурил и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал:

– Гляди, какие мы вежливые, – повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу.

– Хорошая зажигалка, – сказал Сашка и добавил: – Все не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен¹⁵?

Немцу было не до «ферштеен» – кровь из носа хлестала не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься – и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка не жалея кулака, до сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того – ужались в землю, аж до боли в животах, скорей бы пронесло...

– Может, рванем, товарищ командир? – предложил Сашка, но ротный покачал головой: порядочно до роши, могут пулеметом прихватить, место-то открытое.

Но вот наконец начинает сбавлять силу налет, редчают разрывы, тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать, последние, и затихло все.

Они пролежали еще немного, докуривая, потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним немец, потом и Сашка. И все трое ходу, без перебежек, в свою рошу. Хоть и нет там ничего – ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики, – но попривыкли к ней, словно дом родимый...

Влетели, запыхавшись, а их уже встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают, любопытничают.

Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах. Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах.

– Ранен он, что ли? – спросил один из бойцов.

– Да нет. Это я по носу его вдарил, – не без гордости ответил Сашка.

Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато:

– Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.

– Ладно, – вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и скомандовал Сашке резко: – Веди немца ко мне.

Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом:

– Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.

Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой – раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один замахнулся на немца:

– Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!

Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили – крепости мало, с нашей «моршанской» не сравнить.

После этого повел Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему недавно через силу, вышла не ахти, но все ж не шалашик) и там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...

– Забрали у нас немцы одного раззяву, Сашок...

¹⁵ искаж. нем. verstehen – понимаешь

– Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял... Когда «братцы» кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх, негораздъ какая!

– Это очень плохо, – сказал ротный серьезно.

– Достанется вам?

– Не в этом дело, – махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.

Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбата.

Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по несколько раз на день.

Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой.

– Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну, и сам расскажешь, как все было. И веди немца.

– В штаб?

– Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.

– Во паразит, – удивился Сашка.

– Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?

– Вот гады, – пробормотал Сашка. – Кто бы мог подумать...

– Ну, ладно, после драки кулаками не машут. Иди, – ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу «комм».

Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел, поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрелкнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:

– Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.

Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:

– Мы, – ударил он себя в грудь, – ни хт шиссен тебя, – уставил палец на немца. – Ферштеен?

Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, посматривая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудышной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали – сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться, окопы в мерзлой земле колупать? Земля – как камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, водой всю рошу залило, каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день дожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе... Но немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.

Здесь, в роще, много наших, советских, листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего. В одной они разобрались без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов получают. «Брот»¹⁶ – столько-то, «буттер»¹⁷ – столько-то и

¹⁶ нем. Brot – масло

¹⁷ нем. Butter – хлеб

всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались...

Так вот, сейчас попала на глаза Сашке эта листовочка, поднял он ее, расправил и дал немцу – пускай успокоится, паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются, а кормят дай бог, не хуже своих.

Немец прочел и буркнул:

– Пропаганден.

– Какая тебе пропаганда! – возмутился Сашка. – Правда это! – Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: – Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги – и хана! Валялся бы сейчас без ног и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы фашисты!

– Их бин нихт фашист, – сказал немец.

– Ну да, рассказывай... Скажи – Гитлер капут! Скажи! – Немец молчал. – Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.

– Их бин нихт фашист, – упрямо повторил немец. – Их бин дейче зольдат. Их бин дейче зольдат.

– Заладил – зольдат, зольдат... А ну тебя! – махнул рукой Сашка. – Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!

Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира.

Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень в гражданском, и написано было: «Немецкий солдат! Этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен...» Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось.

То, что немец не стал повторять «Гитлер капут», вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил, – значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку и красноармейскую находчивость. И, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.

Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два на роту...

И теперь, почувствовав слабость в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут недалеко большая воронка, а около поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно сворачивать, подошли вплотную.

Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака «Беломор», какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.

Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с

брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести и все норовил перед немцем быть, загораживая телом полянку, на которой и лежали наши.

Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:

– Передохнем, фриц... – и стал наскребать из кармана махру, но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и предложил Сашке. – Попробуем вашего табачку, – не отказался Сашка.

Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили...

Жаль, немецкого не знаю, подумал Сашка, поговорил бы... Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то «Геноссе¹⁸ Купфербарт» из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получают, сколько рому, и почему перебоев с минами нет, да мало ли что можно было спросить?

Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал, хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное, далеко от железной дороги оторвались, распутица. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы, – и трупы их замерзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабьи платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнить.

Тут немец кинул случайно взгляд на поляну, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только «шлехт... зэр шлехт¹⁹» Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено.

А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили.

Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово «генуг», прервал немца резко:

– Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! – Немец сразу осекся, умолк. – Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? Шиссен²⁰, наверное? Иль пытать будете?

Немец, кроме «генуг²¹», ничего, конечно, не понял, но при слове «шиссен» вздрогнул, сжался, лицо побелело... И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет – доведет до штаба живым, захочет – хлопнет по дороге! Сашке даже как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.

Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел. Сказал бы, при попытке к бегству, и спросу никакого.

¹⁸ нем. Genosse – товарищ

¹⁹ нем. schlecht – Это плохо.

²⁰ нем. schießen - стрелять.

²¹ нем. genug – достаточно, довольно

И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.

– Ладно уж, – сказал он, – кури спокойно. Раухен²².

Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил он мелкими неглубокими затяжками, не как они – захлеб, вдыхая дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.

Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался? Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.

Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу – бр-бр...

Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки «рабочий» и «крестьянин», он спросил:

– Ты кем был? Арбайтер или бауэр?²³

– Штудент.

– Вот оно что... – протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. – Эх ты... штудент, а пошел с фашистами.

– Их бин нихт фашист, – как-то устало перебил его немец.

– Это я уже слыхал. Ну ладно, отдохнули, и хватит, – поднялся Сашка. – Пошли.

Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не попадались убитые, нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что незахороненные, словно сам в чем-то виноватый.

При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят...

В деревне было пусто... И верно, расхаживать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято, и просматривается оттуда куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.

Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самом краешке души затаенная хоронилась у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далеко это, за Волгой, туда-обратно целый день протопашь, но могла быть у него тогда встреча, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хоть и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил.

Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая, только рядом две воронки здоровые – это, наверно, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:

– Гляди, ребя, фриц!

Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.

²² нем. gauchen - курить

²³ нем. [Arbeiter](#) – рабочий, [Bauer](#) – крестьянин

– Это ты его? – спросил один.

– Ну я, – вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. – Мне к начштаба. Тут он?

– Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.

– Куда же мне его? – кивнул Сашка на немца.

– Ждать придется... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... – сказал один. – Знаешь, где блиндаж его?

– Знаю.

– А может, не стоит капитана тревожить? – вступил другой. – Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...

– Значит, ее могилка на опушке? – спросил Сашка упавшим голосом. – Жалость-то какая...

– Ее. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было – все губы покусал, почернел весь...

Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замерзла ли, сидевшую там сестренку из санроты... Катей ее вроде звали. Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой – ничего он про Зину не знает... Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались, и все... А времени два месяца прошло – для войны время огромное.

– Ладно, поведу к комбату, – решил Сашка.

У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной – парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полужакрытые и будто хмельные.

Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:

– Привет.

– Здорово, – ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу.

– К комбату, что ли?

– К нему.

– Нельзя! – резанул тот и сделал шаг к двери.

– Я ж с немцем, разве не видишь?

– Нельзя!

– Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрнула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.

– Не велел комбат никого пускать. Понял?

– Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.

– Ты его, что ли, взял?

– А кто же?

– Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?

– Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.

– Герой, – усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.

– Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском брал, в рукопашной. Ну, иди доложи.

– Фриц-то не из здоровых, – оглядывая немца, сказал тот. – Такого не велико дело взять.

Сашка озлился, хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал.

– Иди доложи. – Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.

– Уж так и быть, – снизошел связной и стал спускаться в блиндаж.

Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.

– Ты не робей, – решил подбодрить немца Сашка. – Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял?

Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась.

– Проходите, – не поднимаясь, а снизу пригласил связной.

В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой – обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый.

– Докладывайте, – приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми, пустыми глазами.

Сашка вытянулся, набрал воздуха, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там разбросанные окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать.

– Я слушаю. – Комбат отпил из кружки.

Сашка вздохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как...

– Тише, – перебил капитан, поморщившись.

Это сбilo Сашку, и он скомкал все остальное – как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за овсянниковский овраг...

Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.

Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал:

– Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете – выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! – Он опустился на стул, хлебнул еще из кружки, смятая беломорину, сломал ее, взял другую, закурил и уставился на немца.

Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза.

Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь – такого взгляда не видел он у людей никогда.

– Немец... – прохрипел капитан, подойдя вплотную. – Вот ты каков, немец... – Тот отшатнулся.

Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа.

– Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все... – продолжал капитан. – Толик! Где разговорник? – Ординарец бросился к топчану, вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул: – Выйдите оба!

Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось. А думалось, порадуетесь комбат «языку», похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную и обещание награды... Ан нет, по-другому все обернулось. И за ротного беспокойно стало, неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...

Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года кадровой – в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал... Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного...

Вот когда поднялись они из-под взгорка – серые, страшные, нелюди какие-то, это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но, когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...

Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость – обмякло тело, залипли веки, зазевалось. И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Сказались и ночь неспаяная, и напруг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тяготы этого утра.

Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец:

– Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.

Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.

Сашка протер глаза.

– Он и ротному ничего не сказал. Такой немец... – проговорил Сашка, подавляя зевоту.

– Ничего, – продолжал Толик. – У капитана заговорит. А не расколется – к стенке!

– Чего городишь? – уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.

– А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.

– А ты бы заговорил, если бы в плен попал?

– Чего равняешь?

– Так он тоже присягу небось принимал.

– Кому? – возмутился Толик. – Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой, – он снисходительно похлопал Сашку по спине. – Нельзя нас с ними равнять. Понял?

– Именно, – сказал Сашка. – Раз они гады, значит, и мы такими должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?

– Нет.

– То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так.

– Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.

– Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна, – попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора.

– Держи, – Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью «Бей фашистов».

– У вас тут с табачком, видать, получше.

Сашка оторвал газеты побольше и махры прихватил не стесняясь. Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.

– Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок, до души не доходит, – добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдохнув дым, спросил: – Откуда кисет такой?

– Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.

– До нас что-то не дошло, – заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: – Много капитан выпил?

– По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.

– Как убило-то?

– Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь хватает.

– Ну, с нашими-то не сравнить.

– Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть не можете.

– Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не до рытья, – стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?

Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка, не до того было. Только одно и слышал: Сашка – туда, Сашка сюда! Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести! Сашка, этой ночью придется в разведку! Сашка, бери ручной пулемет! Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: «Надо, Сашок. Понимаешь, надо». И Сашка понимал – надо, и делал все, что приказано, как следует.

Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он – не слепой же – промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь все валят, что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недостаток во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что вскорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.

От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного – поскорей бы с немцем все кончилось и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся – не та обстановка сложилась.

– Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня, – спросил он у Толика.

– Разобраться-то разберемся, будь спок, – насмешливо осклабясь, ответил тот. – Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправит.

– Муторно что-то, – вздохнул Сашка.

Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы все, выложил начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки – все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще неурядь вышла – и дивчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскальвается... Все к одному.

Наконец затихло в блиндаже и потянулась тишина... Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...

– Ко мне! – расколел тишину капитанов голос.

И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа.

Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь.

У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял – большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно непохожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил:

– Немца – в расход.

У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг – и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал:

– Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!

Немец, обмякший, недвижимый, только мотнул головой и закусил губу.

– Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...

– Прекратить! Не ломайте комедии! – крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойно добавил: – Выполняйте приказание.

– Вы мне, товарищ капитан? – упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца.

– Вам, – негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто гром с неба. – По исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь.

– Есть проверить! – вытянулся тот.

– Товарищ капитан... – начал заикаться Сашка. – Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку нашу ему показывал, где все сказано... Где у тебя листовка? – подался он опять к немцу. – Где папир²⁴, которую тебе дал? Покажи капитану!

Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату:

– Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!

Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу.

– Сколько у вас в роте было человек? – спросил капитан, упершись в Сашку тяжелым взглядом.

– Сто пятьдесят, товарищ капитан.

– Сколько осталось?

– Шестнадцать...

– И ты гада этого жалеешь? – гаркнул капитан, переходя на «ты».

– Я... я... не жалею... – У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова.

И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о гражданской войне, что к стенке всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время – проживи до ста лет, столько не увидишь, – но цена человеческой жизни не умалилась от этого в его сознании, и он пролепетал:

²⁴ нем. [Papier](#) – бумага

– Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, – уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника – закон.

– Какое право имел обещать что-то? И кому – фашисту!

– Он не фашист, – вырвалось у Сашки.

– Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, – осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.

Но капитан оставил это без внимания – и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:

– Повторите приказание!

Сашка утер рукавом липкий пот со лба... Он видел, пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался рот, залип язык...

– Повторите приказание! – уже раздраженно и повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету.

Толик дернул Сашку за полу ватника – не валяй дурака, дескать, а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.

– Я жду! – прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ²⁵.

Ординарец дернул Сашку еще сильнее, и Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:

– Есть немца – в расход...

– Не слышу! – перебил капитан.

– Есть немца – в расход, – погромче повторил Сашка.

– О выполнении доложить!

– О выполнении доложить...

– Теперь сначала и как следует!

– Есть немца – в расход. О выполнении доложить.

– Выполняйте! – Капитан отвернулся от Сашки и сел.

– Есть выполнять. – Сашка попытался повернуться по-строевому, но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:

– Отставить!

Пришлось еще раз. Старался Сашка прищелкнуть каблуками, но заляпанные грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять «отставить», но комбат сказал только:

– Выполняйте.

Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.

Когда Сашка повернулся, немец, понявший все, без Сашкиной команды пошел к выходу, тяжело топя ногами по лестнице. За ними вышел и Толик.

– Ты чего ломался? – бросился он на Сашку. – Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой он все может...

– Ладно, не суети... – Сашка неверной рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. – Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?

– Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашелся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали – исполнил! А ты...

– Не суети, говорю. – Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: Кури тоже...

Тот вытащил свои сигареты и, видно забыв про свою зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...

²⁵ ТТ – самозарядный пистолет, разработанный в 1930 году советским конструктором Федором Васильевичем Токаревым.

Много пришлось видеть на передовой помирающих от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза – посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы... Умирала глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же... Отвел Сашка взгляд, потупился.

А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпуская.

– Боишься ты, что ли? – сказал он, вскинув автомат. – Давай я.

– Не балуй! – ударил Сашка рукой по стволу ППШ²⁶. – Горазды вы тут... Ты бы взял его наперед, а тогда...

– Да я пошутил, – поспешил Толик.

– Нашел чем...

– Куда поведем фрица-то?

– Не знаю.

– К сараю пойдём, в сторону.

– погоди, дай человеку докурить.

– Слушай, а куда ты трофей денешь? – спросил наконец Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца.

– Какой трофей? – не понял Сашка.

– Часики фрицевские.

– А, часики... Что ж, трофей законный, в бою добытый... Ротному отдам... Ему без часов нельзя, а свои разбил он намедни при обстреле.

Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:

– Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...

– Нет, ротному отдам.

– обойдется твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идет?

Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать? Хоть и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:

– Может, я тебе часики и за так отдам.

– За так? – удивился тот.

– За так, – повторил Сашка. – Только не мешайся. Договорились?

– А чего я тебе мешаю? Я приказ получил – проверить.

– Потом и проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать. Понял?

– Как хочешь. Мне смотреть на это удовольствия никакого.

На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог – дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.

– Потом тебе часы отдам... Понимаешь? – бросил он Толику.

– Понимаю, – тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел, видно, и сказал немцу как бы с сожалением: – Эх, фриц, надо было шпрехен²⁷. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя пеняй.

Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то, и только слово «пропагандой», повторенное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: «Не смей нашу листовку рвать! Не смей!» Но... не крикнул, только кольнуло сердце – сроду никого он не обманывал, а тут обманул. И в чем? В самом главном, чего уже не поправишь.

²⁶ ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, состоял на вооружении до 1951 года.

²⁷ нем. [sprechen](#) – говорить

– Пошли, – сказал он немцу.

Медленно, тая шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю – впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, а все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...

– Здесь и решать будешь? – спросил Толик. Но у Сашки свои мысли.

– Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, – показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака, что проходил в полуверсте от Чернова. – А ты меня здесь подождешь.

– Чего ты крутишь, герой? – подозрительно оглядел Толик Сашку. – Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что сказал...

– Подождешь? – перебил Сашка.

– Подожду, – как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.

Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда все в порядке будет – отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься и к помкомбата сразу?.. Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно – это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось, – есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах.

– Побудь с немцем чуток, я мигом, – попросил он ординарца.

– Куда ты?

– Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся, – пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.

– Валяй, иди. Не трону, не бойся.

Сашка затрусил к штабу батальона – авось пришел кто, может, дежурный есть?

И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать, из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:

– Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату привел, а тот...

– Что?

– Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца – в расход.

– Ну и что вы хотите?

– Нужен же немец... Отмените его приказание.

Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил:

– Допрашивал его комбат?

– Допрашивал вроде, – в подробности Сашка вдаваться не стал.

Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку.

– Мда... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял? *Не могу.*

Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач – мужик хороший и по званию тоже капитан, его попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернет кругом, и весь разговор.

– Ну как? – усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.

– Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдем.

– Ну, хорошо. – Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. – Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый. Учти. Из-за тебя и я рискую.

– Не пугай. С передка я. Пошли, – кивнул Сашка немцу.

Шел Сашка позади немца, но и со спины видно – мается фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но, когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал, так обострилось оно, построжало, посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.

Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением – блюдет свою солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это, ведь за неправо дело воюет! И захотелось Сашке сказать: «Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты...» – однако не сказал, понимая, не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди.

На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.

– Не надо, себе оставь, – мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал.

Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал – не может он его зря обнадеживать, может, и верно, не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.

Пока стояли, обернулся Сашка – Толика уже было не видно, да и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутово будет. Далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести немца в штаб бригады, то теперь отошла – нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.

Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить?..

Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дергался у него кадык, и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор: «Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат вгорячах прихлопнет? Есть у него такое право – война же! Ты вот листовку порвал, «пропаганден, пропаганден» бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?» – закончил он безответным вопросом.

А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожженной избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтоб из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искореженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи! Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались, а как в безоружного? Как?..

Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь! Он бы слова для капитана нашел! А что Сашка – растерялся начисто, лепетал только «не могу»... Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный – начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану

перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается – приказ не выполнить! Да кого? Самого командира части.

Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может, и все!

Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул сигарку, прижег... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка, почему: небось решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.

– Кури, кури... – не убирал Сашка пачку.

Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд, а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделаешь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.

Поглядел он с надеждой на поле – не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...

И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер – маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямоком к ним, а рядом ординарец Толик, то забежавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то, наверно, Сашку звал.

Побледнел Сашка, съежился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце – идет комбат, конечно, проверять, исполнен ли приказ его! И что будет-то?..

Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших бревен показаться Толику, чтоб не орал он; ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.

За спиной Сашки тяжело задыхал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задыхал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.

«Теперь все! Теперь уже ничего не придумаешь! – безнадежно проносилось в Сашкиной голове. – Конец теперь немцу...»

Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастерки расстегнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твердая, не качнулся ни разу.

Вспомнил Сашка, так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных перемаянных людей. Красиво шел... Глядели на него тогда с восхищением и поднялись как один через немоготу и усталость... И теперь прет, как танк, сравнил Сашка, потому как ощущения были схожие – тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже...

И секундной вспышкой мелькнуло – ну а если... хлопнуть сейчас немца и бегом к капитану: «Ваше приказание выполнено...» И снята с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка: прочел тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...

Нет, не могу... Прислонился Сашка к уцелевшей полуобгорелой стене, такая слабость охватила, но в душе нарастало: не буду, не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет. Не буду!

И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только покой этот – покойнический... Лишь бы скорей подходил комбат, лишь бы скорей все это кончалось. И немцу маета эта невпроворот, и Сашке...

А капитан с ординарцем все ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрожать? Есть в уставе такое – обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет?

Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбитая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.

И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чем: раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один... тридцать... тридцать четыре, тридцать пять...

Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку «смирно» и уставиться в лицо комбата.

Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув прядь со лба, комбат затянулся сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю.

Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреждал я...

Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маетными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.

Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клочок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.

Теперь конец, подумал Сашка, сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?

Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить – ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну...

Чуял Сашка, озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накатило, ничего ему не страшно, будь что будет... И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво, – может, отошел малость, одумался...

Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце, как бешеное, отдаваясь болью в висках.

И отвернул глаза капитан.

– Пойдем, – сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.

Сашка же стоял окаменело в той же стойке «смирно», все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.

Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:

– Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

У Сашки zaseкся голос ответить «есть», закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.

– Повторите приказание, боец! – словно издали услышал он капитана и, набравши воздуха, выдохнул:

– Есть отвести немца в штаб бригады! – очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.

– Выполняйте! – Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.

Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест – и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным...

2

Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.

Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло – ранило.

Но, обнаторенный двухмесячной игранкой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами – шевелятся, значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, режет очередь. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами... Вот тогда можно рвануть, но как угадать?

И потому лежал Сашка застывше, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.

Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.

Почему это кровь не красная, удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добраться тогда до саньзвода. И страсть как захотелось очутиться наверху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не добились.

Но что-то удерживало Сашку внизу – как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим – старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.

И вдруг словно воочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману – но глаза все еще на прицеле, – как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пулей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал – нельзя! Если приметил его фриц, то хлобыстнет поперед его, хлобыстнет наобум, но может и прибить...

И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, посбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая битая-перебитая рота в тринадцать штыков – чертова дюжина, – измытаренная, оголодалая, мокрая.

Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, развороченное мясо – одна из пуль прошла касательно – и кое-как, наскоро перевязался.

Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтоб прибодриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него – одна труха, придется перетерпеть.

Ну что ж, подумал Сашка, полежу чуток, отдышусь и в тыл... Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь? Даже не верилось.

Спустя немного поднялся он и небоязно – закрывали его тут деревья и кустарник – затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился... Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.

На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ПППШ тогда не достанется... Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебежать опять этот проклятуший ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок... И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!

И Сашка заколебался... Конечно, фриц не ждет его обратно – какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пяточок, – немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью туда и обратно. А такая неохота, если добьют.

Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки – все это ведь через силу, преодолая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое донышко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что *надо*.

Но сейчас-то это *надо* не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распорядиться собой по-своему и *надо* ему топать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть... Но, пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.

И здесь с ходу, даже не приостановившись – потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, – бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было – проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.

Как ни старался он не бередить раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передыху.

Миновав это гиблое, прозрачное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.

Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею доплена, и ютилась битая-перебитая в шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.

Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.

– Вот ранило, товарищ командир, – словно извиняясь, доложил Сашка. – Снайпер поймал, чтоб его...

– Зачем вернулся? – перебил ротный.

– Автомат принес... Да и с ребятами проститься...

– Тоже мне, сантименты, – буркнул ротный свое любимое словечко.

– Неудобно же так, не доложив... – Сашка бережно опустил автомат на землю.

– Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит...

– Закурить бы... Не завернете, товарищ командир?

– Сейчас.

Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую сигарку. Ему тоже что несподручно, руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что невпроворот, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделялся небрежно этими своими «сантиментами».

Сашка принял сигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь, и поплыло все перед глазами – хорошо...

Подшли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.

– Отвоевался, Сашок.

– По-легкому отделался – в ручку.

– Повезло черту...

– А он везучий, Сашка-то.

– К праздничку в тыл подастся.

– Я говорю, везучий.

– За нас праздник отгулай. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас. – Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза навывкат потухли.

– Он прижмет! Его самого сейчас... Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.

Потом присели кто куда и откурили. Молча.

– Давай отваливай, Сашок, – ротный тронул его за плечо. – Нечего рассиживаться.

Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытаться, но неловко как-то и совестно – вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.

И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:

– Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.

– Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно, – торопливо, словно боясь, что перебьют, залепетал Сашка. – Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас беспременно.

– Ладно, не загадывай. – Ротный протянул руку. – Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? – И подтолкнул тихонько Сашку.

– До встречи, ребята, – бодро выкрикнул Сашка и сам почуял фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно, никаким встречам со многими оставшимися здесь

не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, это уж судьба...

Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку, да не из «легкого», а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.

– Счастливым ты, Сашка... – не тая зависти, протянул сержант.

Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка – отвоевался, а пока...

Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, – конечно, счастливый по сравнению с другими-то.

Долго набирался Сашка духу перед оврагом – страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит... Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять строкотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью... Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и поливает... Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.

Вот язвы так язвы, шептал он, неужто не дадут уйти, гады? Но где-то предчувствие – обойдется... Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.

Теперь все, никаких задержек больше, сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.

Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми там оставшимися... Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война...

Свернув в лес, Сашка поспокойнел. И идти тут легче – посуше.

Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж...

А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагоналевые, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каска-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные... Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно, оттого и ожоги.

Не один Сашка такой, все на передке такие же, и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязноты, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно... Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле – тонко пропели две шальные пули над головой.

И понял он, ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытие. Так и смерть может захватить распахом... И навалился на Сашку после этих пуль страх, как бы не добило.

Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или «рама» в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.

Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой сигарку завернуть, – может, легче станет. Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислунявил он самокрутку, кое-как выбил искру «катушкой»²⁸ и закурил.

О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосыть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять... Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж, яснее ясного – сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется... Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него...

Но все же знал Сашка точно – не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобралась. Чуток бы огоньку да пару «тридцатьчетверок»²⁹, и хана фрицам.

Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не обезверел и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение тут, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.

Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Чернове. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери... До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить... И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний – ох как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться.

Мина шлепнулась нежданно, не предупредив воем, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной рыжеватой воды. За ней еще одна, и еще... И подбирались они все ближе к нему.

Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шархнет, хотя и знал, лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь.

Но сейчас отдаться на волю случаю, как прежде, он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маеты, так до отчаянности было обидно замертветь здесь, на этой тропке, которая в тыл, что не один холодный пот прошиб Сашку и никогда не мельтешил он так под обстрелом, никогда не падал на него такой неумный страх, вдавливающий его до боли в землю.

Немец обстреливал, разумеется, не Сашку... Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу. Явственно прослушивалось шелестенье тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрывов впереди.

²⁸ «Катушка» – самодельная зажигалка из гильзы

²⁹ Танк Т-34 – (разг. «тридцатьчетвёрка») – самый массовый [советский средний танк](#) периода [Великой Отечественной войны](#), выпускался серийно с [1940 года](#), был основным танком до первой половины [1944 года](#)

Неспроста это, неспроста... Чего надумал фриц? Вдруг наступать? Вот незадача! Не дает уйти, гад, шпарит и шпарит.

Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву – будь что будет... Сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет... Даже глаза закрыл. Не судьба, значит, уйти живым с передка.

Но стон где-то совсем рядом встрепенул Сашку. А потом услышал он:

– Братцы... Есть кто поблизости? Братцы... Ранило меня... Санитаров бы...

Вот еще негоразд какая! Матюгнулся Сашка, но на голос пополз.

Раненый – большой и грузный, из «отцов», с седой щетиной на квадратном подбородке – жадно хватал ртом воздух. На груди растекалось рыжее пятно.

Одного взгляда достаточно – плохо дело. Знал Сашка, если не перевяжешь сразу, не заткнешь дырку марлей, то раненные в грудь долго не тянут, помирают тут же.

– Вот, сынок, отвоевался, видать... – с трудом выпершил раненый.

– Пакет где? – спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, осмотрелся. Шагах в трех валялась сумка от противогаза. – Там?

– Там.

Кое-как расстегнул Сашка ватник, задрал гимнастерку, рубаху. Из черной щели в груди толчками била кровь. Сашка поморщился. Стало страшно – а если б его так? Быстро сунул марлевую салфетку в рану, но, пока прилаживал бинт, пропиталась она уже кровью.

– Не выдюжу... – раненый бессильно запрокинул голову, а изо рта пузырилась розовая пена.

– Ничего, потерпи. – Сашка тоже кривился от боли, пришлось и левой рукой действовать. – Что делать будем?

– Не уходи, сынок, долго не протяну.

– В санчасть тебя надо. Пойду я, санитаров пришлю. А ты лежи.

– Не найдут меня. Ты покричи, может, есть кто поблизости.

Не один раз видел Сашка смерть, и всегда дивило его, как безжалобно помирают люди. И не понимал он этой безропотности. А теперь вроде дошло – просто, когда ранит тяжело, нету уж сил за жизнь бороться.

Понимал Сашка, что, пока дойдет он до санзвода, пока придет оттуда помощь, будет уже поздно и единственное, что он может сделать для этого человека, – остаться с ним, пока не умрет тот. Но такое бездействие не по Сашке, да ему и самому в тыл нужно, нужно скорей уйти отсюда. Немец пока приутих, но может и по новой начать. Так что же делать?

– Я пойду все же, – поднялся Сашка. – На тропке заметку сделаю для санитаров, найдут тебя. А так что? Пособить-то тебе ничем не могу...

Раненый не ответил, глаза прикрыл, только дышал захлеб с хрипом.

– Слышишь? Пойду я. Ты потерпи, я мигом. И санитаров пришлю. Ты верь мне... верь.

– Прощай, парень...

– Ты дождись только. Обязательно дождись. Понял?

– Иди...

Сашка тронул холодную мягкую руку, сжал несильно и пошел. На тропке прочертил штыком глубокую стрелу и нацарапал «раненый». Вроде все сделал, а на душе как-то нехорошо.

На подходе к Чернову увидел он мечущихся из стороны в сторону бойцов, растерянно и зло кричащих командиров, видать, новая часть прибыла. Вдруг им на смену? Хорошо бы. Тогда отвели бы их битую-перебитую на отдых, тогда не так совестно, что один он живым выскочил. И свиделись бы, может.

Но надо же, завтра первое мая, а вновь прибывшие все в белых новеньких, прямо со склада, полушубках и валенках! Им-то в самые морозы в шинельках пришлось промаяться. Да и для немца примета – новенькие. Вот и угостил их сразу. Это он любит – ошеломить необстрелянных, примять страхом. Их тоже так перед наступлением разметали по всему передку, пустили кровушки.

Возле дома, в котором санвзвод расположен, толпились раненые, все больше из прибывшей части (своего медпункта покамест еще не развернули), – очередь. Видя такое и поняв, что скоро его не перевяжут, протолкался Сашка вперед сообщить о своем раненом.

Запаренный военврач увидел Сашку и, зная его – не раз притаскивал он тяжелораненых, помогая санитарам, – бросил второпях:

– Обожди маленько, видишь, что тут...

– Я-то обойдусь, товарищ военврач, но в лесу раненый в грудь лежит, наш, с нашего батальона. Я там на тропке замету сделал. Надо бы санитаров поскорей, а то не доживет.

– Сейчас пошлю. Ну, что у тебя? Показывай.

– Ладно уж, может, до санроты и так дотопаю.

– Не валяй дурака! Быстрой!

Военврач оглядел Сашкины раны, перевязал и вкатил ему два укола.

– Недолго погуляешь, кость не задета. Уходи скорей, видишь, что здесь творится. Идиотство! Прибыли утром, да еще в полушубках. Из-за них весь сыр-бор.

– Небось нам на смену? – спросил Сашка с надеждой.

– Да нет, – пробурчал врач. – Куда-то в сторону направляются. Ну иди, – врач улыбнулся и подтолкнул Сашку. – Сейчас тебе не больно будет и даже весело.

Сашка растолковал санитарам, где найти раненого, и хотел было уходить из Чернова, но посмотрел, как неспоро поплелись они, размахивая не в лад носилками, и чертыхнулся – знает он этих санвзводовских, на передок арканом не затащишь. Вернутся и скажут – не нашли, дескать, или что помер уже раненый. Кто их проверять будет? А потом, вдруг замету его затоптали или мина в это самое место ненароком угодила? Тогда и будут искать – не найдут. А ведь он слово дал. Умиравшему – слово! Это понимать надо. И Сашка крикнул:

– Погодите, провожу вас! – и пошел им вдогон.

Те приостановились и удивленно глядели на Сашку.

– Рехнулся, что ли? – сказал один из них.

– А вдруг не найдете?

– Ошалел от морфину, – произнес другой. – Катись обратно, нечего судьбу пытаться. Мало тебе немец влепил? Добавки захотел?

И впрямь был Сашка словно пьяный немного, и с руки боль снялась. А главное, не страшно ему обратно к передку идти, хоть и «рама» в небе зависла, а после нее, как пить дать, жди обстрела...

Когда подошли к тому месту, и верно, стрелка, нацарапанная штыком, была почти не видна, а надпись «раненый» и вовсе стерта – прошелся, видно, по тропке народ, затоптал.

Раненый лежал там же. Глаза закрытые, но дышал.

– Ну вот, привел тебе санитаров, дядя. Не обманул. Слышишь? – нагнулся над ним Сашка.

Тот глаза приоткрыл, но ничего не ответил, обессилел, видно, совсем.

И тут Сашка, довольный собой, что слово сдержал и что раненый подмоги дождался, не помер, не зря, значит, санитаров он проводил, задерживаться больше не стал и весело, почти рысцой затрусил в тыл.

Над Черновом все еще кружилась «рама»³⁰, высматривала, зараза, и деревня как вымерла, попрятались все кто куда, и новенькие в полушубках тоже скрылись, и прошел Сашка ее, никого не встретив, ни с кем из знакомых не простившись.

От Чернова дорога шла в низинку, и опять грязь, но тут недолго и до большака, вон и виднеется черными трубами разорища. Деревеньку эту сожженную Сашке не забыть... Тут он со взятым им немцем и стоял, дожидая комбата, маясь и не зная, что капитан с ним сделает за то, что не выполнил он его приказ немца застрелить... Отсюда и повел фрица к штабу бригады, после того как капитан приказание свое отменил.

Большак Сашка пересек и пошел напрямик через поле к виднеющемуся вдали лесу. Не шибко разъезжена здесь дорога, да и дорогой-то не назовешь, так, протор какой-то, следы тощие, редкие. По ним как по писаному видно – бедует фронт.

От уколов докторских в Сашкиной голове туман приятный, боли в руке никакой, и шел он ходко, глубоко втягивая в себя чистый, пахнувший весной воздух, весной, которая и неприметна была там, на передке, где трупный дух и гарь забивали все ее запахи. И идти было хорошо, просторно, не надо под ноги глядеть – ни воронок тут, ни убитых.

Солнце било прямо в глаза, немного пригревало и радовало. На передовой его не жаловали и ясную погоду недолюбливали – из-за самолетов. При пасмурном, облачном небе было спокойней.

Когда дошел Сашка до подбора и пахло на него пряно хвоей, остановился он, вздохнул полной грудью, снял с головы ушанку, провел рукой по голове и осел на родимую землю, где желтую прошлогоднюю траву отдельными пучочками живила зелень нынешней. Сорвал несколько травинок, поднес к лицу, и только тут непрерывное напряжение, не отпускавшее его ни на минуту, даже во сне, все эти долгие кровавые месяцы нахождения на передке, начало понемногу сходило с него, и радость, что он все же живой, которой не давал до этого хода, нет, не нахлынула на него, а так, потихоньку начала пробиваться, просачиваться в душу... Столь долго держал себя Сашка на замке, что непросто было отомкнуться.

Но все же оживал он помаленьку... Оживал и разрешил себе теперь подумать о Зине, сестренке из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках в эшелоне – вагоны их рядом были, – о Зине, которую прикрыл своим телом, когда шпарили «мессера» крупнокалиберными и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли.

Разрешил и сразу же забеспокоился: как она там? Хотя и в тылу она, конечно, от передней линии километров восемь, но это по Сашкиному понятию тыл, а вообще-то фронт тоже – и бомбить могли, и дальнобойной достать нетрудно, и всякое могло случиться.

И опять – в который уже раз – заглушил в себе радость Сашка. Не время еще. Дойти еще надо, встретиться, тогда...

Поднялся Сашка, потянулся, а потом остервенело здоровой рукой начал скрести по всему телу. Пригрело солнышко, и зазудело во всех местах, спасу нет.

Отчесавшись, побрел он дальше и вскоре вступил в сухой светлый сосновый бор, обжитый каким-то войском.

На передовой казалось, нет уже народа у страны, вроде побил всех за одиннадцать месяцев войны (ходили же Паново братья в двадцать штыков!), а людей вон сколько у неоскудной России-матушки! И в землянках настоящих живут, и кухни дымят, и сквозь маскировку танки виднеются, и для артиллерии позиции по всем правилам (у них-то

³⁰ «Рама» – многоцелевой самолет, использовался в годы Великой Отечественной войны на советско-германском фронте. Официально этот самолет именовался Focke-Wulf FW.189, но на фронте он был гораздо более известен под данным ему прозвищем "рама".

сорокапятки за кустиками стояли). Почему у них в бригаде так все боком вышло, задумался Сашка, но ответа не нашел, только стало на душе спокойней и уверенней от этой уймы народа и техники.

На Сашку поглядывали. На передке, видать, еще не бывали и любопытничали – вот как парня измочалило.

Подошел один лейтенантик молоденький, спросил:

– Ну, как *там*?

– Да ничего, – ответил Сашка и вроде не покривил душой. Издалека все прошедшее не казалось уж таким страшным, будто ничего особенного и не было.

– По тебе видно, досталось, – медленно и как-то раздумчиво произнес лейтенант, покачивая головой. – Закуришь?

– Это с удовольствием. С табачком неважно было.

– А с чем хорошо? – усмехнулся тот, протягивая Сашке завернутую сигарку.

Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался – незачем лейтенанту раньше времени знать, все у него впереди: и обгорит, и наголодуется, и в грязи изваляется...

Тронулся Сашка дальше и минут через несколько дошел до того места, где с начальством повстречался, когда немца вел. Здесь он с этим фрицем и распрощался. Тот все «данке, данке»³¹ лепетал и даже руку хотел Сашке протянуть, но сделал Сашка вид, что не заметил, – начальство же вокруг.

Забрал немца капитан из разведки и повел того в штаб бригады, а Сашка вместе с комиссаром, начштаба и другими командирами пошел обратно в Черново. По дороге комиссар спрашивал, чего это немец Сашку благодарил. Сашка ответил, небось за то, что пленил его, что живым теперь немец останется, вот и «данкал». Про комбата и его приказание расстрелять немца Сашка, конечно, ни слова не сказал.

Ну вот наконец и блеснула сквозь сосны Волга крутым поворотом, близится конец Сашкиного пути.

Берег этот угористый Сашка помнил. Лезли на него ночью по скользоте, падали, а кто и обратно вниз соскальзывал. Небо над ними, тогда уже расцвеченное ракетами, показалось и багрянело дальним заревом.

И припомнилась ему та ночная маета, когда знали уже точно – дошли! И уже на рассвете примет их незнаемая и потому жутковатая передовая, и беспрерывно пойдут они утром в бой... В первый бой! А что это такое, ни Сашка, ни шедшие с ним люди еще не знали и даже не представляли, и потому стягивало сердце холодком, а изнутри шла и разбегалась по телу мелкая противная дрожь...

Остановился Сашка... Надо бы порадоваться, что стоит он живой на этом берегу, что достался ему случаем обратный билет *оттуда*, с той, почти необратной дороги на передовую, что развернулось уже на том берегу Бахмутово, целехонькое, непобитое, но сжато еще все внутри, напряжено, не пробиться радости в душу, особенно как подумаешь, скольким его товарищам не выдалось пути назад, сколько осталось *там*, на ржевской земле, перед теми тремя русскими деревеньками...

Внизу по воде сновали туда-сюда две плоскодонки – вот и вся переправа. Волга здесь, правда, неширока, но много ли таким манером перевезешь припасов? И съездов к реке никаких, ни на чем к воде не подъедешь, значит, вручную все, и снаряды, и провизию, на своем горбу по крутизне. И стало Сашке попонятней, почему они так бедовали. Выходит, зря материли начальника ПФС³² и все тыловые службы. Но уж очень обидно было – жизни люди клали, а ни курева, ни жратвы, ни боеприпасов.

Спустился Сашка к воде и стал ждать лодку. Тут еще несколько раненых, ходячих, находилось. Ребята незнакомые, из других батальонов, но выглядели не лучше. Видать,

³¹ нем. *danke* – спасибо

³² ПФС – продовольственно-фуражное снабжение

всем на этом пятаке досталось. Завернули Сашке самокрутку, дали огоньку, но разговора что-то не завязывалось. Все в себе, усталые невпроворот, глаза пустые, равнодушные – поскорей бы в санроту, отлежаться в тепле да сухости, а может, и в сытости. На последнее особо надеялись.

– А по переправе-то бьют, – заметил один из бойцов, показывая на воронки у берега.

– Скажешь тоже, далече же, – ответил другой, но, взглянув на воронки, поежился, словно от озноба. Верить в это никому не хотелось.

– Старые воронки. Чего пугаешь?

– А что? Врежет напоследок, и к рыбкам...

– Не болтай. Раз там уцелели, прорвемся...

Одна из лодок подошла к берегу и стала разгружаться. Сухари в бумажных крафт-мешках с хрустом ложились на землю. У Сашки да и других, наверно, тошнотно заньло в желудках.

– Пожевать бы... – вырвалось у кого-то.

И направились мысли к другому. На завтрак они опоздали, придется обеда дожидать, а каков он будет – с хлебушком или с сухарями, опять ли пшенка или в тылу чего другого дадут?

В лодку садились суетливо и, когда отошла она от берега, дружно вздохнули с облегчением – отчеркнет их от войны Волга.

Гребцы не спешили, за день наматываешься туда-обратно, а раненым хотелось, конечно, поскорей.

Шелестенье снаряда услышали все, мгновенно сжались, оползли со скамеек. Сашка свернулся в три погибели, уткнулся головой в колени, закрыл глаза – неужто добьют, гады?

Разрыва он не видел, но, по звуку, близко шарахнуло. Плеснуло водой, закрутило лодку... Потом рвануло еще два раза, но подальше. Гребцы поднажали, и, когда лодка резко ткнулась носом в берег, Сашка открыл глаза и выпрямился.

– Ну что, говорил я, долбанет фриц напоследок!

– Да иди ты к...

Выскакивали все из лодки резво и, не оглядываясь, заспешили от берега, только один Сашка почему-то не заторопился – каким-то слабым был, разбитым... Не хотелось ему таким вот встретиться с Зиной. Он постоял на берегу немного, теребя подбородок и стараясь успокоиться. Хоть и плохо рос у него волос на бороде, но все же колосось. Побриться бы где перед встречей. Да ладно, поймет Зина, что другим возвратиться он не мог, не с тещиных же блинов пришел. Беспокоило другое – как встретятся? Ведь два месяца прошло. И ничего вроде у них и не было... Ну, бегали вместе при бомбежках, ну, рванул он ее в сторону от пулевого веера, прикрыл своим телом, ну, и поцеловались несколько раз... Но когда ночью при разгрузке эшелона глянул на нее, помахал рукой, понял, что роднее и ближе нет у него сейчас никого, а когда она, спрыгнув с вагона, подбежала к нему, прижалась холодным мокрым лицом и шепнула, чтоб возвращался он обязательно, что будет ждать его, то прищемило сердце какой-то сладкой болью и понял он, что готов для этой девчушки в шинели сделать все что угодно, лишь бы было ей хорошо и покойно.

И потом в наступлениях, чтобы унять страх и поднять злобу на немцев, представлял Сашка, что идет он в отчаянные атаки не только для того, чтобы взять эти деревни, но идет защищать и ее, Зину, ждущую его там, за Волгой... И легчало от этого.

Но о встрече Сашка там не думал, вернее, отгонял мысли о ней. А теперь вот должна она произойти, вроде бы нежданная, но в то же время давно ожидаемая. А как? И потому шел он медленно, как бы оттягивая эту минуту.

Бахмутова он почти не помнил... Тогда ночью темнели углами крыши домов как-то угрожающе и неприятно, знали ведь, приходит конец их пути и ждет их страшное и неизвестное *завтра*.

К приемному пункту для раненых подошел он последним и занял очередь, присев на крыльцо. Наскреб махры, попросил соседа завернуть и жадно затаился. Рука почти не болела, голод особо не сосал, тело не зудело – вроде бы все хорошо, но волновала предстоящая встреча, и робел он как-то.

Когда подошел черед и направился он в перевязочную, Зину увидеть совсем не ожидал и потому, наткнувшись прямо на нее, похудевшую, с опавшим лицом, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то, а когда осмотрела она Сашку, и слезы. В помещении, резко пахнувшем лекарствами, находился еще врач в белом халате и незнакомый Сашке старший лейтенант.

Сашка шагнул к Зине, хотел было что-то сказать, непроизвольно потянул руки к ней, но она, отступив в сторону и давая ему проход, почти беззвучно произнесла:

– Проходите, раненый...

Сашкины руки, повисев недолго в воздухе, бессильно упали, а сам он не сдвинулся с места.

– Ко мне проходите, ко мне, – сказал военврач вроде ласково. – Зина, снимите повязку. Как во сне подошел Сашка к столу, сел на табурет и протянул раненую руку Зине. Она ловко размотала бинт, но, когда присохшая подушечка отрывалась от раны, резануло болью и Сашка еле-еле сдержал стон.

– Пошевелите пальцами. Вот так. Еще. – Врач осмотрел раны, потрогал руку и начал что-то писать.

– Опять в руку. И опять в левую, – поморщился старший лейтенант. – Обратите внимание, доктор. Слишком много у нас таких ранений.

– Перевязывайте, Зина, – пропустил мимо слова лейтенанта врач.

– Я повторяю, товарищ военврач, обратите внимание!

– У него два пулевых ранения.

– Это ничего не значит. Они там умудряются по-всякому делать.

До Сашки пока не доходил смысл этого разговора. Он замирал и таял от прикосновения Зининых рук.

Но потом, поймав на себе подозрительный пристальный взгляд, догадался: этот аккуратненький, поскрипывающий новыми, еще не успевшими пожелтеть ремнями штабник в чистенькой гимнастерке с ослепительно белым воротничком, не хлебнувший и тысячной доли того, что довелось Сашке и его товарищам, подозревает его, Сашку, что он... сам себя... Да в самые лихие дни, когда, казалось, проще и легче – пулю в лоб, чтоб не мучиться, не приходила Сашке такая мысль.

Кровь бросилась в голову, а горло петлей захлестнуло – не вдохнуть, не выдохнуть. Не помня себя, поднялся Сашка, шагнул на лейтенанта... Будь в руках автомат, невесть чего мог натворить...

– Да ты что?.. Ты что, старшой, сдурел, что ли? Ты что?.. – Дальше Сашка слов не находил, только сжимал до боли, до хруста в костях пальцы правой руки.

Зина, схватив его сзади, потянула к себе, а лейтенант поднялся и цыкнул:

– Молчать! Прекратить истерику!

– Да ты роту... роту собери здесь... и я с тобой обратно на передок какой есть, раненый пойду! Понял? Пойдем! – Сашка захлебывался, выбрасывая все это. – Пойдем с ротой-то? Да в наступление, да в разведку! Посмотрел бы я на тебя *там*. Эх ты... – Сашка выругнулся и, притянутый Зиниными руками, рухнул на табуретку.

Из ран хлынула кровь, в глазах потемнело. Не держи его Зина за плечи, свалился бы на пол.

– Уйдите, старший лейтенант, – сухо сказал врач. – Зина! Морфий.

– Как его фамилия? – потянулся лейтенант к Сашкиной санкарте. – Распустились там совсем...

– Я прошу, выйдите и не мешайте работать, – повторил военврач.

А Сашка, бывалый боец Сашка, у которого все смерти на передке не выжали ни одной слезинки, вдруг забился во всхлипах вперемежку с ругательствами.

Словно в полусне было остальное – как сделала Зина укол, как снова перевязала руку, как украдкой поглаживала его по голове, говоря, будто чужому:

– Успокойтесь, раненый... Успокойтесь...

Очнулся Сашка только на улице, когда солнечные лучи полоснули по глазам, а Зинина рука, сжав его локоть, повела по ступенькам крыльца.

– Что это я?.. Психанул никак? И матерился?

– Ничего, ничего... Идем до палаты. Отдохнуть тебе надо. Успокойся, обойдется все...

– Кто этот старшой?

– Из штаба... А кто по должности, не знаю.

– Вот оно что... Вы тут разве не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил... за немца... А он...

– Ну его! Забудь об этом. Пойдем.

– погоди, закурю, – Сашка полез в карман за табаком.

– Давай заверну.

– Умеешь? – удивился он.

– Научилась, просят раненые-то.

Сашка поглядел на Зину – изменилась она. И не только что побледнелая и похудевшая, а что-то новое в лице и глаза беспокойные.

– Ну, как ты тут?

– Что я? О себе расскажи.

– Что рассказывать? Видишь, живой я...

– Вижу, Сашенька... И не надеялась. Раненые такое рассказывали – сердце холодело. Спрашивала о тебе всех, а смешно, фамилию твою не знаю, в какой роте, в каком взводе, тоже. Никто ничего толком мне ответить и не мог. А целых два месяца... Господи, хоть весточку какую прислал с кем.

– Не до того, Зина, было... – Он опять взглянул на Зину. – Досталось и тебе, вижу. Скулы-то подвело.

– Вначале, когда первые бои шли, раненых была уйма, уставали очень. Сейчас чуть посвободней стало, так о тебе думала, как ты там...

– Думала-таки?

– А как же? Спас ты меня тогда, – сжала она легонько Сашкины пальцы,

– Ну, об этом ты не поминай, – перебил Сашка, а потом, помолчав немного, спросил: – А зачем он приходил в перевязочную-то?

Повернулись его мысли на происшедшее. Все же неудобь вышла – старшего лейтенанта да на «ты», да матом... Не то что Сашка боялся – чего ему бояться, когда самое страшное позади, – но не по себе как-то было. Ведь Сашка боец дисциплинированный, а тут вот как получилось...

– Ты про кого? – спросила Зина.

– Да про старшого этого.

Зина замялась как-то, и он заметил это.

– Кто его знает? Зашел зачем-то... Не помню.

– А ты вспомни, – не отставал Сашка.

Зина помолчала в нерешительности, а потом сказала:

– Ладно, скажу, все равно узнаешь. Завтра же Первое мая. Так приглашал в штаб на вечер...

– На вечер? – недоуменно протянул Сашка.

– Да, на вечер. У них там патефон есть, баян... Танцы будут...

– Какие танцы! Врешь, Зина! Быть этого не может! – почти выкрикнул Сашка, и шатнуло его даже.

– Может, ответила Зина. Еще как может, Саша. Не пойду я, не волнуйся. Еще до тебя отказала.

– Погоди. Как же это так... – все еще не приходил в себя он, все еще не укладывалось у него в голове услышанное.

Шагов пятьдесят они прошли, и только тогда смог Сашка осмыслить, что тыл есть тыл, конечно, и у него своя жизнь, что ничего, в сущности, нет зазорного, что будет праздновать он Первомай, что из какого-то НЗ будет и выпивка и закуска... Но то умом, а душой принять этого он не может. Ведь, что ни говори, бригаду-то почти всю побилло... До праздников ли тут, до вечеров ли?

– Успокойся, Саша, успокойся. Не пойду я, – говорила Зина, видя, что у Сашки подрагивают губы, а лицо будто почернело.

– Да, не ходи, Зина, – строго так сказал он. – Понимаешь, нельзя это... Веселиться нельзя, когда *все поля в наших!* Понимаешь?

– Понимаю, конечно. Не переживай ты. Сейчас уложу тебя на коечку, отдохнешь, поспишь... Хлеба принести тебе? У меня есть немного.

Сашка проглотил слюну, но отказался. Еще не хватало, чтобы он Зину стал объедать. Вот табачку бы... Кончился у него.

– Есть у меня, – радостно сообщила она. – Девчата на сахар меняли, а я оставила пачку...

– Надеюсь все же, что вернусь я?

– Не очень, Саша, – как-то серьезно ответила она. – Но все же надеюсь. Как без надежды-то?

Изба, к которой подвела его Зина, была большой, на две половины, и в просторной комнате стояло коек двенадцать – с одеялами и простынями! Даже не верилось Сашке, что ляжет он сейчас в настоящую постель.

Встретила их заунывная, тягучая песня, которую не то пел, не то выстанывал сидящий на койке и медленно раскачивающийся из стороны в сторону раненый – одна рука по плечо отнята, другая без кисти. Этот отвоевался вчистую.

Зина откинула одеяло свободной койки, но Сашка запротестовал – куда он такой грязный да на простынь, так пока приляжет. Зина помогла скинуть ватник, и он присел.

– Отдыхайте, раненый. Сейчас принесу, что обещала, – сказала она и выскользнула из палаты.

Сашка огляделся, знакомых вроде нет. В их первой роте последнее время все чаще убивало либо ранило тяжело, а здесь все легкораненые – кто в ногу, кто в руку.

– Ну, как *там?* – спросил один, раненный в ногу. – Наступать фриц не думает?

– Вроде нет. А там кто его знает.

– А тут паникуют. Кто ходячие, сразу в тыл мотают. А мне вот на костылях далеко не уйти, сижу, жду у моря погоды...

– Кормежка как? – поинтересовался Сашка. Ни раны, ни уколы, ни волнения не забили противно тянущего из нутра ощущения пустоты.

– Не густо. Та же пшенка. Только с хлебушком.

Сашка вздохнул, ладно... Зато в тепле, в сухости и в покое, а со жратвой перетерпеть можно.

Пение безрукого на всех нагоняло тоску, но как ему скажешь? Понимали, мучается человек и от боли, и оттого, куда же ему теперь без двух рук-то? Куда? И собственные ранения казались пустячными, а о том, что ждало их после выздоровления, не задумывались, привыкли на фронте жить часом, а то и минутой.

Сашка прилег не раздеваясь, – ну, оторву минуток шестьсот! – но сон не приходил.

– А я тут, в санроте, останусь, – сказал он, воображая, как месяц целый, никак не меньше, будет он с Зиной вместе.

– Ну и дурак! – Раненный в ногу погасил чинарик о спинку койки и сплюнул. – Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. И вообще чем подальше отсюда, тем спокойней... А ежели немец поперет? Прихлопнет запросто. Сам знаешь, сколько народу на передке, раздавит сразу.

– Не раздавит. За Волгой людей много. И танки даже есть.

Вошла Зина и, подойдя к Сашкиной кровати, сунула незаметно ему под подушку пачку махорки.

– Не спишь почему?

– Сам не знаю.

– Я к вечеру высвобожусь, приду. Надо спать, раненый, – досказала громко.

Сашке донельзя хотелось прикоснуться к ней, взять ее руку в свою, погладить, но при народе неудобно, да и видел он, не хочет Зина открываться при посторонних.

– Приду... – Зина поглядела на него каким-то особенным, обещающим взглядом, от которого бросило Сашку в жар.

Разговоры в палате плыли тихие – кто о доме, о родных, кто о прошлой жизни на гражданке, о войне не говорили. Только гадали, дадут ли на майский праздник водочки. Уж больно хотелось всем забыться хоть минутно, смыть хмельком воспоминания о фронте, о смертях, о крови, о погибших товарищах. Под них Сашка и задремал.

Очнулся он от шума отодвигаемых табуреток, скрипа коек и, когда открыл глаза, увидел, что почти все раненые стоят. Он тоже вскочил и вытянулся... В палату вошли врач, делавший ему перевязку, тот самый старший лейтенант и комиссар бригады.

Комиссара Сашка видел только раз, на формировании, и еще тогда показался он ему больно неказистым для такой должности – и ростом невысок, и шинель не подогнана, мешком, видать, не кадровый, а из запаса комиссар, а сейчас в сравнении с видным, подтянутым лейтенантом и совсем не смотрелся.

– Сидите, товарищи, сидите, – поспешно сказал комиссар, обводя всех внимательными и, как показалось Сашке, добрыми глазами. – Как самочувствие?

– Обыкновенное. Отдыхаем со всеми удобствами. Только еды пока не хватает, – ответил за всех раненный в ногу.

А Сашка подумал: сказал что лейтенант комиссару или нет?

– Поздравляю вас с наступающим праздником и желаю скорейшего выздоровления и возвращения в строй... – продолжал комиссар, но безрукий перебил:

– А водочки дадут завтра? На передке не баловали, так, может, здесь попотчуют?

– Обязательно, – улыбнулся комиссар, – и покормить постараемся получше, хотя, сами знаете, положение со снабжением неважное, распутица. Но что-нибудь придумаем.

– А как с эвакуацией? Я в ногу раненный, сам не могу...

– Для машин дороги пока непроезжие, а на подводах отправляем только тяжелораненых. Потерпите, товарищи, вот пообсохнет...

– Тогда и фриц попереть может, – сказал раненный в ногу.

– Есть данные, товарищи, что на нашем участке фронта немцы наступать не собираются.

Сашка приметил на себе взгляд лейтенанта. Он не был злым, скорее любопытным, но стало Сашке опять неловко. Не то чтоб страшился чего, просто происшедшее было

противно Сашкиному нутру и он никак не мог отделаться от чувства какого-то неудобства.

И показалось ему теперь, что ничего уж такого не было в подозрениях «старшого». Чего греха таить, были же самострелы. Двоих из трофейной команды засекали, один, совсем пацан, к ним в роту был прислан уже после трибунала – искупать кровью. И Сашка вдруг, еще не зная, чего скажет лейтенанту, спросил комиссара:

– Разрешите обратиться к старшему лейтенанту, товарищ комиссар?

– Обращайтесь, – разрешил тот.

Сашка помялся немного, потом нашелся:

– Вы меня, товарищ старший лейтенант, простите за давешнее... Не в себе был...

– Очнулся, герой? Ну, ладно. Я тоже не прав был, – улынувшись и совсем добродушно ответил лейтенант.

– Что это такое у вас было? – любопытствовал комиссар.

– Так, погорячились немного, – ответил «старшой» и добавил, обращаясь ко всем: – Завтра, товарищи бойцы, командир бригады будет лично вручать награды. У меня нет с собой списков, но могу сказать почти точно, что кое-кого из вашей палаты можно будет поздравить. – И показалось Сашке, что глянул лейтенант именно на него.

Что ж, вполне возможно. Ротный еще до немца посылал на него наградные листы, но и за немца-то должны дать обязательно. Сашка заулыбался – меньше, чем «За отвагу», быть не должно, а может, и «звездочка»...

Когда начальство ушло, угостил Сашка на радостях всю братву Зининым табачком, и мутный осадок, оставшийся с утра, разошелся в его душе совсем. Доволен он и что с лейтенантом вроде улажено, и что награда впереди почти верная. А потом и обед – правда, не очень, та же пшенка, только погуще и с хлебушком – окончательно поднял Сашкино настроение, и продремал он в покое почти до вечера.

Проснувшись, вышел Сашка на крыльцо покурить и воздухом свежим подышать. Солнце еще высоко было, но подходило уже к западу, к передовой. Там оно закатывалось за Овсянниковом и раскаляло разбитую эту и не достигнутую ими деревеньку докрасна, и после маялись они в ожидании обстрела – немец был точен и бил в аккурат после захода солнца.

И представилось Сашке, как через час будет дрожать его родная рота в продувных шалашиках и как кого-то беспрерывно сегодня пришлепнет, пожалуй, сержанта – не понравился он Сашке сегодня утром, – и как ротный будет говорить стоящим около убитого бойцам: «Ребятки, только без сантиментов, война есть война», – и как закидают того лапником, а потом разбредутся по своим лежкам, выскребывая из карманов последние табачинки.

И смутно стало на душе и вроде стыдно, что находится он сейчас в тихом, словно дремлющем в майском вечере селе, где звенят ведра у колодцев, негромко перебирает лады гармонь, вьются приятно пахнущие дымки из труб, где ходят люди спокойно, не таясь и не крадучись, не ожидая ни шальных пуль, ни минометного обстрела, а его товарищи и его ротный – там...

Зина пришла не сразу после ужина, а когда все раненые улеглись по постелям, и присела около Сашки.

– Ну вот, пришла я. Как ты тут?

– Нормально. Тебя ждал.

– Я спиртику малость достала, – сказала шепотом. – Ночью у вас дежурить буду, а пока свободная...

– Знаешь, приходил этот «старшой»...

– Ну и что? – с тревогой перебила Зина.

– Порядок... Прощения я попросил за мат-то...

- Ты – прощения? Это он должен...
- Он тоже неправым себя признал. Так что порядок, Зина.
- Ты правду говоришь?
- Конечно.

Зина помолчала немного, поглядела на Сашку, хотела что-то сказать, но потом тряхнула головой, раздумав, и проговорила безразлично:

- Вот и хорошо, – и стала разливать спирт, Сашке в кружку, а себе в мензурку. Потом достала хлебца немного и... – Смотри, что раздобыла, – и показала ему соленый огурец.
- У хозяйки выпросила. Здорово?
- Здорово! С гражданки не ел.
- Ну, давай, Саша... За твое возвращение и за праздничек...
- ...за победу, Зина, – серьезно и проникновенно досказал Сашка.

– Конечно. Но главное, за то, что живой ты... Правду сказать, в последние дни совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то... что в эшелоне, и вот все, не встречу тебя никогда больше... Не поверишь ты, а я тогда, честное слово, впервые в жизни целовалась... Ну, чокнемся, Сашенька, только тихонечко.

Спирт огнем прошелся по Сашкиному телу, и стало ему хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. Зинина рука лежала в его заскорузлых обожженных пальцах, и тепло от нее доходило до самого его сердца.

И отошло куда-то все, что было в эти месяцы, ушло страшным сном, стало небылью, а в мире только эта изба, неяркий свет керосиновой лампы, тишина, прерываемая неровным дыханием раненых, и Зина, ее руки, ее глаза, смотрящие на него ласково и жалостливо.

Ничего-то она не спросила о том, что было *там*. Видно, знала все – не один раненый прошел через ее руки, и рассказывали, и жаловались, – и потому в ее взгляде видел Сашка какую-то смятенность и сострадание.

- Как чувствуешь себя, родненький? Рана не болит?
- Не болит, – соврал Сашка. К вечеру-то рука заныла.
- Может, пройдемся до Волги? Сможешь?

– Смогу, конечно, – обрадовался он и подумал, какое счастье его ждет – побыть с Зиной наедине, без людей-свидетелей.

Было еще не темно... Солнце, правда, уже ушло за правый кряжистый берег, но еще не закатилось совсем. *Там* оно еще висит над Овсянниковом и его отблески кроваво полосят небо и сжигают рваные края темного, растянувшегося по всему горизонту облака.

Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли, крепко прижатые друг к другу, так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела.

– Я сюда часто приходила вечерами. Смотрела на небо и думала, думала... И всегда оно страшное было, словно в крови, – Зина крепче прижалась к Сашке. Думала, как ты *там*? Живой ли? Или отмучился?

Они остановились... Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него.

Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы. И не верилось, что сейчас он может опять прижаться к ним и испытать ту же острую сладость, которую испытывал тогда, когда отстрелявшиеся «мессеры» с воем уходили от эшелона, а он медленно притягивал ее лицо к своему и касался ее губ... Они замирали, а в их придавленные страхом души опять возвращалась жизнь.

И оба оттягивали поцелуй, но, когда их губы сошлись, все было так же, только без той отчаянной горькости, какая была в тех поцелуях после бомбежки, когда думали они, что это последнее в их жизни, что вот-вот возвратятся самолеты опять и что будет, неизвестно.

А теперь Сашка сможет целовать Зину и завтра и послезавтра... И казалось это ему чудом.

От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, немного потом, и Сашка знал, эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут связаны с нею, с Зиной, всегда будут напоминать об этом вечере. И он упивался ими, близостью Зины, но, даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желаний – только нестерпимая нежность заполняла до краев.

Вначале это не встревожило его, но когда разморенная поцелуями Зина сама прижалась к нему, распахнув шинель, и он почувствовал ее *всю*, и его рука невольно пошла вниз по Зининому бедру до края юбки, а потом, приподняв ее, пошла вверх по шершавому в резинку чулку и, пройдя его, наконец коснулась голой горячей Зининой ноги, и тут Сашка ничего в себе не ощутил, и его рука, остановившись на миг, обескураженно пошла вниз.

– Потом, Сашенька, потом... – зашептала Зина. – Пойдем дальше, там скамеечка есть, – и потянула его по тропке.

Слева от них зеленовато поблескивала река, зримой чертой отделяя мир этот, в котором Сашка сейчас, и мир тот, в котором он находился еще сегодня, и ему представилось, что не взаправду все это, а сон, который вот-вот прервется, и он заспешил.

– Далеко еще?

– Сейчас, родненький, вон у той сосны.

Хотя Сашка и не был опытен в любви, он чувствовал, позволит ему Зина все, и потому, когда подошли к скамейке, он не грубо, но настойчиво стал приваливать Зину на нее.

Но и тут – когда совсем близко живое, трепетное женское тело, к которому не прикасался по-настоящему целую вечность, – в нем никакого ответа, словно ничего мужского в нем нет.

Сашка недоумевал, не понимая, что же такое с ним сотряслось, а Зина уже мягко отталкивала его от себя, пришептывая:

– Не надо, Сашенька, потом... Слабенький ты сейчас, израненный, не надо... Вот что с тобой сделали-то... Господи...

Она взяла черную, обгоревшую Сашкину руку и припала к ней губами.

– Не надо, – смутился Сашка, отнимая свою руку, которую жгли Зинины слезы. – Ну, что плачешь? Пройдет это...

– Не о том я, глупенький... Но что сделали-то с тобой...

И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, даже рада, что не вышло у них ничего, – уж больно скоро она стала его отталкивать... И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого, и слова-то она говорила все жалкие: родненький, глупенький, бедненький... Может, из жалости и решила на все да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной?

Стал он гладить Зинины плечи, и тоже жалость к ней пронизала душу – потерянная она какая-то, не такая, какой была в эшелоне, будто гложет ее что-то...

– Достается вам тоже, Зинок?

– Да нет. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить.

Они помолчали немного, потом Сашка спросил:

– Пристают мужики-то?

– Пристают, – просто ответила Зина.

– А этот... «старшой», не лез к тебе?

– Понимаешь, Саша... – не сразу ответила она. – Нравлюсь я ему. Ухаживает он за мной, но... по-хорошему, без глупостей... Понимаешь?

– Понимаю.

– Гулять приглашал не раз...

– Ходила? – с тревогой спросил Сашка.

– Ходила, – чуть замявшись, дала она ответ. – Два раза ходила.

– Ну и что?

– Ничего. Он до меня даже пальцем не дотронулся... А вообще-то, Саша, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же...

– Останусь у вас, при мне никто к тебе лезть не посмеет.

– Конечно, милый, – без особой уверенности сказала она. – Месяц у нас только, Сашенька... А что потом, родненький? Что потом? – всхлипнула опять Зина.

Что потом, Сашка не знал и ответить ничего не смог, только привлек ее к себе, потянулся губами, прижался... И прервала их поцелуй неожиданная вспышка на том берегу – первая ночная ракета. И смотрели они на мерцавшее недолго – минуту-две – небо и как потухло оно, погрузив опять в темень правый берег с соснами на нем.

А подумалось Сашке почему-то – вот такой же короткой, как вспышка ракеты, и будет их любовь... Погорит недолго, согреть как следует не успеет и... погаснет – разведет их война в разные стороны.

Наверное, и Зине пригрезилось то же, потому как вздрогнула она, сжалась комочком и затихла у Сашкиного плеча.

Так и сидели они, примолкнувшие, отрешенные от всего, связанные нежданно пришедшей любовью, любовью ненадежной и зыбкой, как ненадежна и непрочна была их жизнь вообще в эту лихолетнюю весну сорок второго года, весну подо Ржевом.

И, словно напоминая им об этой ненадежности, на западе мертвенно и угрозно вспыхивало небо и глухо рокотала артиллерийской переголосицей недалекая передовая...

Еще глубже пронзила Сашку жалость к этой прижавшейся к нему девчужке в военной форме, дарившей ему себя и свою любовь без всякой надежды на долговость, на крепость, без веры в хоть какое-то будущее. И он подумал: пожалуй, даже хорошо, что не случилось главного... Которое, может, и не главное совсем, а так...

С реки несло прохладой, но Сашке было жарко, видно, температура поднялась, и, как всегда при тепле, зазудело тело.

– Как бы не набралась от меня, – сказал Сашка, осторожно отодвинувшись от Зины. Она тихонько засмеялась:

– Это не самое страшное, Сашенька... Пойдем, милый, пора мне, да и ты, вижу, притомился.

– Есть малость.

И они пошли слитно друг к дружке, и опять Сашка ощущал сладостное колыхание Зининого бедра у своей ноги.

– А меня не погонят от вас в госпиталь какой? – затревожился вдруг Сашка.

– Нет. Но тебе-то в тылу будет лучше, чем у нас...

– Без тебя-то? Нет. Понимаешь, должны же нас сменить наконец. Тогда и на формировании вместе будем. Вот что загадываю.

– Хорошо бы, – вздохнула Зина.

А недалекая передовая непрестанно давала о себе знать то негромким похрипыванием, то взблеском ракет, то красными нитями трассирующих, режущих небосклон.

– Устал, Саша? Замучила я тебя. Не надо бы сегодня ходить, не отдохнул ты еще.

– Ну что ты. Хорошо же было...

– Вот вернемся в палату, уложу тебя, дам снотворного, выплещешься как следует, – Зина ласково провела рукой по Сашкиной щеке.

– Небритый я... Да и вообще грязный я, оборванный...

– Будто я не знаю, откуда ты, – махнула она рукой.

– Тут у вас все чистенькие, побритые...

– Ты ж с войны настоящей, Саша, разве я не понимаю, о чем говорить.

– Да-а, – задумчиво протянул Сашка. – Война была взаимная, это ты верно сказала. Видишь, что со мной наделала. Ты уж не обижайся на меня... Усталый я сильно. Очень усталый, – повторил он.

– Глупенький, ты опять о том же. Понимаю я все. Отлежаться тебе надо, отдохнуть...

Последние метры перед селом Сашка насилил шел.

В палате уже все спали – кто храпел, кто подстанывал, а кто и вскрикивал во сне, – только обезрученный сидел на койке, уставившись в одну точку.

– Заверни, браток, – поднял он глаза на Сашку.

Научившись за день справляться с сигаркой одной рукой, Сашка свернул, прижег и, присев рядом, прямо в рот сунул тому самокрутку.

– Вот какие дела, парень... Куда я теперь? Прибило бы лучше... Тебе-то повезло.

– Да, повезло, – согласился Сашка.

Зина оправила ему постель, взбила подушку и сказала:

– Ложитесь, раненый.

Сашка усмехнулся. Да и верно, зачем кому знать, что у них промеж собой.

– Сейчас, сестрица, покурим с товарищем, – ответил он в тон ей, и Зина тоже улыбнулась.

Так он и просидел с раненым, пока тот не докурил, то давая ему в рот сигарку, то отнимая, словно малому дитю соску.

Подойдя к постели, Сашка подивился еще раз. Когда же он спал раздетый до белья да на простыне, дай бог памяти? И оказалось, что с двадцатого ноября, как сел в эшелон на далекой приморской станции, не видел он настоящей постели.

Долго возился он со шнурками от ботинок – заскорузли и пригорели намертво, хоть режь их, – но все же осилил. Но гимнастерку снять позвал Зину. Не лезла забинтованная рука в рукав, хоть и разрезанный, пришлось еще подрезать, а гимнастерка-то хорошая, суконная, теперь одно – выбросить, а жаль. Когда Зина принялась за брюки, Сашка застеснялся, но она ловко стянула их, не дав ему и опомниться, и остался он в бежевом трикотажном белье – неудобно, будто голый, – и нырнул скорей под одеяло.

Зина дала ему выпить чего-то горького, сказав:

– Я тут буду, только выходить придется, у меня в трех избах раненые. Спи, родненький, – добавила совсем тихо. – Спи...

Сашка растянулся на койке блаженно – ну вот, посплю сегодня по-людски.

Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю – и «Катюшу», и «Синенький платочек», и какие-то вальсы.

– Празднуют штабные-то, – хриловато и недобро сказал безрукий.

– Шут с ними, пусть веселятся, – равнодушно ответил Сашка.

Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось.

– Веселиться-то вроде не с чего... – хмуро продолжил тот, покусывая губы.

– Праздник все же... Ты, брат, не завидуй. Этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра там могут оказаться.

– Тебе-то что, поднесла сестрица выпить. Знакомая, что ли?

– Знакомая. Дадут завтра всем, обещал же комиссар.

– Они дадут... Много тебе на передке водочки доставалось? То-то и оно, – добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа.

Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла.

За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной, а сейчас подумалось – непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в госпитале, чтоб не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осенью сорок первого отслужил бы он кадровую и был бы дома, а дом Сашкин не так уж далеко отсюда – верст триста. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнить, где служил Сашка срочную.

Но он и не задумывался о том, что может он, пока раненый и вне строя, до дома своего добраться и повидаться с матерью. Слишком дорога для него сейчас Зина, и покинуть ее и в голову не приходило.

Слышится ему, как возится она сейчас в своем закуточке, и сладко ему от ее близости и покойно. Уже засыпая, услышал он Зинины шаги, ощутил на своем лбу ее прохладную ладонь – вот и избыл этот первый тыловой день, оказавшийся для него совсем не легким, а каким-то заботным и сумятным, – и великий покой сошел на Сашку, покой, которого не знал долгие и тяжкие месяцы фронта.

Ничего ему не снилось – ни плохого, ни хорошего, – и потому не понимал он, почему проснулся с тоской, точно такой же, как в тот день на передовой, когда нагрянула на них немецкая разведка.

Еще глаза не открыл, как придавила голову безысходная мысль – не пережить ему эту войну... Потому как в пехоте он и судьба его ясная: передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну, раз, как сейчас, ну, два... Но не вечно же? А война впереди долгая. И не избеж ему, что в каком-то из боев прийдет его насмерть.

– Зина... – позвал он тихо.

Но подошла к нему не она, а незнакомая медсестра.

– Что вам, раненый?

– А Зина где?

– Вышла Зина. Что, рана болит?

– Да нет.

– Тогда спите, раненый. – Она отошла, а Сашка полез за махоркой.

Поначалу он не забеспокоился – говорила же Зина, что выходить будет, не одна у нее палата, надо и за другими ранеными приглядеть, – но сон ушел, и, как ни старался уснуть, ничего не выходило.

Мысли смутные он прогнал. Научился он *там* не давать воли ни тоске, ни надежде. И сейчас вроде бы ни о чем плохом не думал, только хотелось отчаянно, чтоб пришла Зина, прикоснулась опять ко лбу, погладила по-матерински... И может быть, тогда опять обрел бы Сашка покой и безмятежность, но она не шла, и драл Сашка горло дымом «моршанской».

В штабе все еще гуляли. Вперемежку с гармонью играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе... Давно это было. И тихие вечера в дальневосточном полку, и приятные разговоры с ребятами о скором увольнении, и задумки о будущей жизни на гражданке...

Сколько прошло времени, час ли, два, Сашка не заметил, только не выдержал более и встал. Натянув брюки и кое-как приладив ботинки, вышел. В Зинином закутке сидела та незнакомая сестра и, привалившись к столу, дремала.

– Чего тебе? – проснулась она сразу и спросила недовольно.

– Зина не вернулась еще?

– Чего тебе далась Зина? Сказала же я...

– Где она?

– Ну... вызвали ее.

– Куда вызвали?

При свете лампы разглядел Сашка девушку – востроносенькая, некрасивая, но губки накрашены, и надушена так, что голова закружиться может. И понял он, что не в других палатах Зина, а там, в штабе, на гулянке.

– Она ж не хотела идти, – упавшим голосом пробормотал Сашка.

– Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали, и пошла.

– На гулянку идти приказать не могут. Не загибай.

– Ну, не приказали, так какой-нибудь предлог нашли. А ты чего беспокоишься, парень? А, поняла... Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?

– Я, – кивнул он.

– Ничего там с ней не случится, – голос ее помягчел. – Поест как следует, выпьет, ну потанцует с кем. Иди-ка ты спать.

Посмотрел на нее Сашка еще раз: видно, готовилась она сама на вечер идти, потому накрасилась так и надушилась, а заставили ее вместо Зины дежурить, и потому особого сочувствия ни Сашка, ни Зина у нее не вызывали.

– Ну, чего стоишь столбом? Иди на койку и не переживай.

– Я и не переживаю, – соврал Сашка.

– Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло...

– Причем здесь время? – не понял он.

– Подумай, – повторила востроносенькая и усмехнулась.

Ах ты, язва, подумал Сашка и чуть было не выругался.

Безрукий проснулся, а может, и не спал совсем или вполглаза, и попросил закурить. Присел Сашка к нему на койку, и задымили, как два паровоза.

В избе было душно. Пахло нечистым бельем, грязными портянками и кислым от волглых, непросохших ватников.

Откурили по одной, закрутили по второму разу, и все молча. Потом отошел Сашка к своей постели.

– А ты плюнь! – вдруг сказал безрукий.

– Ты про что?

– Знаешь про что. Только не думай, что сама она... Приходил лейтенант тот, уговаривал. Она вначале ни в какую – нельзя, сказала, веселиться, когда на передке люди бедуют. А он ей: не на веселье тебя зову, а на прощанье. Отправляют его, как я понял, завтра в батальон то ли ротным, то ли помкомбатом. Ну, тогда она согласилась ненадолго... – Он помолчал немного, а потом добавил не без злости: – Снимет с него стружку передовая-то, а то ходят тут фертами³³...

Но Сашка тому не зародовался. Зла у него на лейтенанта не было. А то, что Зина сейчас там, на вечере, затронуло больно, и что-то тошнотное стало подступать к горлу. Задышал он прерывисто, тяжело и торопливо непослушной рукой стал натягивать гимнастерку.

– Ты-то оклемаешься, – продолжал обезрученный, – это все пустяки, а мне-то как? Как домой таким ехать? Думаешь, примет меня баба?

Сашка надевал брюки.

– Зачем я ей такой? Ей ребят кормить, себя да еще меня, прихлебая...

³³ Ходить фертом – в старой русской азбуке буква «ф» носила название «ферт». Народ подметил забавное сходство между рисунком этой буквы и осанкой подбоченившегося человека. Сначала слово «ферт» стало значить «руки в боку», «подбочась»; затем выражение «ходить фертом» приобрело и более общее значение. В переносном смысле оно означает: шеголять, фасонить.

Сашка навертывал обмотки.

– И куда податься после госпиталя, ума не приложу. Только не домой, – не переставал тот свое, наболевшее.

Сашка накиннул телогрейку и поднялся.

– Куда надумал? – спросил безрукий с тревогой.

– На двор выйду. Духота здесь.

– Ты смотри, браток, без глупостей. Оружия-то трофейного нет у тебя случаем?

– Нет. Был «вальтер», ротному подарил.

– Ну, ладно, приходи скорей. Чую, без сна будет у нас эта ночка. Вдвоем-то с разговором легче.

Сашка вышел на крыльцо. Темно, тихо. Музыка из штабного дома умолкла. Боец из охраны, проходивший мимо, шикнул на Сашку, чиркнувшего «катюшей». Сашка махнул рукой – тоже мне вояка, за столько верст от немца искры боится. Они на самой передовой такие костры запускали, и ничего.

Спустился он с крыльца, присел на завалинку и стал перебирать в уме все, что произошло у них с Зиной на прогулке. Другая она какая-то стала... Вот распахнула себя для Сашки, а как-то без легкости. Вроде и сама вела его к скамейке, но как-то безохотно, хоть и торопилась, словно точку какую-то на чем-то поставить хотела. Это он и тогда почувствовал. Может, потому и не получилось у него ничего, что уловил он Зинино нежелание тайное? Верно, есть у нее кто? А если и есть, то не кто другой, как лейтенант этот. Почему и нет? Из себя видный. И звание подходящее. И должность. С таким будешь, никто не пристанет, всплыли Зинины слова о том, что не выдерживают девчата, сойдутся с кем, чтоб другие не лезли. А может, и любовь у них настоящая? Говорила же Зина, хороший он. Живым живое. Сама говорила, что надежду на Сашкино возвращение потеряла в последнее время. И это понять можно. Представил он, что могли ей рассказывать раненые, ужаснутые первыми боями...

Да нет, успокоил себя Сашка, не должно быть так. Сказала бы Зина прямо: так, мол, и так, прости и не обессудь. Разве повела бы его тогда она к Волге? Нет, конечно. Ну а на вечер пошла просто потому, что неудобно отказаться, раз завтра на передок уходит лейтенант. Это понять можно.

Но все же мысль, что могут обидеть Зину там, на вечеринке, промелькнула и ожгла болью. И то, что музыка кончилась, показалось Сашке приметой того, что расплозились празднующие по углам тискать девчат и что Зину тоже тянет этот старшой... А он, Сашка, сидит здесь на завалинке и ничего, ничего не может сделать, ничем помочь.

И такое же унижительное отчаяние бессильности, какое бывало на передовой, когда немец накрывал их снарядами и минами, а им нечем было ответить, охватило Сашку, и, еще не зная, что будет делать, поднялся он и быстро запетлял огородами, чтоб не столкнуться с патрульным, к тому дому.

Он хорошо виднелся белым фасадом, да из окошка второго этажа еле заметной полоской пробивался свет из-под маскировки.

Обошел он его издали, чтоб не заметили часовые у дверей, и приблизился к дому с другой стороны, где был не то сад, не то парк какой, и затаился за деревом.

Опять взвизгнула гармонь с переливами, раздалась песня, и слышны были даже разговоры и смех девчат.

Сашка заостенело стоял, привалившись к стволу, стараясь в шуме голосов услышать ее, Зинин, голос, но напрасно. Кончилась песня, и вскоре завели там патефон, и послышалось ему шелестение шагов – танцуют, верно.

Может, и правда, как сказала востроносенькая, выпьют, закусят, потанцуют, и ничего того страшного, что мерещится Сашке, и не произойдет, и вернется Зина, как была.

Но даже если и так, то все же не дело это, подумал он. Рассказать про такое ребятам на передке – осудили бы непременно и поматерились бы обязательно. Что ни говори, пока война, пока истекает кровью его батальон, пока белеют нижним бельем на полях незахороненные, какие могут быть праздники, какие танцы?

Конечно, понимал Сашка, что любого из тех, кто веселится сейчас в штабном доме, в любое приспевшее время могут мигом отправить туда, к смерти, от которой счастливым случаем ушел сегодня Сашка и навстречу которой пойдет утром старший лейтенант, но все же...

Патефон нес из окон знакомую давнюю песню «Любимый город может спать спокойно...», песню, под которую и началась для него война в июньский теплый вечер у танцплощадки в дальневосточном полку... Ребята посмелее танцевали с боевыми подругами, женами командиров, а Сашка стоял, покуривая, и слушал музыку. И лились тогда эти же задевающие за сердце слова, словно для Сашки и его одногодков сложенные: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» – и вдруг оборвались, прохрипел динамик «важное сообщение», и пошла речь Молотова.

А после нее закричал кто-то визгливо: «Тревога! Боевая тревога! По подразделениям!» – и побежали они по своим ротам. В небе гудел самолет, и тревожно царпала мысль – не начнет ли теперь Япония? И, несмотря что вечер был тих и ясен, показалось им, будто потемнело небо. До ночи простояли они на плацу в полном боевом, а когда распустили, в курилке было необычно – ни смеха, ни шуточек, ни ласкового матюжка... Понимали, ворвалось в их жизни необыкновенное, очень важное и страшное, что станет их судьбой. Правда, тогда грезилась им еще и подвиги, и поступки геройские, которые совершат они непременно, лишь бы война не мимо, лишь бы не просидеть ее на востоке. И потом, после всего совершенного, вернуться они героями по своим домам – и «...любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд...». Да, приманчива была война издали.

Вот и прошел Сашка не все «бои и войны», прошел только одну свою первую, не ахти какую долгую, всего в два месяца войну, прошел вроде честно, не давая себе послаби, и стоит он сейчас, переломанный и умянный малой этой войной, в чужом селе, около чужого дома и слушает для него написанное, но не для него сейчас предназначенное: «Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины...» – и даже покурить ему здесь нельзя, вдруг заметят и пойдут расспросы, зачем он здесь и для чего.

И эта, казалось бы, мелочь, что нельзя ему здесь курнуть, вдруг сжала Сашкино сердце горькой, унижительной жалостью к самому себе, что бывала только в детстве, когда выплакивал он свои обиды, прижавшись к материнским коленям. И почувствовал он себя почему-то таким чужим здесь, никому не нужным, чего никогда не бывало на передовой, где все были свои, как бы родные, даже комбат и комиссар, не говоря уж о ротном...

А из окон неслось: «...Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...»

И только один у него здесь родной человек – Зина, и та не с ним, а там, за окнами... И представилось Сашке, как липнет лейтенант к ней, как тянет ее где потемнее, как шарит жадными пальцами по ее телу... И забродило в душе страшное: если обидят Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного свой «вальтер»³⁴, а там будь что будет...

³⁴ «Вальтер» – немецкий пистолет

И только мысль, что не одна же там Зина с лейтенантом, народу много, возможно, и комиссар сам там, а при нем никакого баловства никто допустить не посмеет, умирила Сашку немного.

Но все равно нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давило... И пойти бы ему сейчас в палату, броситься на койку, забыться, не держат же ноги совсем, как-никак оттопал он сегодня без мала верст пятнадцать, но неотступен Сашка в своем решении дожидаться Зину во что бы то ни стало. Он и не подошел бы к ней. Только посмотрел, что возвращается она веселая и необиженная. И за вечер корить бы не стал. Сделал бы вид, что и не знает.

И намедлил – услышал Зинин голос! Но не там, где музыка, а прямо из ближайшего к нему окна. Не разобрать что, но мерещится ему что-то жалкое, упрашивающее, а мужской голос по-пьяному настырен и с приказными нотками.

И тут будто разорвалось что в Сашкиной голове – что делать-то, что делать?

Бросился он вперед, поближе к окну, а там уж громче Зинин голос, и чудится Сашке даже зов о помощи, и тогда, не помня себя, нашаривает он рукой на земле что-то твердое, не то камень, не то кирпича обломок, и еще минута... рванулась бы в броске Сашкина рука, но окно вдруг раскрылось и в его проеме беловато засветилось Зинино лицо, и услышал Сашка уже явственно, как сказала она стоящему за ее спиной лейтенанту.

– Не надо, Толя... – и отвела его руки мягко и несердито.

Вздыбись рядом земля от взрыва, не ошеломило бы так Сашку. И ни слова, ни обращение по имени, а вот жест этот покойный, даже ласковый, каким отвела она его руки, словно имеет она силу на лейтенанта, поразил Сашку в самое сердце и уверил его, что любовь у них...

Словно ударом под вздох надломило Сашку и откинуло назад. Медленно пятясь, не сводил он глаз с окошка, где неясно мерцали два плывущих и колеблющихся пятна – Зинино и лейтенантово лица... Они говорили еще о чем-то, но Сашка не вникал...

Так и пятился он, пока не ткнулся локтем раненой руки о ствол дерева и не сдержал матерного вскрика. И замолкли тогда в окне, и высунулись, прислушиваясь... Тогда, повернув резко, побежал Сашка, не разбирая дороги, натываясь на деревья, царапаясь о кусты, не таясь уже никого, все держа еще в намертво сведенных пальцах ненужный уже кирпич. Бежал как оглушенный, разодрав рот в беззвучном крике, – не закричишь же... Это там, в наступлениях, выхлестывали они в протяжном «ура-а-а» и боль, и отчаяние, а тут подвалило к горлу, а не выплеснешь.

На крыльце стояла Зинина сменщица и смотрела на штабной дом, откуда опять грохнула музыка, и «Синенький платочек» в который уже раз поплыл над селом. Она глянула на Сашку удивленно и вроде вознамерилась спросить что, но, разглядев почерневшее Сашкино лицо, смолчала, поняв, видать, откуда он прибрел.

Палата пахнула на Сашку спертым, тяжелым духом... Чуть заметным огоньком чадила керосиновая лампа. Не раздеваясь, рухнул он в постель, моля бога, чтоб не заговорил безрукый... Рухнул лицом в подушку, закусил губы, чтоб стон не прорвался, и лежал так, будто омертвелый, только в душе клокотала и билась шальная мысль – завтра же утром на передок податься, пусть добивают...

И только под утро, когда зажелтелось чуть небо, смог он поразмыслить обо всем малость спокойней – не один он на свете, и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. Мать у него, сестренка малая... И опять, перебрал все, что у него с Зиной за тот день и вечер было, припомнив опять разговоры их все и представив ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому – неосудима Зина... Просто война... И нету у него зла на нее...

А за горизонтом тем временем вспыхнула последняя ночная ракета, плеснула в окошко далеким мертвенным, будто нездешним светом и, посветив недолго – минутой-две, – отгорела...

3

Уже совсем обутрело, когда Сашка и еще двое раненых из ходячих приостановились у края села на совет. Продуктов им на дорогу не дали, только продаттестаты, отоварить которые можно будет лишь в Бабине, что в верстах двадцати отсюда. Вот стояли и гадали, дойдут ли за день. А если не осият, то где ночевать, где покормиться? Правда, особо не сомневались, что их-то, Родины защитников, должны удовлетворить в деревнях обязательно, неужто картохи да хлеба кус не заработали они своим ратным делом? Только деревень-то живых по дороге мало, тем более по большакам, а крутить им другими путями без удобства – и заблудиться можно, и путь удлинить, а силенок маловато.

Сашка в разговор не мешался, как-нибудь доберутся, лишь бы поскорей из Бахмутова. Потому и пристал к этим двум, которые решили подальше в тыл податься, где и жратва должна быть погуще и где немец, если поперет, не достанет.

Скользнул он последним оглядом по селу, по штабному дому, белеющему вторым этажом, и вздохнул. А ребята уже тронулись. Докурил Сашка сигарку, сплюнул и пошел вдогон...

А верст через двенадцать обессилели они окончательно, а до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько, и дойдут ли сегодня, потому как день уже к вечеру клонился, солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком.

Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других устaley, а просто говорить не хотелось, а один из раненых уж больно болтливым оказался, лопотал что-то все время. А Сашке не до болтовни, весь в своих мыслях, во вчерашнем вечере, проведенном с Зиной. Но из всего, что у них было, не поцелуи вспоминались, не объятия, а как прижималась Зина губами к почерневшим его пальцам, как горячили руку ее слезы. Вот тут и была, наверное, вершина его чувств к ней – и жалость, и нежность необыкновенная. И, когда представлялось это, сдавливало сердце больно – навсегда же расстались. Словно умерли друг для друга, словно листья павшие разнесло ветерком в разные стороны, не сбиться уж вместе никогда.

Остановились впереди двое Сашкиных однопутников, видать, невмочь больше ноги тащить, присели, поджидая Сашку, а он, подойдя, свалился тоже, даже самокрутку скрутить не в силах.

И пошли разговоры, что они в Бабине сухим пайком получить должны, да не на один день, а, поди, дня на три. Это по целой буханке черняхи на брата должно выйти, по нескольку пачек концентрата, ну а за жир и мясо по банке консервов каких-нибудь. Такого обилия еды не видали они давно. Замечталось наесться от пуза, за все месяцы, что на передовой голодовали, там к какой-нибудь вдовухе на печку – в тепло и сыть... Уже слюнки пустили, а потом забеспокоились – как бы продпункт не закрыли, пока они здесь прохладяются. Кто знает тыловые порядки! Тогда зря вся их торопа через силу – придут к закрытым дверям, что может хуже?

Один из них, в ногу раненный, правда, не сильно, но все же более других намучившийся, сказал:

– А если, ребята, в первой деревне, которая попадется, и заночевать? А с утра прямо в Бабино это, к открытию продпункта. А?

– А жрать чего? – спросил другой.

– Неужто не дадут чего?

– Может, и дадут, – сказал Сашка, – но неудобно... побираться-то.

И призадумались... Вспомнили, как через деревни проходили и интереса к ним никто не проявлял, никто не спросил ни разу: откуда, мол, идете, где ранило, большие ли бои были? Так, пройдутся взглядом, словно невзначай, и отвернутся. Странно им поначалу это показалось, а потом поняли – сотни их проходят за день, дивиться на них нечего, побывное это для людей дело стало, потому и равнодушны. А как поняли, просить поесть чего не решились, как-нибудь до Бабина перетерпят. Махорочкой, правда, разжились у одного деда. Хорошего дал самосада, крепкого, с каким-то желтым цветом, пахучий. Им-то и поддерживали себя на передыхах покуришь, и голод не так сосет, и подбодрит табачок малость.

Да, поняли они кое-что за этот долгий утомный день: и что в тылу голодуха и тяготы, и что на них никто как на героев каких не смотрит. Это когда по Сибири катили, глядели на них все жалостливо, руками махали, приветствовали, а бабы некоторые даже крестом осеяли их вагоны – едут защитники Родины, едут кровь проливать, жизни ложить...

А тут пролили они кровушку, а никакого по этому случаю события, никто в ладони не хлопает, никто по этому поводу не умиляется, никто самогону на их пути не выставляет. Конечно, так они не думали, но все же представляли, что будет к ним внимания в тылу больше, а сейчас видели – прошлась война по этим проселкам, по этим деревням, разорила, своих забот полон рот у людей, не до солдатиков, которых и виноватить можно, что допустили войну до них, до глубокого тыла, чуть ли не до Москвы самой... И, когда подходили к кому дорогу спросить, отвечали им охотно, но в лицах напряжение (как бы чего другого не спросили), а отходя, примечали они, как облегченно вздыхали те.

– Вы как желаете, а я больше не ходок. Буду на ночевку проситься, – сказал хромой и поднялся.

– Лады, дойдем до деревни, а там посмотрим, – решил второй, тоже в руку раненный, только в правую, и в шину проволочную упакованную, и встал вслед.

И поплелись они, тяня шаг, вздыхая и побряхтывая... Вскоре вышли к небольшой деревеньке, домов десять – двенадцать, и постучались в избу, что побогаче выглядела, с наличниками резными и палисадом из штакетника³⁵, но никто не отзывался. Постучали во второй раз, тоже ни звука. На душе смутно – никто из них в странниках не был, никто сроду не побирался, а вот довелось, стоят, будто нищие.

Раненный в ногу озлился, застучал палкой в окошко, да так, что чуть стекло не разбил. Отодвинулась тогда занавеска, и выглянула старуха древняя.

– Переночевать, бабка, требуется. Раненые мы. С фронту идем, – сказал он грубовато и настырно.

– Вижу, родимые, вижу, – запричитала старуха. – Только опоздали вы. До вас калечные пришли, все места заняли. – А глазами шаркает, прямо не глядит.

– Пошли дальше, ребята, – не выдержал Сашка, но в ногу раненный не успокоился:

– А не врешь, старая?

– Ей-богу, родимые... Зачем врать-то. Разве жалко?

– Лады, спасибо этому дому, пойдем к другому, – взял за рукав хромого третий из них, разговорчивый сильно.

– Врет же она! – упирался хромой.

– Если и врет, силой же не попрешь. Пошли, ребята, до места, – махнул рукой Сашка.

– Вы идите, а я здесь ночлега просить буду. Не могу больше топать, и все! Бывайте... – И раненный в ногу заковылял в дом напротив, Сашка и другой раненый пошли дальше.

³⁵ Штакетник – специальные узкие планки для ограды.

– Нам с тобой расставаться не след, у меня левая целая, у тебя правая. В общем, две руки на двоих – не пропадем! – весело закончил раненный в руку.

Сашка посмотрел на попутчика, вид у того какой-то ошалелый, глаза чудные, и улыбка с лица не сходит. Всю дорогу слышал Сашка, как говорил тот без умолку, похохатывал, рукой здоровой размахивал, словно чокнутый какой. И сейчас совсем вроде не расстроился, что в ночлеге отказали, что переть еще неведомо сколько.

– Ты чего скучный такой идешь? – спросил он Сашку.

– А чего радоваться-то?

– Как чего? Живые ведь... Понимаешь, живые! Из такой мясорубки – и живые! Как же не радоваться?

– Тяжелая у тебя рана?

– Кость перебитая. Месяца два, а то и три отвалиюсь верняком. Думаешь, мне жрать неохота? Думаешь, не устал я? Но все это мелочи жизни. Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев! Это же понять надо! – Он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой – впрямь парень тронутый.

Сам Сашка особой радости не ощущал. Давила грудь разлучная тоска, да и дорога эта среди пожарищ и разора на веселье не располагала.

Правда, когда с большака сходили и шли дорогами неезжалыми, там деревни были целые, но в запустении. Много домов покинутых, ни скота не видно, ни лошадей, ни сельхозмашин каких, ну а о тракторах и говорить нечего – туго будет колхозникам весновать. Осими тоже нигде не зеленеет, видно, не сеяли под немцем.

В каждой деревне теперь спрашивали они, как до этого Бабина путь ублизить, и везде отвечали по-разному. И вот что оказалось, сказал один старик вроде точно – не двадцать верст до Бабина, как им в Бахмутове сказали, а все сорок наберется. И позавидовали они хромому, что скумекал тот дальше не топать, а ночевать остался. Теперь и им надо куда-то к месту прибиваться, смеркается день. А тут, как назло, завела их дорога в лес – потемнело сразу, засырело, грязища, лужи огромные обходить приходится. Даже Сашкин однопутчик смешки свои оставил, хотя улыбочка блажная с губ не ушла.

Задумался Сашка... Осенью ровно три года будет, как покинул он свой дом. И с тех пор все у него казенное – и одежда, и еда, и постель, и жилище. Ничего своего у него нету, поди, только платок носовой, да огрызок карандаша, да жалованье красноармейское – двенадцать с полтиной в месяц. До войны на махорку или папиросы дешевые уходило, иной раз в редком увольнении пива кружку выпьешь. Но этим он не тяготился, зато забот никаких. И вообще служба в армии ему нравилась, интересно было, да и знал – *надо!*

Войну они на Дальнем Востоке давно чуяли. Понимали, что не зря великих русских полководцев – Суворова и Кутузова – поминать часто стали (в школе-то на уроках истории о них не учили), ну а когда в апреле сорок первого потянулись эшелоны на запад и в мае лекцию им прочли о «мифе непобедимости немецкой армии», тогда уж совсем ясно стало – не отслужить им мирно кадровую, придется показать немцу, что почем.

Конечно, никто в уме не держал, что так обернется. Думали, будем бить гадов на чужой территории и малой кровью. Не вышло! По-другому завертелось. И нету войне пока конца-краю, и достается на ней всем – и военным, и гражданским. Вот почему и стеснялся Сашка на ночлег набиваться. Понимал, сколько деревенькам этим ржевским довелось... Только от немца избавились, только чуток в себя приходиться стали, хозяйство поправлять, а тут течет мимо река покалеченных, и всех приюти, всех накорми, а чем?... Это за день около сотни пройдет, а с февраля, как наступление пошло, и до сих пор сколько?

А дорога эта неторная все петляла лесом, и никакого просвета впереди. Неужто в лесу заночевать придется?

К вечеру раны начали побаливать сильнее, каждый шаг отдавался, и шли они оба, кривясь от боли, еле тняя ноги, матеря ту тетку, которая на эту дорогу их послала.

Наконец шедший немного впереди Сашкин попутчик закричал радостно:

– Выходим! Слышишь, браток, выходим! Красота-то какая открывается!

Сашку раздражал он малость и своим смехом не к месту, и восклицаниями бесконечными «красота». Все у него красота: к ручью вышли – красота, на поляну какую – красота, лес вдаль засинел – тоже красота! Но как узнал, что из города он, наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждым, стал понимать его вроде. Ну а то, что не в себе он после передка и ранения, ясным-ясно. Она, передовая, может довести – это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется, что ни говори, живыми из такой заварухи вышли... Только где-то внутри посасывало у Сашки – не к добру это.

Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запалая дорога, и вышли они к полю незасеянному, а за пригорком и деревуха показалась, домов в несколько, но не побитая и не сожженная. Видать, немец здесь не побывал.

С нехотью, скрепя сердце подошел Сашка к одной избе и постучался робковато. Сразу же на крыльцо вышла баба немолодая, лет тридцати пяти, глянула на них усталыми прищурными глазами и спросила:

– Переночевать, что ли?

– Да, хозяйюшка. Идем весь день, а до Бабина никак не дойдем. Продпункт там у нас...

– Да до него, поди, еще верст пятнадцать.

– Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше идти сил нет, да и затемнело уже.

– Что ж, заходите... Только, ребята, вот что, место я вам предоставлю, постели устрою, но... покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего. Не обессудьте.

Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно признав в нем своего, деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно:

– Понимаем мы... Не надо нам ничего. Переможем сегодня как-нибудь...

– Не обессудьте, ребята, – повторила она, – картошки чуток осталось, на посадку только. Сами не едим, а у меня дите еще... Ну, проходите.

В доме было прибрано, полы чистые, даже на окнах занавески белые, а на кровати покрывало кружевное.

– Муж-то воюет? – спросил Сашкин однопутник.

– Воюет, ежели живой...

– А что, писем не шлет?

– Нет. Сейчас ложиться будете или погодите?

– Сейчас, только подымить выйдем.

С печки свесилась девчушка лет десяти, бледненькая, худенькая, и глядела на них внимательно, но без удивления, какими-то недетскими глазами.

– На кровати вы вдвоем не поместитесь. На полу постелю, – сказала хозяйка.

– Конечно, – заспешил Сашка, – куда нам на постель? Грязные мы больно.

Женщина, отодвинув немного стол от окна, положила на освободившееся место тюфяк, потом пару одеял старых и две подушки.

– Располагайтесь... Вот и мой небось где-нибудь по чужим домам, если живой... Только вряд ли.

– Ну почему? – заулыбался Сашкин попутчик. – Обязательно живой должен быть! Обязательно! И не думайте о плохом.

– Вам легко говорить... Вы-то живые вышли, – сказала она просто, но почудилось Сашке словно осуждение какое.

И в деревнях, что проходили они, казалось иной раз ему, что смотрят на них некоторые бабы, у которых мужья, видать, точно погибли, как-то недобро, будто думают: вы-то целехонькие идете, а наши мужики головы сложили.

На крыльце присели они на ступеньки, завернули дедовского самосада, помогая друг другу. Так же вдвоем «катушу» запалили – один держал кресало, другой бил, – и затаились до круготы в глазах.

А из лесу по той же дороге и по другой, которая слева через поле тянулась, плелись калечные. Перед деревней приостанавливались на совет, а потом расползались по избам.

Разделись они в избе до белья, только брюки постеснялись снять, укрылись одеяльцами – тепло, сухо, а сон не идет. Бурчали пустые животы, и оттого тошнотная слабость во всем теле, вот и ворочались, кряхтели, вздыхали. И хозяйка на печи, видно, тоже не спала, тоже вздыхала.

– Хоть бы пожевать чего, – прошептал Сашкин сосед.

– Тише ты, – перебил Сашка, а сам о том же мечтал.

Сколько они без сна промаялись, сказать трудно, полчаса, час ли, только вдруг услышали, соскользнула хозяйка с печи, загремела чугунами и к ним подошла.

– Держите, пожуйте малость. А то ни у вас, ни у меня сна нету, – и сунула им в руки по две картофелины.

– Спасибо, – выдохнул Сашка и сразу зубами в теплую мякоть. Зажевал медленно, сосед тоже не спешил – знают они, как есть надо, научила передовая.

Утром, проснувшись рано, задерживаться они не стали. Поблагодарили хозяйку за хлеб-квас, мечтая, конечно, втайне, не даст ли она чего на дорогу, но она, пожелав доброго пути, отвернулась от них сразу. Попутчик Сашкин потоптался еще немного, делая вид, что одежду поправляет, но Сашка тронул его за локоть – пошли, дескать, нечего себе и хозяйке душу мытарить³⁶.

Утро не выдалось – пасмурно, небо в серых облаках, но Сашкин однопутник (Жорой его звали) воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое:

– Утро-то какое! Воздух! А тишина... Красота!

– Курево у нас к концу, – остудил его Сашка.

– Подумаешь, курево! Ерунда! Попросим где-нибудь табачку. Ты об этом не думай. Все это суета сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни!

– Ты почему в санроте не остался?

– Свободы, брат, захотел. Три года в армии я, все по приказу делать приходилось. А сейчас иду куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь, захочу, в любой деревне остановлюсь, а захочу, мимо пройду. *Свобода*, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, но сам я себе хозяин, а в санроте врачей слушайся, сестер слушайся, начальство приветствуй... Понял?

– Понял, – кивнул головой Сашка.

Сегодня и у Сашки настроение куда лучше: во-первых, выспался нормально, во-вторых, часам к двум дотопают они до Бабкина и продукты получают, а потом, эта ночь чертой какой-то отчеркнула все, что в Бахмутове с ним произошло. Вернее, не отчеркнула, а отодвинула назад, словно давно, давно это было. Только временами толчками какими-то пробивалась боль в сердце, но воли ей Сашка не давал прошло это, возврата не будет, чего ж бередить напрасно...

³⁶ Мытарить – мучить, беспокоить.

Шли они проселками, а то и тропками, и деревень на их пути не попадалось, спросить про дорогу некого, и только к середине дня вышли они на большак³⁷ к селу Луковниково. Большое село, войском заселенное. Почти у каждого дома машины стояли груженые, и шоферня вокруг них суетилась веселая чересчур, видать подвыпившая.

Подошли табачку стрелнуть и спросить, как на Бабино пройти. Оказалось, по большаку надо, никуда не сворачивая, верст семь, совсем близко.

– Чего припухаете? – спросил Жора шоферов. – Фронт-то голодует.

– А чего мы можем, распутица. Вторую неделю пухнем.

Ну, этим-то припухать можно – с продуктами машины. И сыты, и пьяны, и нос в табаке, а тем, кто со снарядами, тем скучней, сами небось у баб картошечку выпрашивают.

По большаку идти было плохо – разбитый весь, в ямах и колдобинах, но веселей – прохожих попадалось больше. И военных, и гражданских, женщин, конечно, с ребятней. И куда бредут?

Тут увидели они, плелись им навстречу несколько лошадей тощих, каждую боец за узду вел, а на них вьюками крафт-мешки бумажные с сухарями. Ну, сколько на каждую нагрузить можно? Пудов пять, не больше. Разве таким макарон фронт снабдишь? Попонятнее стало, почему голодуха на передке. Значит, верно, распутица во всем виновата.

Бабино завиднелось издали белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маете. Казенного получают сейчас довольствия по полной норме и до эвакогоспиталя дойдут в сытости – милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное.

Вот и добрались вроде... Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где продпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненного. Стоял он и поливал из ведерка кисть безжизненную медленно так, струйками. Чего это он, подивился Сашка, и подошел к нему. Тот глаза поднял:

– Попить, что ли?

– И попить можно... Спросить мы хотели...

– Сейчас освобожу ведро, – перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку.

– Зачем это вы? – заинтересовался Сашка.

– Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь – легчает.

– Мы спросить хотели, товарищ лейтенант, продпункт где находится?

– Продпункт? – зло засмеялся лейтенант и пошел материться, да так, что Жора от удивления рот открыл. – Был он, продпункт! Зимой! А сейчас нету, перевели куда-то!

– Как нету? – упавшим голосом прошептал Сашка.

– А так, нету, и все! – И пошел опять лейтенант матом. – Вторые сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю...

– И куда же его, продпункт-то? – спросил Сашка, все еще не веря, что лопнули все их надежды, и надеясь, что перевели продпункт куда-нибудь недалеко отсюда.

– А никто ни хрена не знает! Поближе к тылу, наверно.

– Что ж делать будем? – присел Сашка.

– Вы утром лопали чего? – спросил лейтенант.

– Нет.

– Я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут так, купим. Денег у меня навалом.

³⁷ Большак – широкая, наезженная дорога, тракт.

- А здесь не раздобудем? – спросил Жора.
- Нет, пробовал. Тут своих вояк полно.
- Ну, что ж, пойдете, товарищ лейтенант, вместе тогда, – сказал Сашка, вставая.
- Брось ты «лейтенанта». Не в строю мы. Володькой меня звать. Из Москвы я. Вас-то как?
- Александр я, а он Жора.
- Срочную служили?
- Ага. Я с тридцать девятого, а он...
- ...с тридцать восьмого, – досказал Жора.
- Я тоже два года оттрубил рядовым. А как война началась, послали на трехмесячные и вот кубари³⁸ привесили. А они мне... – махнул рукой лейтенант. – Я привык за себя отвечать, а тут всучили взвод, да почти все из запаса... В первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкуру: как ты врага не распознал? А я его, сукиного сына, только две недели и знал, как формировались. Да и не враг он никакой, струсил, дрянь. Ну, тронулись, ребята... Повернули они обратно и потащились. Надо опять по большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где этот эвакогоспиталь расположен. Изредка обгоняли их машины. Голосовали без особой надежды, и верно, ни одна не тормознула даже. В первой же деревне, что попалась им, когда они с большака сошли, направился лейтенант решительно к какому-то дому и, не постучав даже, вошел. Сашка и Жора присели на завалинке. Вскоре лейтенант вышел со стариком – старым, худым, но с глазами живыми, колючими.
- Вот, трое нас только, дед. Надо нам передохнуть, поесть чего-нибудь... Ну и табачку надо...
- Только и всего? – спросил дед. – Довоевались. Хлебушка побираетесь. Что же это вас не кормят? А?
- Продпункт из Бабина выбыл, потому и требуем...
- Требуем? А какое у вас такое право требовать-то? А?
- Раненые же мы... Кровь пролили, – вступил в разговор Жора.
- А знаешь, сколько вас с февраля идет? – повернулся старик к Жоре. – И все к мужику... за хлебушком. А мужик давно вконец разоренный. Это ты понимаешь? Нет у меня, ребята, ничего. Сам до лета вряд ли протяну. Пройдитесь по деревне, может, у кого другого и есть, может, подаст кто...
- Подаст! – вспыхнул лейтенант. – Мы не нищие какие! Вот деньги, – вытащил дрожащей рукой из кармана тридцатки. – Сколько за картошку хочешь? Одну, две? Ну, отвечай!
- Ну что мне твои деньги? Было бы что, дал бы... Идите вы от меня, и весь сказ. Докудова немца пустить решили? До Урала, что ли?
- Молчи! За такие слова... – Лейтенант задрожал весь, глаза выкатил и зашарил рукой в кармане брюк.
- Отойди, лейтенант, – встал перед ним Сашка. – Отойди! Тут другой разговор нужен.
- Солдат-то поумнее тебя будет, – сказал старик и добавил: – Послушайте лучше, чего посоветую...
- Говори, дед, и прости, с фронта мы, нервные... – подступил к нему Сашка.
- Вот это разговор другой. А то – требуем. А чего требовать? Ты спроси сперва, есть ли чего у меня. А если нету, чего требовать? Что нервные вы и перемажные, понимаю. Не

³⁸ Кубари – обиходное название для знака различия, нашивок на петлицы среднего командного и начальствующего состава Красной Армии.

с тещиных блинов идете. Но и нас понять надо... Так вот, идите-ка на поле, там картоха, с осени не копанная. Накопайте и лепехи себе нажарьте. Поняли? Сам это жру.

– Поняли, – сказал Сашка.

– Пользы, может, и немного, но брюхо набьете, и полегчает малость. Идите. Сковороду, так и быть, дам и присолить чем.

Копали картошку руками. Слизнявые, раскисшие клубни расползались в руках, и, как есть такое можно, вначале не представлялось, но когда выдавили из кожуры синеватую мякоть, размяли в руках, присолили и стали печь на сковороде, то уже от запаха, что шел от лепех, закружило в голове и сладко заныло в желудке. А когда попробовали горяченьких, то Жора зачмокал и пробормотал:

– А ничего, ребята, лады! Можно сказать даже, красота!

И вправду, то, что казалось несъедобной гнилью, шло им сейчас в горло за милую душу, а если б примаслить маленько да присолить покрепче – совсем еда хорошая.

Только у лейтенанта стояли слезы в глазах, хотя и он жевал всюю... Обидно, конечно, но что поделаешь, война...

Решили покопать еще и напечь лепех впрок, на дорогу, благо сковорода есть. Отняло у них это часа два. Когда возвращали деду сковороду и поблагодарили, тот полез за печь, достал самосаду и дал им табаку немного, но все же подковырнул:

– И махры, значит, для вас не припасли. Как дальше воевать-то будете?

– Не беспокойся, дед, провоюем и немца погоним, – сказал Сашка.

– Кабы так, все бы я простил... – вздохнул дед. Чего простил, кому, он не разъяснил. Вышли они за деревню и расположились покурить не спеша, полежать немного, разморило после еды-то.

– Значит, говоришь, погоним немца? – обратился лейтенант к Сашке, чуть усмехаясь.

– А разве не так?

Лейтенант затянулся дымком, сплюнул.

– Так-то так, только скажи, откуда у нас такая глупая уверенность? Разве ты на передке не убедился, что немец пока сильнее нас, организованнее, умелее...

– Вот именно, умеет, гад, воевать, – сказал Жора. – Только бросьте вы о войне. До сих пор в ушах звон, дайте покурить спокойно.

– Забыть хочешь? – спросил лейтенант.

– Хочу. Я тишину слушаю... – И опять блажная улыбка растянула Жорины губы.

– Недолго придется слушать. Через два месяца как штык опять на передке будешь.

– Знаю. Но думать об этом не хочу. Нам теперь часом жить надо. И если час твой – радуйся на всю железку. Давайте договоримся – о войне ни слова. Лады?

– Валяй радуйся. Долг свой ты выполнил, совесть у тебя чистая, валяй радуйся.

– Вы так говорите, лейтенант, словно завидуете. А вы тоже долг свой выполнили...

– Да иди ты к черту и с выканьем, и с лейтенантом. Сказал вам – Володька я! Так и зовите. – И лейтенант задумался, так и не ответив Жоре.

А Сашка, видя, что скребет что-то на душе лейтенанта, сказал:

– Война все спишет.

– Глупость! – взметнулся Володька. – Самая настоящая глупость. Вы рядовые, вам что, вы никого на смерть не гнали... Ничего не спишется. Всю жизнь помнить буду, как глядели на меня ребята, когда я им приказ на наступление выкладывал... Всю жизнь... – И замолк лейтенант.

Посидели они еще немного. Сашка с Жорой кое о чем еще поговорили, а Володька мусолил одну самокрутку за другой и ни слова. Но надо и идти, понежились, и хватит. Перевязки на ранах у них пожелтели, бурые пятна на них выступили, а внутри присохли и при движении об раны терли, больно было. А с этим крюком на Бабино,

возней с лепехами и отдыхом после потеряли они времени много, да и шли не ходко, дойти до дотемна к этому Лужкову вряд ли удастся.

И верно, к вечеру пришлось им в какой-то безымянной деревеньке ночлега просить.

Оприютили их две женщины пожилые, сестры видимо, и приняли хорошо, участливо, про войну спрашивали, и ужинали они щами, постными, ясно, но горячими. Хлебца им дали по кусочку махонькому и по две картофелины большие. И на этом спасибо, и то здорово.

Предложили хозяйки две постели на троих (больше не было, свои уступали), но они отказались и постелились опять на полу. Спали крепко, потому как все же сытые были, хоть и не очень.

У Сашки и Жоры раны ночью прибаливали больше, а у лейтенанта наоборот, тот с утра начинал кривиться и кисть раненой руки водой примачивать.

Из этой деревни вышли они вскоре опять на большую дорогу... Тут тоже машины ходили – и газики и «ЗИСы-пятые», – но на их поднятые руки ноль внимания. А лейтенант тяжелей всех шел, красный весь, небось жар поднялся, и каждую прошедшую машину матерком провожал.

И вот один «ЗИС» порожний показался, лейтенант на дорогу вышел, руку поднял, и по лицу видно – не отступит. «ЗИС» засигналил, но скорости, лярва, не сбавил и только в шагах нескольких от лейтенанта вывернул круто в лужу огромную, обдал Володьку грязью с ног до головы и дальше покатил.

И тут лейтенант не выдержал, матюгнулся жутко, из кармана пистолет выхватил (не знали, что при оружии он) и пальнул вслед два раза, хотел, видно, по шинам, но промазал. «ЗИС» тормознул до юза, из окна кабины высунулась рожа толстая, а затем и ствол автомата...

Они замерли поневоле – чем черт не шутит, может, пьян шофер, бабахнет попугать, но ненароком и задеть может. Только Володька, пистолета не пряча, к машине поперся, шальной, право... Шофер дверцу открыл и вышел, стал баллоны задние осматривать. Ну, тогда и Сашка с Жорой тронулись.

Володька к «ЗИСу» подошел и криком:

– Ты что, гад, остановиться не можешь?! Видишь, ноги еле тянем.

– Полегче, лейтенант, и пушку спрячь, – спокойненько так сказал шофер. – Без запаски я. Пробил бы баллон, что делать, а я по заданию. Эх, надо бы по вас очередишку да в кювет загнать, может, опомнились бы...

– Голосуем, голосуем, и ни одна машина не остановится, – вступил Сашка.

– И правильно. Вы ж через полчаса обратно проситесь будете.

– Это почему ж? – спросил Жора.

– А потому. Ну, ладно, залезайте, только по-быстрому.

Залезли в кузов. Жора бледный, зуб на зуб не попадает.

– Ты, лейтенант, эти штучки с пистолетом брось. На кого другого нарвался – и врезал бы. А я свои два месяца отгулять хочу.

– Не ной, отгуляешь ты свои два месяца. И бабешку какую найдешь побаловаться.

– Между прочим, – сказал Жора задумчиво, – странное дело, о женщинах совсем не думаю. И во сне не снятся.

– А с чего им сниться-то? – усмехнулся лейтенант.

– Нет, странно все же... Молодой я...

– Довела тебя, знать, Жора, передовая. Смотри, на всю жизнь можно таким остаться, – продолжал травить Володька.

– Неужто? – забеспокоился Жора. – Разве у вас не так?

– У нас? – засмеялся лейтенант. – Нам с Сашкой только подай. Верно, Сашок?

– Нет, правда? – волновался Жора.

– Ну какие бабы, Жора? Другие мысли у нас – где пожрать, где курева достать... – успокоил его Сашка.

А дорожка не приведи боже! Кидает их из стороны в сторону, и каждый толчок в ранах отдается, да еще бочка с бензином по кузову катается, то одного, то другого по ногам трахнет. Километров пять помучились, а потом застучали в кабину – давай останавливайся.

– Ну что? Говорил вам, порастрясет. По такой дороге и здоровому душу вытряхнет. Потому и не берем вас. Версты три проедете и слезаете. Только время с вами терять. А мне вот к такому-то пункту надо ровно в ноль-ноль. Поняли? – сказал шофер, нетерпеливо глядя, как они из кузова выкарабкиваются. – Ну, бывайте.

– Поняли, – вздохнули они и потопали опять пехом.

Когда мимо картофельных полей проходили, видели, как копошатся там калечные, дымят кострами. Не одни они, значит, так кормятся. Тоже какой дед надоумил, а может, своим умом дошли. В общем, эта картошечка некопаная идет в ход всюю, помогает раненым эту дорогу выдюжить.

Пришлось им вскоре опять на лесную дорогу свернуть, от большака вправо. Сказали им, так поближе будет, верст несколько сократить можно. Но, как вошли, пожалели, что послушались. Неприятная дорога, сумрачная... По обеим сторонам ели вековые наверху ветвями сплелись, света белого не видно.

Когда полями шли, перелесками, по опушкам, взгляду было где разгуляться. И солнце видно, и дали, и воздуху кругом полно, в общем, «красота», как Жора говорил, а здесь даже дыхание сперло – сыро, душно, смрадно. А дальше еще больше дорога поугрюмела, их передовую стала напоминать. Войско вроде зимой тут стояло, а может, и бои были, потому как валялись по сторонам каски простреленные, сумки от противогазов, ящики цинковые от патронов, обмотки ржавые, обрывки бинтов окровавленных, и даже труп один они приметили, но подходить не стали – хватит, на всю жизнь насмотрелись!

Только мысли о войне они с трудом отбросили, а дорога эта опять к ней возвратила. У лейтенанта губы сжались, взглядом в одну точку уставился, и у Сашки сердце тяжестью прихватило. Разговора не получалось – каждый свое вспомнил. Только Жора, впереди их идущий, без внимания это оставил (наверно, нарочно) и даже насвистывал что-то, пока Сашка не крикнул ему вслед:

– Брось, Жора, свистеть!

– А что? – остановился тот.

– Место вроде не для свиста... Бои были... Люди погибали...

– Вот ты о чем, – вроде небрежно бросил Жора и пошел дальше, но насвистывать перестал.

– С него еще телячий восторг не сошел... Все радуется, что живым остался, – немного раздраженно заметил лейтенант.

Видел Сашка, что Жора лейтенанту на нервы действует – и улыбочкой своей постоянной, и охами и ахами по всякому поводу, но что поделаешь? Свела и дорога и доля одинаковая – терпите, принаравливайтесь друг к другу.

Лейтенант труднее других шел. Боли его не отпускали, нерв же перебитый, а он дает боль непрестанную, только ночами отходит. Сашка поэтому равнял шаг на него, хотя и мог идти шибче. А сейчас, видя, что совсем лейтенант еле ногами переступает, предложил перекур, на что тот с радостью согласился.

Присели, завернули по сигарке, задымили... Жора из глаз скрылся, делала дорога тут поворот. Ладно, догадается, что перекуривают они, обождет.

– Лейтенант... – начал было Сашка, но тот перебил:

– Опять?

– Ну, ладно, Владимир. Давно я хотел спросить: почему ты звания командирского не хотел? Мой ротный тоже, когда кубарь ему повесили, что-то не радовался.

– Значит, не дурак твой ротный.

– Я понимаю, – сказал Сашка, – людей на смерть посылать трудно, но все же лучше такие командиры, как вы, кадровую отслужившие, чем из училища «фазаны» желторотые. Разве не так?

– Может, и так... – неохотно как-то ответил лейтенант, потом задумался и досказал не сразу: – У меня все «отцы» были во взводе из запаса, семейные все... Ох, как не хотелось им помирать. А я – вперед, мать вашу так-то, вперед! – и примолк, опять задумавшись.

Сашка помолчал немного, тоже вспомнил, как наступали...

– Приказ же, – немного погодя сказал он.

– Что приказ?.. Мне сержант мой, помкомвзвода, который на войне второй раз, советовал завести взвод за балочку и там переждать немного, чуял он, захлебнется наступление... А я ни в какую! Вперед и вперед! А ребят косит то слева, то справа. Ключья от взвода летят, а я вперед и вперед. Потом залегли, невозможно дальше было, и через минуту-две отход. Если б в этой балочке переждали, считай, полвзвода сохранил бы. Понимаешь, Сашок? И все по своей дурасти, умней людей себя воображал. И помкомвзвода моего хлопнуло. Ну как после этого? А?

– Да, – протянул Сашка. – Выходит, рядовым-то спокойней?

– Еще бы. Рядовой только за себя в ответе... Да что говорить! – махнул рукой Володька.

– Я тоже забыть все хочу, как и Жора, но не выходит. Наверно, на всю жизнь это...

– Так война же, Володя...

И тут грохнул впереди взрыв. Глухо так вначале, а потом раскатился эхом голосистей.

Они вскочили, не понимая – откуда, что? Самолеты вроде не гудели, от фронта далеко... И тут словно толкнуло что-то Сашку в грудь.

– Жора!!! – закричал он и бросился бегом по дороге, а за ним и побелевший лейтенант.

Поворот они проскочили, и дорога далеко видна стала, но Жоры на ней не было. Пробежали еще немного, остановились, по сторонам стали осматриваться и... увидели: слева, на прогалине, шагах в десяти от дороги, лежал Жора, опрокинутый навзничь, руки разметаны, а грудь вся в дырах... И на глазах у них расползаются на ватнике бурые пятна у дыр, и, странно очень, на неподвижном и мертвом еще движется что-то... Улыбки уже не было на Жорином лице, только скривлены были губы в удивленной, недоуменной гримасе и обиженно приоткрыты... Чуть поодаль от его тела у ели синел подснежник. За ним-то, наверное, и свернул Жора с дороги, и словно услышал Сашка его голос: «Смотрите, ребята, цветок какой! Красота!»

Ни одна смерть на передке не ошеломляла так, как эта... Стояли они будто оглушенные, и ни одного слова не выдавливалось. Лейтенант стал как-то оседать и неуклюже опустился на корточки, прикрыв лицо трясущейся рукой, закашлялся неестественно, стремясь, видно, перебить кашлем рвущиеся из горла всхлипы. А у Сашки рука сама потянулась к ушанке, стянул он ее перед покойником, чего никогда не делали они *там*, пальцы невольно сложились щепотью и пошли ко лбу, хотя не был Сашка, конечно, верующим (в церквах, правда, бывал на панихидах, когда родственников отпевали, и там крестился, как все), и, когда коснулся лба, разомкнул пальцы и провел просто ими по волосам.

– А я все смеялся над ним... – пробормотал лейтенант сквозь кашель.

– Покури, – сказал Сашка и протянул кисет, а сам пошел за Жориной шапкой, отброшенной взрывом в сторону.

– Не ходи! – взвизгнул Володька, но Сашка не послушал, только внимательно смотрел под ноги – нет ли еще тут этих проклятых «шпрингмин»³⁹, – подняв шапку, накрыл ею Жорино лицо. Вроде легче стало, а то нет мочи глядеть на скривленные Жорины губы. Лейтенант уже выпрямился, и искурили они по сигарке, молча и стоя, а потом Сашка подошел к Жоре и, распахнув ватник, полез в карман гимнастерки – надо же документы взять, но все было порвано, измазано кровью, красноармейская книжка распозлзлась в Сашкиных руках.

– Медальон ищи, – сказал лейтенант, а сам отвернулся.

Смертный медальон хоть так и называется, но на медальон не похож. Поначалу выдали им такие жестяные ладанки, на шею вешать, отсюда и «медальон», наверно. А потом уж футлярчики черные из пластмассы. Сашка нашел его в кармане брюк и, развинтив, вынул оттуда желтую бумажку, в которой и прописано все, что надо знать живым о погибшем: имя, фамилия, год рождения, каким райвоенкоматом призван, домашний адрес и группа крови по Янскому.⁴⁰

– Не Жора он – Григорий... – прочел Сашка.

– Спрячь. В госпиталь дойдем, напишем родным.

– Напишем... Только правды не надо.

– Конечно... Погиб смертью храбрых в боях за Родину.

– Может, лапником его закидать? – сказал Сашка.

– Не надо. Так увидит его кто, проезжая, захоронят. – Лейтенант вытащил пистолет и подошел к телу. – Ну, Жора, прости за насмешки... Не пришлось тебе в госпитале погулять. Прощай, – и выстрелил в воздух.

Негромкий звук выстрела одиноко и тоскливо прокатился эхом по лесу и иссяк где-то вдали.

Шли они дальше молча, какие тут слова... Лейтенант кусал губы, часто нападал на него кашель, и только одно вымолвил за дорогу:

– Напиться бы...

От стопки и Сашка не отказался бы – такая маета на душе. Вроде бы случайный был Жора попутчик, в боях вместе не были, а ведь так спаялись за дорогу, словно родными стали, и идти им сейчас вдвоем как-то неприятно-то, не хватает Жориных выкриков по поводу и без повода. Эх, Жора, Жора, не свернул бы за этим подснежником, шли бы вместе. Как же нелепо вышло. Пройти бои такие страшные, а по дороге в тыл, к жизни погибнуть...

К середине дня доплелись они до Лужкова, до эвакогоспиталя. Встретили их тут приветно. Правда, обед чуть-чуть не захватили, и терпеть им теперь до ужина. Но что делать, раз такие порядки в тылу: хоть и есть у тебя продаттестат, хоть он десять дней не использованный, но на довольствие ставят лишь с того дня, как прибыл, и за прошлое ни грамма.

Лейтенант было зашумел, чтобы пайки хлеба за обед дали, но порядки эти криком не переломашь, да и шумел он не очень – умаян был и не до хлеба как-то сейчас, после того, как товарища они потеряли.

Зарегистрировали их и в баню направили, а там в раздевалке девчата. Как при них раздеваться? А они тут как раз им для помощи и без стеснения стаскивают с ребят гимнастерки, брюки, белье даже нижнее – и в прожарку. Ну, тут еще ничего, прикрыли срамные места руками и скорей в баню шмыгнули, а там тоже девки! И что делать? А

³⁹ Шпрингмина – противопехотная выпрыгивающая мина с готовыми осколками. Также называется S-Mine или «Шпринг-мина», в просторечии – «шпринг» или «лягушка». Широко применялась немцами на всех фронтах.

⁴⁰ Янский Ян (1873–1921) – чешский врач. Открыл (1907) у человека четвертую группу крови и предложил классификацию групп крови.

девчата смеются – привыкли, видно, – и подходят то к одному, то к другому и мыться помогают: и спину потрут, и головы намылят. Раненные-то все больше в руки, мыться одной рукой несподручно, но неудобно при женщинах. Правда, девчата веселые, смеются: «Вы для нас сейчас не мужчины, а бойцы раненые, так что не стесняйтесь».

Только один из них бесстыжим оказался, носился по бане голый, бил себя в грудь и гоготал: «Глядите-ка на меня. Все для фронта на мне написано», – а сам, видно, и был лещеватый, а теперь мослы так и торчат и ребрышки все пересчитать можно. Чудной парень, словно чокнутый или клоуна из себя строит.

Сашке его крики и посмешки не понравились, и он подошел к нему:

– Чего изгиляешься? Над чем смеешься? Кончай базар...

А Володька-лейтенант, услышав это, крикнул:

– Дай ему, Сашок, правой, а я левой добавлю!

Тот попятился.

– Ну чего вы, ребята, посмеяться, что ли, нельзя? Да вы на меня поглядите, верно же...

– Замолкни, – перебил Сашка.

После бани направили их на перевязку. Как увидел Сашка сестренку в белых халатах, так и кольнуло сердце – нет, не ушла Зина из души... А девчата ласковые, приветливые. Разбинтовывали их раны осторожно, чтоб боль не причинить.

С лейтенантом врач долго возился и, сказав, что ранение серьезное, посоветовал ему дальше не идти, а полежать тут недельку и дожидаться транспорта (дороги вот-вот пообсохнут), но Володька ни в какую! Хочет он во что бы то ни стало до Москвы добраться и с матерью повидаться.

А Сашка здесь с удовольствием бы остался отлежаться и подкормиться, что ни говори, тяжелая выдалась им дорога, но, раз лейтенант не хочет, покидать его Сашка не будет. Может, и ему самому, пока раненый и вне строя, тоже домой махнуть? До Москвы вместе с Володькой доберется, а там недалеко. Тоже мать более двух лет не видал, и если сейчас не свидеться, то вряд ли в другой раз случай такой выпадет.

После перевязки повели их в большой дом, клуб раньше был, наверно, а там разместили на двойных нарах, но у каждого матрасик, простыня, одеяло. Лейтенанта хотели было в другую палату, командирскую, но он наотрез отказался, и лежали они теперь вместе, чистенькие после бани, на чистом белье, – красота, сказал бы Жора.

Лейтенант, полежав немного, вынул из кармана пачку тридцаток, пересчитал и, ничего Сашке не говоря, смылся. Видать, в деревню, самогону доставать.

К ужину пришел повеселевший малость и, когда стали еду разносить, вытащил из кармана бутылку мутного желтоватого самогону и одну луковицу на закуску.

– Знаешь, сколько отдал?

– Сколько?

– Пять сотен!

– Деньги-то о какие по мирному времени! – удивился Сашка. – Совести на них нет, что ли?

– И то еле выпросил, за деньги-то. Если б керосинчика, говорят, или крупы какой, или что из одежки, тогда бы с радостью.

Ужин дали приличный. Ребята, кто давно здесь, говорили, что в обед и вчера и сегодня котлеты были и по стопке выдали в честь праздника – третье мая уж наступило. И сейчас каша из гречки, хлеба по полной норме, сахар к чаю. Если б не такие оголодалые были, хватило бы. Но сейчас это для них на один заглот. Как хлебушек увидели, скулы свело.

Раздобыл Сашка кружки, разлили, чокнулись... Соседи по нарам поглядывали жадно, но бутылка-то одна, на всех не поделишь.

– Жору помянем, – сказал лейтенант и всю кружку одним махом влил в себя, не поморщившись.

А Сашка выпил с трудом, еще до армии чуть этим самогоном не отравился и запаха его не терпел, но сейчас не до вкуса – забыться бы на миг, отогреть душу...

Потом за победу пили... За то, что живыми пока остались... За матерей своих выпили ждущих (это Володька предложил). Как выпили, подобрали и соседям своим ближайшим чуток налили. И потекли разговоры разные: кто про бои, кто про дом, кто про прошлую жизнь на гражданке, кто гадал, что после войны будет, и все дружно начпродов материли, потому как со жратвой везде плохо было.

Тут один лейтенанта спросил, как тот наступления их понимает, каков смысл был, все же он командир, может, ему поболее известно.

Володька задумался, потер лоб, скривил губы.

– Сам голову ломаю... Одно знаю, немцам покоя от нас не было, то в одном месте куснем, то в другом. Может, в том и смысл, что не давали ему маневра, связывали его... Так, наверное...

Сосед ответом не очень удовлетворился и пробурчал:

– Может, и так... Но людей все же много поубивало, вот что...

– На то и война, чтоб убивало, – заметил Сашка.

На том разговор этот прекратился и перешел на мелочи, которые вскоре и забылись начисто.

Утром на врачебном обходе опять доктор посоветовал лейтенанту остаться, тем более, предупредил он, до самой станции Щербово, где госпиталь, ни продпунктов, ни эвакуогоспиталей других не будет. Но разве Володьку убедишь в чем. А Сашке ох как не хотелось уходить отсюда.

С ними в путь собрались еще человек десять. Уж неизвестно, по каким таким причинам они уходить решили, небось просто от фронта подальше захотелось, где и с кормежкой будет получше, и с помещением, и с уходом.

Вышли они не рано, часов в десять, после завтрака, и к другим прибавиться не стали, вдвоем-то лучше, чем табуном идти: и с ночевкой легче, и еду попросить на двоих как-то удобней.

Больше пятнадцати верст за день им теперь не одолеть и к Щербову одним переходом не попасть, где-то ночь придется проводить, где-то на ночлег проситься.

После самогона идти плохо – горло пересохло, у каждого колодца или ручья водой наливаются, а от нее слабость еще больше. Потеть стали в ватниках, а снять – не жарко, ветерок майский продувает, просквозит запросто. Это *там* никакая их простуда не брала, но то передовая! Там и захочешь приболеть, ан нет, не выходит. Там они словно железные были. А тут в мире и расслаб, и заболеть можно ненароком, и им это совсем ни к чему, им добраться до места надо.

Шли они очень неходко, версты четыре протопают – и перекур на полчаса, а то и поболее. На одном из передыхов Сашка лейтенанту про своего немца и рассказал, давно на языке вертелось, да все как-то не выходило. Володька слушал внимательно, переживал, видно, себя на место Сашки ставил, а в конце рассказа раскашлялся, этим он всегда так свое волнение скрывал.

– Ну, Сашок... Ты человек... И как ты думаешь, комбат шел к тебе, уже решив отменить свой приказ немца шлепнуть или тебя проверить?

– Тогда думал, идет меня проверять и силой заставить приказ исполнять или хлопнуть за невыполнение, а сейчас думаю, может, еще в блиндаже одумался и шел с отменой...

– Мда... случай... Дай-ка лапу, Сашка, – лейтенант протянул руку и стиснул Сашкину в крепком рукопожатии. – Я бы не смог.

– Ну да, – улыбнулся Сашка, – еще как смог бы. Непростое дело человека убить... да безоружного. И ты бы не стал... Люди же мы, не фашисты, – досказал Сашка просто, а лейтенант еще долго глядел ему в глаза с интересом, словно впервые видел, словно старался отыскать в них что-то особенное, пока Сашка не сказал: – Ну, чего на меня глаза пялишь, как на девку. Ничего во мне нету.

Володька глаза отвел, но не раз после этого замечал на себе Сашка его взгляд, любопытствующий и уважительный.

Немного они протопали, а дню конец уже приходил... Попалась им прохожая случайная, спросили, скоро ль деревня какая. Ответила, что верстах в трех будет, но там ночлегу лучше не просить.

– Это почему же? – выкатил глаза лейтенант.

– Да побитая она вся. Фронт тут держался. В Прямухино идите, село большое, под немцем не было. Там хорошо примут.

– А до него сколько? – спросил Сашка.

– Верст семь будет...

Послушались прохожую, двинули на Прямухино. А ту деревню, ближнюю, прошли, и верно, всего три дома целых, куда уж тут на ночлег проситься... Да что говорить, насмотрелись они по дороге на многое. Обидный путь выдался. И главная обида, что продпункты эти проклятые, как нарочно, с места на место переезжают – и знать никто не знает куда. Вот и приходится картоху копать на виду у людей, а при ночевках глаза голодные прятать... И представляли они себе, какво бабонькам каждую ночь постояльцев принимать и делиться с ними последним куском... Памятник им, этим бабам из прифронтовых деревень, после войны поставить надо...

Лейтенанту Володьке, московской, городской жизнью балованному, к голоду непривычному, тяжче, конечно, ну а Сашка к невзгодам более приученный – был в детстве и недоед, а в тридцатых и голод настоящий испытал, – ему эту дорогу перемочь легче.

Подходили они к этому Прямухину, где ночевать проситься, с щемостью в сердцах – ходи опять по избам, кланяйся, проси приюта. Хорошо, что последний это ночлег, дойдут завтра до Щербова, до госпиталя настоящего, и там все законное получат – и место, и довольствие.

Начали они с краю... Домов побогаче на вид уже не выбирали, лишь бы куда приткнуться. Постучали в первый же дом. Вышла женщина рябоватая, посмотрела на них, головой покачала – небось на обтрепанные, обожженные их телогрейки, на небритые опавшие щеки – и сказала:

– К председателю идите. У нас черед установлен, кому вас, горемычных, принимать. Сегодня вроде Степанида должна...

– Порядок, значит, установили? – буркнул лейтенант.

– А как же? Вы все норовите дом поприглядней выбрать, а достаток у нас сейчас один. Это когда при мужиках были, разнились. А теперь бабы работники, вот и сравнялись все. И выходит, одни чуть ли не каждый день раненых принимают, а другим не достается.

– Где председателя искать? – спросил Володька.

– А к середке идите. Там сельсовет у нас.

– Ну, спасибо. Может, у вас и такой порядок заведен – кормить раненых?

– Конечно. На то черед и установили. С едой, конечно, у нас не очень, но что бог послал, как говорится.

Двинулись они к сельсовету, и на душе покойно, везде бы так – без мытарства, без упрашиваний.

Лейтенант губы кривить перестал и на лицо даже поживел немного.

У сельсовета народу толпилось много, женщины, конечно... Одна крикнула громко, заметив подходивших к ним Сашку и лейтенанта:

– Степанида! Принимай гостей! Пришли к тебе на постой. Где ты, Степанида?

Степанида – грузная, крупная – подошла, оглядела их и, улыбнувшись добродушно, сказала:

– Ну, пошли ко мне, герои... Как в вас душа-то держится?

– Держится покамест, – ответно улыбнулся Сашка, но тут первая женщина, которая Степаниду звала, приблизилась к ним, остановилась и странно как-то, очень внимательно осмотрела Сашку с ног до головы, а осмотрев, сказала:

– Этого ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?

– Так с лейтенантом я...

– Ничего. Лейтенант твой к Степаниде пойдет, а ты ко мне. Он теперь тебе не начальник.

– Не в том дело, – перебил Сашка. – Вместе идем почти с самого фронта.

– Иди, иди, – усмехнулся Володька. – Раз тебе персональное приглашение, отказываться не следует.

– Если ты не возражаешь... – неуверенно произнес Сашка.

– Иди, иди. Хозяюшка-то твоя ничего... Не зря зовет.

– Ладно, ты зубы не скаль, командир, – обрезала она. – Раз зову, значит, причина есть. Понял?

– Как не понять, – опять осклабился лейтенант.

Сашка оглядел ее, статную, крутобедрую, молодую, годков на несколько только его старше, наверное, и решил:

– Согласный я, пошли...

– Видали, согласный он! – засмеялась Степанида, да и остальные бабы. – Да Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне, а он сомневается еще.

Смутился Сашка немного от смеха бабьего, а Володька не удержался добавить:

– Смотри, Сашок, не теряйся.

На что Паша замахнулась на него рукой:

– Заткнись, лейтенант! На мужиков-то вы уже не похожие, а мысли кобелиные все оставить не можете. Куды вам не теряться? До постели бы ноги дотянули, а вы... Разве неверно говорю?

– В самую точку! – засмеялся Володька.

– То-то и оно. Пошли, парень. Зовут-то как?

– Александром, – ответил Сашка.

– Александром? – переспросила она почему-то. – Я думала, по-другому тебя кличут.

– Почему?

– А так.

Шли они к дому молча. Паша впереди, и Сашка поневоле видел, как колышутся под юбкой ядреные ее ягодицы, как поблескивают полные икры, не закрытые голенищами коротких сапог, но волнений особых вид этот у него не вызвал, только отметил в мыслях, что баба-то в самом соку и без мужика ей небось трудно.

Ввела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть, и сказала:

– Ты пока отдыхай, покури, а я через полчаса управлюсь, приду, и ужинать будем, – и ушла по своим делам.

Сашка присел на скамью, крутить сигарку начал. Покойно как-то на душе стало, размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся... Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели. Подошел Сашка ближе для разгляду – чинные, приодетые, глядели на него старики и старухи, родители

или деда Пашины или мужа ее. Но все это без интереса для Сашки, а вот мужчиной в полушубке белом и шлеме красноармейском он заинтересовался. Глядел тот с фотографии весело, с улыбочкой, и папироска длинная в углу рта торчала как-то задорно, и показалось Сашке лицо его очень знакомым. Но откуда? И не сразу догадался он, что парень этот на него, Сашку, очень похожий. Такие же скулы приметные, такой же нос чуть курносый, и глаза так же широко ставлены. Усмехнулся Сашка – бывает же такое!словно брат родной или сродственник близкий, чудеса прямо.

Паша вошла, Сашкой не замеченная, и, увидев, что он фотографию разглядывает, кинула скороговоркой:

– Муж мой Максим, в финскую⁴¹ взятый. – А потом подошла к печи, вытащила чугунок с водой, отлила в ковшик. – Может, щетину сбреешь? Дам я тебе и помазок, и бритву.

– Хорошо бы, – провел Сашка рукой по колючему подбородку.

– Ну вот, побреешься, умоешься, и вечерять будем. Здорово голодный-то?

– Голодный, – ответил Сашка прямо.

Бритва Максимова была не ахти правленной, да и без руки левой бриться неудобно. Но все же с грехом пополам побрился Сашка. Подала ему Паша умыться и даже одеколону тройного дала подушиться. Погляделся Сашка в зеркало – никакой солидности, мальчишечье лицо совсем. Душой-то он себя старше чувствовал и удивился даже, что не очень-то изменила его двухмесячная та мытня на передовой, только глаза сильно усталые. Паша тоже удивилась и спросила:

– С какого года ты?

– С девятнадцатого.

– Я поначалу подумала, постарше ты. А щетину сбрил – мальчишка совсем.

– А вы с какого? – задал неудобный вопрос Сашка, но Паша, не смутившись ничуть, ответила:

– С пятнадцатого я. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.

– Хорошо, Паша.

– Ты скажи, почему идете такие? Кожа да кости. Один другого краше. Не кормят вас на войне, что ли, или, пока дойдете сюда, тощаете?

Рассказал Сашка. Ну, не все, конечно. Все гражданским знать незачем, но кое-что про фронт рассказал...

– Господи ты боже мой, – запричитала Паша. – Что же это на свете делается?

– Растянулись тылы, ну и распутица, – объяснял Сашка лейтенантовыми словами, да и сам так понимал. Конечно, братву polegшую жаль до невозможности, но по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили.

Стала Паша на стол накрывать, еду выставлять. Сашка рот от удивления открыл – чего только не было. Во-первых, огурцы соленые, с детства им любимые, потом грибки с порезанным луком, потом кусок сала свиного с розовыми прожилками, лепешки ржаные с мятой картошкой посредине вместо творага и, наконец, самогона бутылка!

– У вас немца не было? – только и спросил Сашка.

– Миловал бог. Чуток не дошел.

– Я смотрю, еда у тебя больно богатая.

– Какое богатство! Я и щами тебя угощу, и на второе картошкой, жаренной с яйцами, – улыбнулась Паша, видно довольная, что есть ей чем угостить.

Налила она Сашке полный стакан граненый, а себе половину. Протянула чокнуться.

– За что выпьем-то? – спросила.

⁴¹ Имеется в виду советско-финская война 1939–1940 гг.

– За победу, конечно, – не замедлил Сашка с ответом.

– Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство. Небось догадался ты, почему позвала я тебя?

– Вроде.

– Похож ты на Максима. Как увидела, так и ахнула. Одно лицо. И надо же такое. Как фамилия твоя, может, каким образом сродственник ты с Максимом?

Сашка сказал.

– Нет, – другая совсем, – чуть разочарованно сказала Паша. – Пропал мой Максим. Так с финской и не отпустили. На западную границу послали. Там в первых боях и сгинул, наверно.

– Может, в плену?

– Все может. Но на Максима не похоже. Не из таких он...

– Из каких ни будь, а всякое бывает. – И рассказал Сашка, как обманули их немцы, как его напарника, с которым на посту стоял, полонили, как и сам мог попасть, задержись он с валенками. – Ты надежду не теряй, – закончил он.

– Нет, Саша, чует сердце, пропал Максим... Ты закусывай как следует, не стесняйся, – переменяла разговор Паша, а Сашка и так навалился на еду, того и другого прихватывал, не в силах удержаться, и потому, что ел много, самогон на него не очень-то подействовал.

Смог он под второе, под картошку, на сале жаренной с яйцами облитой, еще стакан опрокинуть и тут только захмелел. И стало ему так хорошо, будто в доме он родном, и Паша, сидящая напротив и ласково на него глядящая тоже показалась родной и знакомой, будто знает он ее много, много лет.

Тяжело человеку долго быть обездомленным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку, разоткровенничался вовсю и про все, про все стал Паше рассказывать. И про Зину не скрыл. Как бегали при бомбежках в эшелоне вместе, как простились они в Селижарове перед ночным маршем, как обещала она его ждать, как поцеловались напоследок горьким поцелуем, как думал о ней там и как встретились в санроте. Все рассказал, даже о том, что бессильным оказался, не умолчал.

Паша слушала внимательно, с сочувствием, прерывала иногда Сашкино повествование разными бабьими охами и ахами, переживала за Сашку, видать, по-настоящему

– Эх ты, бедненький, – потрепала она его по отросшему ежику волос. – Хорошо, что Зину эту не хулишь. Справедливый, значит. Вошел в ее женское положение, понял...

А Сашке захотелось вдруг уткнуться головой в Пашины колени, как маленькому, и отреветь все свои обиды, но сдержался, только взял Пашину горячую шершавую, рабочую руку и стал приглаживать пальцами. Она прильнула к нему плечом минутно и сразу отпрянула, сказав отрывисто:

– На печи спать будешь.

– Куда положишь, там и буду.

После этой ласки мимолетной стала Паша какой-то беспокойной. С печки убрала все лишнее шумно, резко, словно спешила куда.

У Сашки же глаза слипались, еле на стуле держался... В бутылки самогону еще осталось, и Паша спросила:

– Сейчас допьешь или завтра перед дорогой выпьешь?

– Можно, Паша, я лейтенанту оставлю? Боли у него сильные, особенно с утра...

– Оставь, если добрый такой, мне не жалко, – улыбнулась Паша. – Хороший он, лейтенант-то твой?

– Свойский парень. Сдружились за дорогу. Горячий только.

Постелила Паша на печке простыни и все такое.

– Залезай, – командовала она, и Сашка уже в полусне забрался на печь, растянулся блаженно, но тут закачалась изба, закружилась, и стало Сашку то приподнимать на высоту какую-то, то вниз с этой высоты бросать, и замутило страсть как, и забоялся он, как бы всю еду не вырвать – этого еще не хватало! Крутился он и так и этак, чтобы тошноту перебороть, и все же переборол, свернулся калачиком и заснул.

А во сне случилось необыкновенное: ощутил вдруг он на своих губах чьи-то влажные, жаркие губы, и не понять, Зинины ли, Пашины ли? Смешалось все, перепуталось. Только запомнил он, что мешала ему все время рука его раненая...

Утром, как проснулся, вначале и решить не мог, сон ли то был или наяву? И по Пашиному виду не определишь, такая же она, как вчера, простая и приветливая, накрывает на стол завтрак и внимания вроде на Сашку не обращает.

В бутылке самогону оставалось столько же, но перед Сашкой опять стакан полный. Хоть и пить после вчерашнего не хотелось, но как от такой редкости отказаться, когда еще выпить придется, и Сашка стакан ополовинил. А на закуску опять яичница с картофелем да грибки и огурчики!

– Вот, Паша, – сказал Сашка. – Встретились мы случайно и дня вместе не пробыли, а ведь помнить тебя весь век буду...

– Брось заливать-то! Знаю я вас...

– Нет, правда, Паша. Я врать не люблю... – У Сашки приятно кружило в голове – на старые дрожжи и полстакана ударило.

Паша посмотрела на него в упор, задумалась, а потом, отвернувшись, вроде совсем безразлично спросила:

– Может, остаться хочешь? Передохнешь недельку. Фельдшер у нас есть, рану перевяжет.

– Нахлебником, что ли? Нет, Паша... И лейтенанта бросить не могу, вместе должны идти.

– Ну что ж, воля твоя. Насчет нахлебника – ерунда. Неделю тебя покормить мне без труда, одна же я...

– Детей разве нет у тебя?

– Были бы, увидел.

– Я подумал, может, у деда с бабкой. Ты ж на работе, поди, цельный день.

– Нет, не выдались у нас с Максимом дети. Уж кто виноват, не знаю. Раньше переживала, а теперь думаю, к лучшему.

В окошко постучали.

– Наверное, дружок твой, лейтенант этот. – Паша приоткрыла дверь и крикнула: – Заходи!

Володька вошел скромненько, но все же спросил усмешливо:

– Жив мой Сашка?

– Жив! Не съели! Присаживайся. Выпить тебе оставили, – сказала Паша.

– Неужто? Этим Степанида меня не потчевала.

– Не за что было, значит. Сашку благодари. Я бы тебе, зубоскалу, ни столечки не дала.

– Выпей, Володь, – наливая полный стакан и пододвинув его лейтенанту, по-хозяйски предложил Сашка.

– И закусывай, – добавила Паша.

– Спасибо. За ваше здоровье! – Володька опрокинул стакан разом, крякнул, зажевал соленым огурчиком. – Ну как спалось, Сашок? – и подмигнул.

– Хорошо спалось, не волнуйся, – вступила Паша сразу, – и перестань лыбиться.

Лейтенант улыбку спрятал, посерьезнел, и что-то растерянное появилось в глазах.

– Ты, может, остаться решил тут? – спросил он Сашку тихо.

– Нет, Володь. Вместе путь начали, вместе и докончим.

– Если ради меня... – начал было лейтенант, но Сашка перебил:

– Давай собираться, – и поднялся.

– Уже? – потерянными голосом спросила Паша. – Погодите немного. Соберу чего-нибудь вам в дорогу. Погодите... – стала суетливо в какой-то мешочек холщовый совать вареную картошку, хлеба, сала куски...

Уходил Сашка с тоской... Паша стояла у крыльца и долго провожала их глазами, а они, пока видно было, оборачивались часто и помахивали руками.

– Слово из дому ухажу, – сказал Сашка лейтенанту, когда скрылось совсем приветное это сельцо с хорошим таким прозванием – Прямухино, скрылось навсегда, потому как вряд ли военные Сашкины дороги смогут привести его сюда когда-нибудь. Навсегда ушла из жизни и Паша, оставив только сладкую зарубину в сердце и живое, не проходящее пока ощущение теплоты и уюта.

– Приголубила, значит?

– Не в том дело... Хорошая женщина очень, сердечная. Звала остаться на недельку...

– Я догадался. Чего ж ты?

– Ни к чему это... – в раздумье ответил Сашка, а у самого не сходил с губ обжигающий жар Пашиного рта, и словно слышался ее ночной задыхающийся шепот, выговаривающий какие-то сладкие слова.

Дорога, по которой они сейчас шли, полуднела. Войско, правда, не попадалось, войско-то ночами идет, но отдельные группы военных встречались, и машин много туда-сюда сновало. Даже одного мужчину молодого в гражданском встретили, шел в плащике, и на ремешке фотоаппарат болтался, прямо чудно на него глядеть. По их разумению, вся Россия сейчас в шинели да сапоги облачена, но нет, ходят еще мужчины невоенные.

– Ну вот, вроде близится конец нашей одиссеи, – скачал лейтенант. – А если, Сашок, в госпиталь не заходить, а прямо на станцию, на поезд, и махнуть в Москву?

– Нет, Володь, передохнуть нам малость необходимо. Без этого в такой путь трогаться нельзя. Это сейчас тебе, после стопочки да еды хорошей, кажется, что силы есть, а на самом деле...

– Пожалуй, прав ты.

Вообще теперь лейтенант, после рассказа Сашкиного про немца, почти во всем с ним соглашался и перечил редко. Не стал он расспрашивать его и про ночку в Прямухине. Да и не сказал бы Сашка, он про такие дела распространяться не любил и до сих пор не понимал, почему он перед Пашей так открылся и про Зину рассказал.

Хоть и сытые они были, но шли все равно тяжело. Последние километры всегда самые мытарные. Ведь сто верст оттопали, да на таком харче, да раненые, да после передка, на котором ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталость непроходимая звать о себе давали: дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле передвигаешь, и одна мечта – завалиться в постель, да не на день, не на два, а на неделю целую и не вставать вовсе.

Раненых на дороге что-то мало было, растеклись по разным путям: кто в Кувшиново подался, кто в Селижарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу калечного шло много, а у приемного пункта собралось человек тридцать. Шумела братва, торопилась оформиться скорей – время-то к ужину, как бы не опоздать!

Госпиталь оказался большой, корпусов несколько. Непонятно только, что здесь до войны было – больница или дом отдыха?

Всех вновь прибывших в большую залу направили, где были двухэтажные нары сооружены. Места почти все заняты, но Сашка с лейтенантом местечко наверху нашли,

притиснулись кое-как и залегли, закутив в ожидании ужина. А здесь-то, в тылу совсем, около железной дороги самой, должны покормить их хорошо. Здесь на распутицу не свалишь!

Лейтенант Володька что-то сдал совсем, почернел даже. Губы кривит, кусает, видать, рана болит очень.

Ужин принесли, и... разочарованный матерок прошелестел по нарам. Две ложки каши – и опять эта пшенка! Если б не ждали здесь еды настоящей, может, и промолчали бы, а так зашумели, галдеж подняли и стали начальство требовать. Сестры на это без внимания – привыкли небось, – но за начальством пошли.

Через некоторое время вошел в палату неведомо кто по должности, но в петлицах две шпалы, майор, значит, поднял руку, крикнул:

– Ша, товарищи, ша! В чем дело?

Но его вид братву не успокоил, а, можно сказать, наоборот, потому как был этот майор с заметным брюшком, лицо было круглое, румяное, чисто выбритое, сытое. Заорали кто во что горазд – и что кровь проливали и жизни ложили, а кое-кто в тылу на казенных харчах морды отъедает... Это уже прямо по майору били, но того это не смутило. Видно, каждая новая партия раненых так шумит, видно, он к этому привычный. И он спокойно, не повышая голоса, будто давно надоевшее, сказал поморщась:

– Ну, тише! Не все сразу. По одному говорите. Кто хочет сказать?

И тут братва замолкла, поджали хвост. Когда миром шумели, все болтать можно, все не страшно, а как поодиночке, пороху не хватило, затихли калечные.

Майор это, конечно, знал, не первый раз такое, и, отвернувшись к сестрам, стал говорить им что-то.

Но здесь Володька-лейтенант выступил (ему же больше всех надо): почему хлеба на завтрак и обед не выдали? Куда их порции хлебные пойдут? Почему такие порции – курам на смех?.. Но майор перебил его сразу:

– Почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда и отправляйтесь.

– Это к делу не относится! – не сбился Володька. – Я на передке из одного котелка с бойцами хлебал, в одной цепи в атаки ходил. Какая разница, где нахожусь? За всех говорю! Почему бардак такой?

Ребята Володьку сразу поддержали, опять шум поднялся, кто-то засвистел даже, кто-то ложкой по нарам застучал – тот концерт...

– Успокойтесь, товарищи! Вы же сознательные бойцы и должны понимать... – и пошел майор про временные трудности говорить, складно говорил, как заученное и много раз повторяемое, а потом ввернул что-то, чего Сашка не разобрал точно, но вроде того, что вы, дескать, сейчас, после передовой и дороги, такие голодные, что и маму родную скушать сможете...

Здесь полетела в него тарелка с верхних нар, близко так пролетела, прямо мимо уха свистнула и о противоположную стенку разбилась вдребезги со звоном. Майор побледнел, глаза выкатил:

– Кто кинул? Отвечать!

У Сашки сердце упало. Почуял он, что кинул тарелку не кто иной, как Володька. Кто другой на такое способен? И верно, услышал за спиной шепот чей-то:

– Вроде лейтенант взмазал...

И в ответ:

– Он самый...

А майор напирал: кто да кто? Появился капитан какой-то, тоже нажал: говорите, кто это сделал?

Тишина стояла такая, что слышно было, как тяжело дышал майор, как тикали на его руке часики. Молчали все. Но это сейчас молчат, подумал Сашка, пока все вместе, табуном, а как будут вызывать по одному, кто-нибудь да расколется, и будет тогда лейтенанту вместо Москвы и отпуска трибунал!

Майор, улыбнувшись презрительно, бросил капитану:

– Трус какой-то схулиганил. Нету мужества сознаться.

Почувствовал Сашка, как Володька рукой его отодвигает, высунуться хочет, но Сашка не сдвинулся в сторону, а, наоборот, прижал его спиной, закрыл и, опережая лейтенанта, выкрикнул:

– Ну, я бросил!

– Вы? – только и сказал майор, подходя к Сашке вплотную и глядя на него снизу вверх не столько зло, сколько удивленно.

– Ну я... А что?

– Вы понимаете, что совершили? – подлетел капитан.

– А чего? Ну, не подумавши сделал... Так майор тоже, не подумавши, сказал. Значит, квиты, – спокойно так проговорил Сашка и отодвинулся в глубь нар, задвигая собой Володьку, который рычал что-то возмущенно и даже пнул Сашку кулаком в бок.

– Хулиган! – вдруг взвизгнул майор. – Разболтались на передовой! – На что Сашка резанул твердо:

– Передовую не трожьте! Мы на ней Родину защищали! Кровь пролили...

И братва, услышав такие слова, опять заголосила, подняла гомон, поддерживая Сашку.

Майор отошел к капитану, пошептался с ним о чем-то, потом, повернувшись к ним, сказал спокойно и негромко:

– Отдыхайте, товарищи. Спокойной ночи. А вы, сестра, – обратился он к сестрице, – отведите лейтенанта в другую палату.

Володька слез с нар, погрозил Сашке рукой и ушел с сестрой. Ушли и капитан майором.

Народ опять загалдел, обсуждая происшедшее, кое-кто к Сашке бросился: зачем признался, дурак, судить, мол, могут, да и не ты кинул, а вообще правильно, отъели тут хари... Сашка отмалчивался, а потом сказал:

– Плевать я хотел! Дальше передка не загонят! А меня там и так ждут не дождутся.

Немного погодя вернулся лейтенант и вызвал Сашку на улицу покурить, а там навалился:

– Ты чего вылез? Тебя кто просил? Я сам за себя отвечу! Идем к майору! – и матюгом опять.

– Не суети, Володь. Думаешь, я без ума это сделал? – Сашка положил руку ему на плечо. – Подумал я... Ну, какой с меня, рядового ваньки, спрос? На меня и время тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая⁴² и передок. А ты лейтенант. С тобой разговор другой – и разжаловать могут, и под трибунал отдать. Понял? Обдумал я все, ты только не колыхайся.

– Хорошо ты меня понимаешь! Сволочь, значит, я? Ты за меня под суд, а я в кусты! Не пойдет так! – И, вырвав плечо из-под Сашкиной руки, повернулся круто и зашагал куда-то, видно, майора искать.

Догнал его Сашка:

– Погоди! Слышь, погоди! Дай досказать-то.

Лейтенант остановился:

– Ну чего?

⁴² Маршевая и передок – маршевые подразделения формировались по окончании обучения личного состава в учебных и [запасных частях](#) и соединениях, [учебных центрах](#), [курсах](#) и на [полигонах](#). Передок – передовая.

– Не лезь на рожон. Не суети. Давай так договоримся – уж если на меня начнут дело шить, тогда поступай как знаешь, а пока подождем. Может, обойдется все. Договорились?

– Ну, ладно, если так... – закашлялся опять Володька, скрывая этим свое волнение. – Спасибо, Сашок, – протянул он ему руку и сжал Сашкину до боли.

Когда температуру на ночь мерили, у Сашки вдруг тридцать девять! То ли от раны, то ли от переживаний сегодняшних. Перевели его сразу с нар на койку, в другую комнату, где тяжелые лежали, дали лекарства какого-то...

Три дня провалялся он в жару и почти не вставал, но зато в другом пофартило ему крепко. Утром пришел к нему боец оттуда, с нар, и сказал: иди свою пайку получать. Сашка, конечно, заковылял, завтрак получил и съел положенное, а в палату вернулся – ему и тут еда! Не сняли, значит, его с довольствия там, а в этой поставили. И все три дня Сашка двойной порцией пользовался без особого зазрения совести (сколько дней у них с Володькой аттестат не отоваривался) и хлеба даже скопил граммов шестьсот, ну и махорки немного. Подвезло здорово, что ни говори!

Никто его за это время не беспокоил, никуда не вызывали, и он почти и позабыл о происшедшем. С Володькой на дню по несколько раз виделись – то он приходил в Сашкину палату, то на улице встречались. Дни начались погожие, и посиживали они на солнышке, покуривая и строя планы. Решил Сашка твердо тоже домой податься. До Москвы вместе с лейтенантом доберутся, а там уж Сашка один.

Как начнут их эвакуировать в другой какой госпиталь, должны они санкарты свои на руки получить (а этот документ теперь их единственный, без него никуда), и тогда они смогут в любом месте с поезда сойти – и в Калинин⁴³, и в Клину, а оттуда до Москвы рукой подать. Правда, врач лейтенанту сказал, что ему необходимо в нейрохирургический госпиталь, где нервы сшивают, а то быть ему без руки, отсохнуть может. Но в Москве-то такой госпиталь обязательно должен быть.

Хоть температура у Сашки давно спала, но из этой палаты, с койки его не переводили, там и оставили. Тоже хорошо, не на нарах, а на постели настоящей полеживает. Еды начало вроде хватать, все же регулярная она, три раза в день, навар хоть и не очень, но хлеба зато по полной норме. В общем, все хорошо бы было, кабы не пришла к нему старшая сестра и не пригласила за собой следовать. Сердце у Сашки екнуло. Надеялся он, что история та с тарелкой забылась, но нет, оказывается. Спрашивать сестру, куда она его ведет, он не стал – и без того ясно.

Шли они долго. Оказывается, тут, вокруг всей станции, госпитали, и вела она его, кажись, в какой-то самый главный корпус. Там поднялись они на второй этаж и подошли к двери без всякой таблички.

Сестра постучалась и ввела Сашку в комнату, где сидел за столом лейтенант, на вид моложавый, не старше Сашки, наверно, чернявый, но глаза светлые и чуть навькат. Пригласил он Сашку сесть, а сестре наказал в коридоре обождать. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот в бумаги уткнулся и на Сашку ноль внимания. Проманежил он его так минут пять, если не десять, а потом упер взгляд и гаркнул:

– Фамилия?

Сашка вздрогнул невольно, но ответил спокойно – и фамилию, и имя-отчество, и звание. Лейтенант взгляда не спускал, и Сашка решил, нечего с ним в переглядки играть, и опустил глаза. Лейтенант вроде доволен этим остался и остальное спрашивал уже без крика. Записав все, что положено, лейтенант опять уставился на Сашку немигающе и долго молчал, постукивая карандашом по столу. Не сказать, что под этим

⁴³ Калинин – название города Тверь в 1931–1990 гг.

взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой, да и не то видал он. Но все же подумалось Сашке, что поробее показаться будет ему на пользу, и он глазами заморгал, носом захлюпал.

– Вы понимаете, что совершили? – наконец строго спросил лейтенант, не отставляя глаз.

– Виноват, товарищ лейтенант... Черт попутал. Не знаю сам, как получилось. Обидно стало, вот вгорячах, и махнул этой тарелкой... Но в майора я не хотел. Так, об пол бросил. Звону захотелось...

– Звону захотелось? – вытаращил глаза лейтенант. – Знаете, чем этот звон для вас обернется?

Сашка опять глазами захлопал, на лице *жаль* соорил.

– Да и врите вы все! – продолжал лейтенант.

– Чест... чистую правду говорю, – поправился Сашка, потому «честное слово» с детства для него свято, не продавал никогда и даже сейчас не мог.

– Не вы это сделали, – огорошил лейтенант Сашку и уперся опять взглядом.

У Сашки упало сердце – неужто продал кто Володьку? Но с виду не смутился, непонимающее лицо сделал и нарочито удивленно протянул:

– Разве не я? Тогда чего меня допрашиваете?

– Вы мне дурочку не валяйте! – прикрикнул лейтенант. – Советую правду говорить.

Сашка лихорадочно соображал: конечно, лейтенант до него кое-кого из ребят спрашивал, может, кто про Володьку и вякнул, но без уверенности. Чтобы все это выяснить, надо долгое дело тянуть, а Сашка тут, на месте, вину свою признает, ни от чего не отпирается. Надо свою линию гнуть, и все! Изобразив на лице покаяние, Сашка пробормотал:

– Чего мне темнить, товарищ лейтенант... Виноват, и все. Если можно простить, простите. А нельзя... ну что ж, тогда отвечать буду. Сгоряча только это сделано... в лихорадке. У меня ж тридцать девять и пять было...

– Знаю, – сказал лейтенант. – Но отвечать придется, он поднялся. – Можете идти.

– Совсем? – вскочил Сашка радостно.

– На днях вызову. Подумайте за это время, стоит ли на себя чужую вину брать.

– Есть подумать! Только вина-то моя, никуда не денешься.

– Идите.

Старшая сестра, когда Сашка вышел, посмотрела с любопытством и вроде хотела спросить его что, но поостереглась, ведь от начальника Особого отдела выходил Сашка, особенно не поспрашиваешь.

Володьке, конечно, Сашка про это ни звука.

День прошел, другой, а Сашку не вызывают... Что ни говори, на сердце все же скребло. Пусть трибунал сейчас, в войну, и не страшный, потому как все сроки передовой заменяют, а там-то – до первой крови, как ранило, так и искупил свою вину, а от передка Сашке все равно никуда не деться, как рана заживет, так и айда *туда!* Но посасывало на душе противно – сроду Сашка ни под каким судом-следствием не был, а вот довелось, кажись...

Но о сделанном он не сожалел. Он себя благоразумней Володьки считал и похитрее, может. Тот бы с этим лейтенантом из Особого схватился бы сразу, начал правоту свою доказывать, а еще, не дай бог, если б лейтенант ему чего грубое врезал, и за пистолет схватился. Он такой, Володька этот, сперва натворит чего, а потом подумает.

Вообще пистолет этот покоя Сашке не давал. Сколько раз говорил он лейтенанту: брось ты его, к лешему, зачем он тебе сейчас? А Володька только лыбился в ответ – я, говорит, с детства оружие всякое обожаю, сколько пугачей у меня было, не перечить, а

перед армией раздобыл «смитт-вессон»⁴⁴ настоящий, а за этим «вальтером» я, говорит, полночи по полю боя полз к фрицевскому офицеру убитому, ни в жизнь не брошу! Чудак, право. А при его характере разве можно ему оружие в кармане иметь?

Через пару дней вызвали Сашку опять... Шел он с сестрицей к тому корпусу, и на душе было смутно, кое-какой страшок примораживал сердце, только одно легчило: может, выяснится все окончательно, неизвестность-то хуже всего.

Лейтенант принял его спокойно, спросил даже, как он себя чувствует, нет ли температуры. Сашка ответил, что температура нормальная и чувствует себя ничего, отоспался чуток, передохнул, хотя со жратвой пока недостача, не хватает пока еды.

– С лейтенантом, с которым пришли, из одной части вы?

– Нет. В пути познакомились, – ответил с беспокойством Сашка.

– Так... – протянул лейтенант, поглядывая на Сашку как-то раздумчиво и с некоторым любопытством, без напора и зла. – Значит, только по дороге познакомились?

– Да.

– Дальше идти можешь? – перешел вдруг лейтенант на «ты».

– Куда это? – удивился Сашка.

– Ну... в другой какой эвакогоспиталь⁴⁵. – Тут еще больше удивился Сашка – к чему это лейтенант клонит и как на это отвечать?

– А зачем, товарищ лейтенант? – закинул осторожно Сашка.

– А затем, – постукивая карандашом и глядя на Сашку, сказал лейтенант, – чтоб духу твоего здесь не было! Понял?

– Понял! – радостно воскликнул Сашка. – Я, товарищ лейтенант, домой задумал, мать повидать, пока вне строя. С тридцать девятого служу. Значит, можно?

– Держи свою санкарту и мотай куда хочешь – домой ли, в другой госпиталь, но чтоб я тебя здесь больше не видел. Ясно?

– Ясно, товарищ лейтенант! Значит, не будут меня судить?

– Я сказал – мотай, да поскорей. И без болтовни. По-тихому.

– Понятно! Сегодня после обеда и махну.

– И смотри, – погрозил лейтенант рукой, – чтоб таких эксцессов больше не повторялось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там, думаете, все теперь можно... Иди.

Сашка подскочил резво, повернулся по-строевому, но когда из дверей выходил, улыбку спрятал и к сестре подошел с видом безразличным. Зато к лейтенанту Володьке мчал на рысях.

Хоть и понял Сашка по последним словам лейтенанта, что догадался тот про Володьку, но, видно, Сашкино дело ему было легче закрыть, потому и не стал особо разбираться, только дал Сашке понять напоследок, что правду-то он знает, что обвести его Сашке не удалось. Да не важно это, главное, закончилось все благополучно.

– Понимаешь, – говорил он Володьке, отведя того в сторону, – я с лейтенантом этим осторожненько беседовал, покаялся, как положено, все тихо, мирно, вот он и отпустил. А ты бы на базах начал, знаю я тебя, и все дело испортил.

Володька хлопнул его по спине сильно, даже покачнулся Сашка, закашлялся опять, хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, отвернулся, потер глаза и только потом, немного успокоившись, сказал дрогнувшим голосом:

– Я, Сашка, ничего не боюсь – ни трибунала, ни передка, но, когда бросил эту тарелку, опомнился – мать же меня ждет, а я по своей глупости встречи ее лишаю. Ведь ребята

⁴⁴ «Смитт-вессон» – шестизарядный револьвер производства Smith & Wesson.

⁴⁵ Эвакогоспиталь – (эвакуационный госпиталь) тыловые лечебные учреждения, действовавшие в годы войны. Специализировались на оказании медицинской помощи в первую очередь прибывающим с фронта раненым.

мои наверняка отписали ей, что ранило меня, мы ж *там* адресами менялись. И будет она меня ждать... Да что говорить, должник я твой на всю жизнь...

– Чего там, – махнул рукой Сашка, – обошлось, и ладно.

– Я к врачу побегу за санкарточкой. Вместе отсюда и смотаемся, – и убежал.

А Сашка, завернув сигарку, закурил неспешно, и легко у него на душе, спокойно. Что ни крути, а история эта нервишек стоила, если по-честному, то совсем не «наплевать» было Сашке.

Вскоре вернулся Володька, расстроенный и обескураженный – не дал ему врач санкарту, не отпускает, – и опять матюжком зашелся. Тут Сашка не выдержал, давно на языке вертелось:

– Что ты, Володь, все матом и матом? Я из деревни и то такого не слыхивал. Нехорошо так, к каждому слову.

Лейтенант рассмеялся:

– Прав, Сашок, нехорошо. Но я ж с Марьиной Рощи...

– Что это за роща такая? – удивился Сашка.

– Район такой в Москве... Понимаешь, со шпаной приходилось водиться. А с ней – кто позакобыристей завернет, тот и свой в доску... А вообще-то я сын интеллигентных родителей...

– Я и вижу, не идет к тебе мат.

– Знаешь что, черт с ней, с этой санкартой, мотанем без нее!

– Нет уж, Володь, больше глупостей я тебе делать не дам. Хватит, – солидно так произнес Сашка.

Лейтенант опять рассмеялся и хлопнул Сашку по плечу:

– Во каким командиром стал, Сашок...

– Не командиром, а постарше я тебя на два годика. Ты жеребчик еще не объезженный, горячий больно, а я в жизни поболее тебя видал, потому и...

– Ладно, – перебил Володька, – согласен. Прав ты, как всегда.

– Придется нам расставаться, Володь, ничего не поделаешь.

Тогда нацарапал на бумажке лейтенант свой адрес московский и наказал Сашке обязательно к его матери зайти и все, все рассказать подробно. В крайнем случае, опустить его письмо в Москве, если какие-то обстоятельства зайти помешают. Потом полез в карман, вытащил пачку тридцаток и сунул Сашке в руку, да так решительно, что тот отказываться не стал, все равно без толку. Таких деньжищ Сашка не только никогда не имел, но и в руках не держал, только что они теперь? Хотя буханки две хлеба купить, наверно, можно?

В палате Сашка свои запасы переглядел – не густо. Хлеба четыре пайки, несколько кусков сахара сэкономленных, ну и махорка... На первое время хватит. Продаттестата лейтенант из Особого Сашке не выдал, и из этого выходило, что отпустил он Сашку не совсем официально, а, видать, на свой страх и риск. За это, конечно, Сашка ему благодарен по гроб жизни, но на продпункты ему рассчитывать нечего. И решил он пойти на поле и картошки накопать да лепехи на всякий случай напечь, какой-то НЗ себе на дорогу сотворить.

Поле было недалеко, и раненых там копошилось порядком. Не хватало ребятам жратвы, особенно в первые деньки, вот и добывали себе доппаек. Кто неделю-полторы пробыл, те не копали. Все же еда три раза, жить можно, с передком не сравнить.

Накопал себе Сашка клубней, примостился к одному костерику, где братва себе лепехи жарила, и, когда кончили они, стал сам кухарничать. Сольцы-то на кухне спроворил.

Уходить он после обеда надумал – надо же последнее казенное питание использовать. Поскольку вещевого мешка у него не было, сгодилась Пашина котомка, в которую и уложил свои запасы, а укладывая, Пашу вспомнил, и вдруг подумалось: а что, если

ночь та с последствиями окажется, вдруг забеременеет Паша? А он и знать не будет, что станет у него сын или дочь в какой-то деревне Прямухино... Даже фамилии Пашиной не знает, и письма не напишешь... И решил он твердо: жив останется, обязательно в это Прямухино приедет, навестит Пашу. И, если взаправду ребенок у него окажется, тогда... тогда думать надо, что делать. Может, и женится на ней, если Максим ее не вернется.

Но это, если жив останется... Конечно, надежду на это Сашка никогда не терял – так уж устроен человек, – даже в самые лихие минуты. Но, если по-трезвому разобраться, война долгая предстоит и надежи на жизнь маловато... Ладно, чего об этом думать.

После обеда (а в обед ему повезло, один тяжелораненный от супа отказался и Сашке отдал) собрал Сашка нехитрые свои пожитки и тронулся в путь-дорогу. Лейтенант Володька, конечно, пошел проводить его до станции.

Шли молча... Какие слова, когда навек расставаться приходится. Вот так на войне... Потому и дороги встречи с хорошими людьми, потому и горьки так расставания – навсегда же! Если и живыми останутся, то все равно вряд ли сведет их опять судьба, а жаль...

Лейтенант губы кривил, покашливал всю дорогу, глаза протирал... Нервишки у него совсем разошлись от болей постоянных, да и с Сашкой, видать, расставаться не хочется... Вот и станция близко. Остановились они. Целоваться, конечно, не стали – мужчины же, – но приобняли друг друга здоровыми руками, похлопали по спинам и... разошлись.

Опять обездомел Сашка... Вышел к станции, поездов уйма. Надо разобраться, который куда, а то ненароком обратно к фронту поедешь. Тут эшелон подошел. Красноармейцы в вагонах чистенькие, обмундирование новенькое, оружие блестит, лица румяные, сытые, и к Сашке: как там немец, браток? Табачку предлагают. От табака Сашка не отказался, а на вопросы отвечал уклончиво, дескать, приедете на фронт, сами немца пощупаете, но вообще-то немец уже не тот, приослаб малость, но кусается еще, гад, крепко.

Тут какой-то состав буферами лязгнул, и Сашка, не теряя времени, вскочил на тормозную площадку и ребятам в эшелоне помахал рукой – счастливо воевать, братва! – и разъехались.

И пожалел их Сашка от души – что-то ребят ждет, какие бои предстоят, какие деревни ржевские будут брать?

Колеса застучали чаще, поезд ходу дал, и мелькнули слева здания, где госпиталь расположен, где Володька-лейтенант остался, а дальше пошли места уже незнакомые – леса, поля, перелески... По этой дороге Сашка и на фронт ехал, но проезжал ночью, потому и не видел Торжок разбомбленный, который к концу дня проплыл мимо, краснея развороченными кирпичами, будто ранами. Поезд постоял тут немного, и Сашка прошелся вдоль вагонов в надежде место поудобней найти, в какой вагон забраться, но вагоны закрыты все были, и пришлось опять на площадку.

Ночь застала Сашку в пути. Не повезло. Площадка эта тормозная почему-то без скамейки была, днем-то Сашка на ступеньках посиживал, а ночью того не сделаешь, чего доброго, задремлешь и загремишь вниз под насыпь. Приспособился он прямо на полу, но тряска в руке такой болью отдавала, что заснуть не вышло, так, дремалось чуть. И тьма кромешная вокруг (маскировка же везде) тоску нагоняла в душу, и одиноко стало Сашке, о Володьке сразу вспомнилось – как хорошо вдвоем-то было, прижались бы друг к другу, согрелись, ну и разговором тоску разогнали, путь скоротали.

К Калинину подъехал состав на рассвете, но от вокзала остановился далеко, и пошел Сашка по путям к станции. Здесь и пассажирские поезда стояли, возможно, ходят они

до Москвы, тогда бы по-людски поехал, в настоящем вагоне – не в телятнике, не на площадке.

На вокзале народу много – и военных, и гражданских, – хоть время и раннее. Тут, наверно, и кипятком разжиться можно, а хорошо бы, иззябся Сашка за ночь основательно. С кипятком и хлеба можно пожевать – лепехи-то картофельные, НЗ свой особый, Сашка по дороге улопал, не сдержался.

Люди на станции, хоть и занятые своими делами, на Сашку все же кидали любопытные взгляды. Тут таких – прямо *оттуда*, войной перемолотых – вроде не было. Красноармейцы все справные, в обмундировании хорошем, а то и новом. Сашке даже малость неудобно стало, что грязный он такой да оборванный. Хорошо еще, что после бани и прожарки одежды насекомых на нем поменело, но все же, заразы, дают о себе знать – покусывают. Поэтому выбрал он себе местечко в стороне, побезлюдней где. Там кипятку и попил. Пришлось два кусочка сахара употребить и одну пайку хлеба съесть – большего он себе не позволил.

Узнал Сашка, что пассажирский поезд на Москву, точнее, до Клина только, пойдет в середине дня. Времени еще много, можно поспать маленько, передохнуть. В Клину, сказали, надо на другой поезд пересаживаться, хорошо бы так угадать – приехать в Клин и сразу на московский пересесть, но это как случится, расписания твердого нет, и никто того не знает.

Хоть и погрелся он горячей водицей, но озноб не проходил. Может, опять жар поднялся. Тяжесть в теле его не оставляла, и рука, конечно, побаливала. Завернул он самокрутку (с табачком у него пока порядок), прикурил у кого-то – «катушку-то» свою первобытную вынимать здесь стыдно, – затынулся во всю мочь, глаза прикрыл... Сколько же ему отдыхать нужно, чтобы эту ослабу перестать чувствовать. Неделю, две, а может, и месяц целый?

Так и задремал он с сигаркой непотухшей, и вдруг перед ним словно наяву лицо Зинино и голос ее ласковый: «Родненький». Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье, да не одно, а два целых. Очнулся Сашка совсем и увидел, наклонились над ним две девчушки в военной форме, и одна осторожненько так до его плеча дотронулась и сказала:

– Извините, что разбудили вас, но у нас поезд вот-вот уходит... Вам хлеба не нужно?

– Что? Хлеба? – встрепнулся Сашка. – Сколько стоит? – и полез в карман, зашелестел Володькиными тридцатками.

– Что вы? – улыбнулась другая. – Не продаем мы, что вы! Мобилизованные мы, из Москвы в часть едем. Ну, нам наши мамы на дорогу дали продуктов разных, а мы тут в продпункте еще получили. Куда нам столько? Ну, мы и решили... Вы с фронта же? – робко спросила под конец.

– С фронта.

– Мы видим, раненый... Ну вот и хотим с вами поделиться...

Тут у Сашки комок к горлу, глаза повлажнели, как бы слезу не пустить сейчас перед девчатами, еле «спасибо» выдавил.

– Мы принесем сейчас! – сказали девушки и убежали.

Слава богу, дали время в себя прийти. Скривился Сашка, будто от боли, подбородок свой небритый в кулаке мнет, глаза протирает, чтоб не заметили девчушки его состояния, когда вернутся... Неудобно же, фронтовик он, боец...

Они прибежали скоро – ладные, раздумянные от бега, пилотки у них чуть набекрень, талии осиные брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами, москвички, одним словом... Принесли Сашке кружку кипятку, в которую при нем сахара куска четыре бухнули, буханку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой, несколько пачек

концентратов из вещмешка достали (причем гречку!) и, наконец, колбасы полукопченной около килограмма.

– Вы ешьте, ешьте... – говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды, а он от умиления и расстройства и есть-то не может.

А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется – к другой вплотную, как бы не набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них все двигается. Хлопочут около Сашки, потчуют – одна кружку держит, пока он за хлеб принимается, другая колбасу нарезает в это время. И веет от них свежестью и домашностью, только форма военная за себя говорит – ждут их дороги фронтовые, неизвестные, а оттого еще милее они ему, еще дороже.

– Зачем вы на войну, девчата? Не надо бы...

– Что вы! Разве можно в тылу усидеть, когда все наши мальчики воюют? стыдно же...

– Значит, добровольно вы?

– Разумеется! Все пороги у военкомата оббили, – ответила одна и засмеялась. – Помнишь, Тоня, как военком нас вначале...

– Ага, – рассмеялась другая.

И Сашка, глядя на них, улыбнулся невольно, но горькая вышла улыбка – не знают еще эти девчушки ничего, приманчива для них война, как на приключение какое смотрят, а война-то совсем другое...

То ли заметили девушки в Сашкиных глазах горечь, то ли просто так, но смех вдруг сразу оборвали, а потом одна из них спросила тихо:

– Вас сильно ранило?

– Да нет. Двумя пулями, правда, но кость не задетая.

– А немцев вы видели? – спросила другая.

– Как вас сейчас.

– Неужто? Так близко?

– Куда ближе... Дрался я с ним... в плен брал.

– Он вас и ранил?

– Нет, меня снайпер подцепил.

У девушек глаза расширились, и как-то по-другому оглядели они Сашку и остановили взгляд на его ушанке, пулей пробитой. Сашка улыбнулся, снял шапку.

– Вот видите, чуть пониже, и... – сказал не рисуясь, просто.

Девушки замолчали, обдул, видно, холодок души, приморозил губы.

Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила:

– Скажите... Только правду, обязательно правду. Там страшно?

– Страшно, девушки, – ответил Сашка очень серьезно. – И знать вам это надо... чтоб готовы были.

– Мы понимаем, понимаем...

Поднялись они, стали прощаться, поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется – черная, обожженная, грязная, – но они на это без внимания, жмут своими тонкими пальцами, с которых еще маникюр не сошел, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают, а у Сашки сердце кровью обливается: что-то с этими славными девчушками станет, какая судьба их ждет фронтовая?

И вот опять прощание с людьми хорошими... Сколько их на Сашкиной дороге за последние дни было? И со всеми навсегда расставался. Только и знает, что Тоней одну зовут, а ведь в сердце навсегда останутся.

Он смотрел им вслед, на фигурки их легкие, и опять комок к горлу подошел: милые вы девчушки, живыми останьтесь только... живыми... и непокалеченными, конечно... Это нам, мужикам, без руки, без ноги прожить еще можно, а каково вам такими остаться?..

Вскоре и Сашкин поезд на посадку подали. Народу около вагонов невпроворот, около дверей толчея невообразимая. В самую гущу лезть Сашка поостерегся – как бы руку раненую не замаяли, но, когда двери открыли, завертело его, закружило и вынесло к площадке, а там и в дверь воткнулся и даже место сидячее прихватил.

Вначале пытался в окна глядеть – интересно же, места новые, – но окна немые небо с самого объявления войны, ничего через их муть не разглядишь, да и поезд больше стоял, чем ехал, а через мосты вообще полз еле-еле – разрушено все и, видно, на скорую руку восстановлено. Поэтому уходил Сашка в дремь часто, досыпал за ту ночь, которую на площадке мытарился. Ехали они до Клина до самого вечера, а всего тут восемьдесят километров.

В Клину поезд московский уже стоял на платформе, но народу около него толкалось поболее, чем в Калинин, не пробиться ему с его рукой, подумал Сашка, но тут кто-то крикнул: «Раненого пропустите! Иди, парень!» – и расступились люди, дали пройти Сашке к самым дверям. Присмотрел он, чем дальше от фронта, тем к раненым сочувствия больше. Это и понятно, пореже их тут встречается.

В общем, досталось Сашке лежачее место, да не на третьей полке, которая для багажа, а на второй, откуда и в окошко смотреть можно, и дышать легче.

Растянулся Сашка... Хотел было котомочку Пашину под голову положить, но отставил – хлеб примять можно и батон тот серый, что девчата дали. Прошло по душе теплом, вспомнил девчушек этих милых. С такими припасами дорога ему не страшна, суток на пять хватит, если с умом пользоваться.

В вагоне было тепло, от народа, конечно, и снял Сашка свою телогрейку, всякие виды выдавшую, под Голову положил. Гимнастерка суконная у него совсем приличная, на формировании даденная, только рукав попорчен, и почувствовал себя Сашка по-другому, словно приделся. Брюки ватные, конечно, никуда не годятся, на коленках дыры, вата торчит, во многих местах сожженные, но что поделаешь, с передовой же он...

Когда сигарку завертывал, с нижнего места пожилой один, рабочий с виду, попросил у Сашки:

– Махорочкой не богат, солдат?

– Угощу, – ответил он охотно, но обращение такое его удивило немного – какой он солдат? Боец он Красной Армии!

Разговорились за куревом... Спросил тот, где воевал Сашка, большие ли бои были. Сашка распространяться особо не стал – были бои местного значения, но досталось все же. Рабочий головой покачал и повторил:

– Местного значения, говоришь? Это, значит, техникой не баловали, больше на винтовочку небо с надеялись? Так ли я понимаю – бои местного значения?

– Об этом, папаша, не положено. Что было, то было... Но угадал почти.

Рабочий усмехнулся:

– Угадать не сложно. Достаточно на тебя посмотреть. А как кормили-то?

– Распутица...

– И это понятно, – усмехнулся опять попутчик, но тему переменил.

О филичевом табаке заговорил, который выдают им сейчас вместо папирос и махорки и который табак не табак, а не поймешь что, действия никакого и удовольствия тоже, только дым один. То ли дело настоящая «моршанская», закончил он и со вкусом затыкнулся.

Потом спросил он Сашку, куда тот путь держит. Сашка ответил, но зевота его одолевала, так хорошо на верхней полке в тепле и сухости, что сосед, видя это, разговор прекратил, а Сашка заснул сразу, будто провалился.

И только под утро выдался ему сон: идет он с Зиной по полю тому овсянниковскому, но нет на нем ни воронок, ни трупов, ни танков сожженных, а чистое оно и зеленое от озими, но перегораживает его почему-то речка какая-то. и до самого Овсянникова не дойти, а так охота туда добраться, самому посмотреть и Зине показать, как там немцы устроились, почему взять его не удалось, но речка не пускает... Тут его и разбудил сосед:

– Знаешь что, сынок? Ты лучше до самой Москвы не доезжай. Здесь сойди.

– Почему же?

– Проверка документов на вокзале...

– Ну и что? У меня санкарта законная. Все заполнено – где ранило, какие эвакогоспитали проходил... Печати везде...

– Да я в том не сомневаюсь. Но все равно задержать могут и в военно-пересыльный пункт направить. А оттуда сунут в госпиталь, домой и не попадешь. Тебе мой совет – сходи в Останкино, это Москва уже, только окраина. Там на трамвай сядешь и куда хочешь доберешься. Тебе с Казанского надо? Так вот, туда тоже не ходи, а доезжай до Москвы-третьей, что ли, а там уж на любой поезд, что в твою сторону. Понял меня?

– Понял. Спасибо за разъяснения. Мне, конечно, в пересылку ни к чему...

Поезд уже замедлял ход перед этим Останкином, и Сашка слез с полки, угостил рабочего табачком напоследок и, наскоро попрощавшись, двинулся к выходу.

– Счастливого тебе пути, солдат. И главное – живым остаться, – услышал он вслед.

В проходе толпилось чуть ли не полвагона, многие здесь выходить надумали, наверное, все те, кому проверка документов ни к чему, а поезд стоял недолго, и Сашка уже на ходу выпрыгнул.

Постоял он на перроне, огляделся – неужто Москва, столица Родины! Думал ли он, гадал *там*, под ржевскими теми деревьями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз, думал ли, гадал, что *живым* останется и что Москву видит?

Прямо диво случилось, и не верится, наяву ли?

И это ощущение чуда не покидало Сашку, пока шел к тамвайному кругу, обгоняемый спешащими на работу людьми, людьми самыми обыкновенными, только не для Сашки, потому как были они в гражданском – кто в пиджаках, кто в куртках, кто в плащиках, – и в руках у них не оружие, а у кого портфели, у кого свертки, и у каждого почти утренняя газета из кармана торчит.

Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится – стучат каблучками туфелек, кто в юбке и кофточке, кто в платье пестром, и кажутся они Сашке нарядными, праздничными, будто из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося.

И странно ему все это, и чудно – словно и войны нет никакой!

Словно не бушует, не обливается кровью всего в двухстах верстах отсюда горящий, задымленный, в грохоте и в тяготе фронт...

Но чем разительней отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что было *там*, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что *делал* он там, и тем, что *увидел* здесь, тем значительнее виделось ему его *дело* там...

И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной, обожженной телогрейки, своей ушанки простреленной с торчащими клоками ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью обмоток и даже «катюши» своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

Александр. Солженицын

Правая кисть

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда – умирать. А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганая ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смея сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых залетных мечтах измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, – я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей рентгеновской тошноты, и прилечь, понижив спустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель – выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня – паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном перестуке еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе. В одной, не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Все было для меня забыто или не видано, все интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандспойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более – жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше – по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкою швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам с равномерной разрядкой расставлены были и другие вожди, поменьше.

Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные – а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал – этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со

столиками, и узбекская – со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышовым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже – но мои ссыльные копеечки поживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни – и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза на день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город – миллионный, а кладбище было тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они все хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высовывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис – и никогда не привелось. Под крутым берегом kloкотал мутно-желтый бешеный Салар⁴⁶. В парке жили осеняющие клены, раскидистые дубы, нежные японские акации. И восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебрянки струй – к вершинам. А что за трава была на газонах! – сочная, давно забытая (в лагерях ее велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения – было уже блаженство.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, – из душевой стадиона. Вечерами неразличимые, а потому тройне притягательные, девушки в нетроганных и троганных платьицах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демянском⁴⁷, сожженных в Освенциме⁴⁸, истравленных в Джекказгане, домирующих в тайге⁴⁹, – что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих – за то, чего мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины, женщины! – молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, кастелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики

⁴⁶ Салар – канал, протекающий по территории Ташкента.

⁴⁷ Демянская наступательная операция – операция войск Северо-Западного фронта Красной Армии в районе посёлка Демянск (в настоящее время Новгородской области^[K1]) между озёрами Ильмень и Селигер. В январе – феврале 1942 года советские войска перешли в наступление и окружили основные силы 2-го армейского корпуса 16-й немецкой армии группы армий «Север» (так называемый «демянский котёл»). В апреле 1942 года окружение было прорвано, немецкие войска удержали Демянск

⁴⁸ Освенцим – комплекс созданных немцами концентрационных лагерей, в которых в годы Второй мировой войны было уничтожено 1300000 человек.

⁴⁹ Имеются в виду т.н. исправительно-трудовые лагеря, созданные в годы советской власти, в которые в основном направляли по политическим статьям.

– солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув за секунду, составляла целый сюжет: ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое – морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мною рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня – мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучовые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, метали кубики – а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

– Товарищи... Товарищи...

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

– Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной, – мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастерку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огородного пугала.

Отечные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в больницу – и на заявлении искоса две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горздравские и выражали разумно-мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные – сегодня.

– Ну что ж, – громко растолковывал я ему, как глухому. – В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только расспрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полуторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

– Ладно, папаша, провозу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порыжевшее от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело выдыхал.

Так мы пошли, два обтрепыша, тою самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо тупых алебастровых бюстов.

Наконец свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз и теперь, отдышавшись, добавил. Ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него была уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахиа-Ташем (где, я помнил, какой-то великий канал начинали строить, бросили потом). В Ургенче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали – и выписали. В Чарджоу он с поезда сходил и в Урсатьевский – но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло – уж я не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так – последняя болезнь. Наглядясь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось жизненной силы. Губы его расслабились, речь была маловнятна, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его. С трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять с трудом подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы пролысел, а кругом, по темени, сохранились нечесанные, сбитые пылью волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалкости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было и голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть и что ему надо в приемный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти бесшумная фонтанная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Я проводил их в спину. Одна была в оранжевой юбке, другая в бордовой. Обе мне очень понравились.

Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку:

– А курить у вас не найдется, товарищ?

– И из головы выкинь, папаша! – прикрикнул я. – Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Курить!

(Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.) Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век снизу вверх, как-то по-собачьему.

– Все ж таки дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько я лет там работал – мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

– Спасибо, – просипел он.

С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман – и тут же его освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все трое мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблочки.

– Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

– Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров⁵⁰ под Царицыном⁵¹ лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ – тень гордой улыбки – выразились на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

– Почему ж не платят?

– Жизнь так полегла, – вздохнул он. – Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только есть...

Правую кисть – суставы пальцев ее были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу – он донес до кармана, стал туда втискивать, – но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

– Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь – сам дойди, нет – меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое – куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, переодевальня, парикмахерская), – днем всегда теснились больные и измирали долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивленье, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густолиловой помадой.

– Вам чего? – Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.

Быстренькие такие у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

– Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

– Не смейте никого вести! – резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. – Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришипывая:

– Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерках.

Она сробела, отодвинула стул в глубь своей комнаты и сбавила:

– Приема нет, гражданин! В девять утра.

– Ты – прочти бумажку! – очень посоветовал я ей низким недоброжелательным голосом. Она прочла.

– Ну и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром – не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укальывая этим меня.

– Но человек – проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того, как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жестоко-веселое выражение:

– У нас все приезжие! Куда их ложить? Ждут! Пусть на квартиру станет!

⁵⁰ Киров С.М. (настоящая фамилия Костриков) (1886–1934) – советский политический деятель.

⁵¹ Царицын – нынешний Волгоград.

– Но вы выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

– Еще чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка!

И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиною заведена на ответы.

– Так для кого вы тут сидите?! – хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. – Тогда закройте двери!

– Вас не спросили!! Нахал! – взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика. – Кто вы такой? Не учите меня! Нам «скорая помощь» привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты – и виднелась косынка, розовенькая, славная, и комсомольский значок.

– Как? Если б он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала «скорая» – вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я – оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

– Да, больной! Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

– Вот... – изможденно выговаривал он, – ...вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать – опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка

Дана сия товарищу Боброву Н. К в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения⁵² имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов

Комиссар

Подпись.

И бледная фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

⁵² Отряды (части) особого назначения –, иначе – «коммунистические дружины», «военно-партийные отряды» – были созданы на основании постановления ЦК РКП (б) от 17 апреля 1919г. и являлись боевыми силами большевистской партии, организационно не входившими в Красную Армию. На них возлагались самые срочные и трудные задачи по решительному подавлению заговоров, мятежей и других актов противодействия большевистскому режиму. В состав ЧОН включались коммунисты и сочувствующие им рабочие и члены профсоюзов в возрасте от 17 до 55 лет, а также комсомольская молодежь.

– Это что ж – Особого Назначения? Какой?

– Ага, – ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. – Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть – такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-опухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил эту моду – как пешего рубили с коня наискосок.

Странно... На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать – бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, все время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головою пониже.

– Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! – стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в сгибе на бедрах.

Михаил Булгаков

Собачье сердце

1

У-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на кругу при луне – «Милая Аида»⁵³ – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

⁵³ Ария Амнерис из оперы «Аида» Дж.Верди (1813–1901).

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки⁵⁴ подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и все с красным вином. Да...

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопают... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного⁵⁵ не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – все на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо⁵⁶. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбочку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного белишшка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляпка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень

⁵⁴ Фильдеперс – трикотажное полотно, вытканное из фильдеперсовой пряжи. Наиболее известные изделия из фильдеперса – дорогие чулки, модные в России и на Украине в 1930–х годах, которые при этом считались буржуазными излишествами и порицались официальной идеологией.

⁵⁵ Пятиалтынный – разговорное название монеты в 15 копеек.

⁵⁶ Абрау-дюрсо – марка шампанского.

многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Все видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда?⁵⁷ Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме.⁵⁸ А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У-у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

⁵⁷ Охотный ряд – популярные московские торговые ряды.

⁵⁸ Моссельпром – сеть торговых киосков в Москве.

– Будет пока что... – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарикку, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А-га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощелкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью – как бы не утерять в суতোлке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф-р-р-р... гау! Вон! Не напасешься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе⁵⁹.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Федор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

⁵⁹ Позумент (галун) – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

– Да ничего-с.

– А Федор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Черт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули и вот – бельэтаж.

2

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются), вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведаль изолированной проволоки, она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее, пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и «б» – подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина «Чичкина», горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнувший бакштейн.⁶⁰

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких случаях, – салфетками или сапогами.

⁶⁰ Сорт сыра.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... Гау-гау... га... астрономия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья⁶¹ бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о «про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? – подумал Шарик с удивлением... – «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», – подумал пес.

– Пожалуйте, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки! До чего паршивый!

– Вздор говоришь. Где паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

– Погоди-ка, не вертись, фить... Да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... Да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар, каторжник повар!» – жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной камерке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет», – мысленно завыл пес, – «Извините, не дамся! Понимаю, черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя».

– Э, нет, куда?! – закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

⁶¹ Торговый дом братьев Елисеевых – один из самых известных в России конца 19 – начала 20 вв.

– Куда ты, черт лохматый?.. – кричала отчаянно Зина, – вот окаянный!
«Где у них черная лестница?..» – соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

– Стой, с-скотина, – кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

– Ба... батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась.

Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво вбок.

«Спасибо, конечно», – мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла:

– «Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодееры, за что же вы меня?

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость».

– «От Севильи до Гренады... В тихом сумраке ночей»⁶², – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подпернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

«Угодники! – подумал пес, – Это стало быть я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

– Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!. Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

– У-у-у, – жалобно заскулил пес.

– Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком и в шкафу зазвенели склянки.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

⁶² Строки из романа П. И. Чайковского на слова А. К. Толстого (из поэмы «Дон Жуан»).

Захрустели выметаемые стекла и женский голос кокетливо заметил:

– Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

– Только попробуй. Я тебе съем! Это отравка для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок тащишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравнивается с тобой...».

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и задрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полкой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

– Ложись, – приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тятнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

– Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», – в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, – «а сову эту мы разъясим...»

Дверь мягко открылась и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тьякнул, но очень робко...

– Молчать! Ба–ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

– Хи–хи! Вы маг и чародей, профессор, – сконфуженно вымолвил он.

– Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе, – подумал пес, – вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

– Тяу, тяу!.. – он легонько потявкал.

– Молчать! Как сон, голубчик?

– Хе–хе. Мы одни, профессор? Это неопишимо, – конфузливо заговорил посетитель. – Пароль д’оннер⁶³ – 25 лет ничего подобного, – субъект взялся за пуговицу брюк, –

⁶³ Честное слово (фр.).

верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы – кудесник.

– Хм, – озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

– Ай!

– Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» – удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

– Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

– Я не зло... – смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта.

– Ну, и что же? Какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

– 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

– А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

– Проклятая Жиркость⁶⁴! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. – Им морду нужно бить! – свирепея, добавил он. – Что же мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво.

– Хм, обрейтесь наголо.

– Профессор, – жалобно восклицал посетитель, – да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

– Не сразу, не сразу, мой дорогой, – бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

– Ну, что ж, – прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен...⁶⁵ Одевайтесь, голубчик!

– «Я же той, что всех прелестней!..» – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

– Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

– Профессор! – из-за двери в экстазе воскликнул голос, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

– Годы показаны неправильно. Вероятно, 54–55. Тоны сердца глуховаты.

⁶⁴ «Жиркость» – советское учреждение по изготовлению косметических средств.

⁶⁵ Слова из упоминавшегося выше романа П.И.Чайковского.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

– Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

– Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

– Лет вам сколько, сударыня? – еще суровее повторил Филипп Филиппович.

– Честное слово... Ну, сорок пять...

– Сударыня, – возопил Филипп Филиппович, – меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

– Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь – это такой ужас...

– Сколько вам лет? – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

– Пятьдесят один! – корчась со страху, ответила дама.

– Снимайте штаны, сударыня, – облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

– Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц... Я вам признаюсь как на духу...

– От Севильи до Гренады... – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

– Богом клянусь! – говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. – Я знаю – это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту, – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – и стараться не буду понять, что это за штука – все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго.

– Ах, профессор, неужели обезьяны?

– Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович.

– Когда же операция? – бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

– От Севильи до Гренады... Угм... В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

– Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

– Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – 50 червонцев.

– Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тьякнул над головой.

– Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

– Господа, – возмущенно кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

– Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

– Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал не покладая рук.

«Похабная квартирка, – думал пес, – но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» – удивленно подумал пес.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

– Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, – вот по какому делу...

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, – во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, – молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

– Во-первых, – перебил его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.

– Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папахе.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я вам не милостивый государь, – резко заявил блондин, снимая папаху.

– Мы пришли к вам, – вновь начал черный с копной.

– Прежде всего – кто это мы?

– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил черный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

– Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

– Нас, – ответил Швондер.

– Боже, пропал Калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеетесь?

– Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую! Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишенный головного убора, – однако это здорово.

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приемная – заметьте – она же библиотека, столовая, мой кабинет – 3. Смотровая – 4. Операционная – 5. Моя спальня – 6 и комната прислуги – 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, – сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан⁶⁶, – звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то случилось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

⁶⁶ Айседора Дункан (1877–1927) – американская танцовщица–новатор, основоположница свободного танца. В 1920–е гг. пользовалась особой популярностью в СССР, где открывала свои школы-студии.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, – одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пес, – весь в меня. Ох, тыпнет он их сейчас, ох, тыпнет. Не знаю еще – каким способом, но так тыпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... Р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

– Пожалуйста... да... Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

– Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! – восхищенно подумал пес, – что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь можете меня бить – как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

– Это какой-то позор! – несмело вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Петру Александровичу...

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

– За-ве-дующая, – поправил ее Филипп Филиппович.

– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Вы не сочувствуете детям Германии?

– Сочувствую.

– Жалеете по полтиннику?

– Нет.

– Так почему же?

– Не хочу.

Помолчали.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разьясим, вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

– Зина, – крикнул Филипп Филиппович, – подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

4

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

– Иван Арнольдович, самый важный момент – когда я войду в турецкое седло⁶⁷. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровоточить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, – он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: – А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки.

Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступала

⁶⁷ Турецкое седло – образование в теле клиновидной кости черепа человека в виде углубления, напоминающего по форме седло.

кровь. Обрив голову, тяпнутой мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

– Можно мне уйти, Филипп Филиппович? – спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

– Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

– Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брехатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

– Спит? – спросил Филипп Филиппович.

– Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький, колющий блеск и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

– Шейте, доктор, мгновенно кожу, – затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

– 14 минут делали, – сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иглой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

– Нож, – крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

– Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, сунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга – серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович вьелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и

окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

– Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промышчал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

– Иду к турецкому седлу, – зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

– В сердце? – робко спросил он.

– Что вы еще спрашиваете? – злобно заревел профессор, – все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? – Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

– Живет, но еле-еле, – робко прошептал он.

– Некогда рассуждать тут – живет не живет, – засипел страшный Филипп Филиппович, – я в седле. Все равно помрет... Ах, ты че... К берегам священным Нила... Придаatok давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой – «Не имеет равных в Европе... Ей-богу!», – смутно подумал Борменталь, – он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распряженными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

– Умер, конечно?..

– Нитевидный пульс, – ответил Борменталь.

– Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

– Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

– Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

– Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

Из дневника доктора Борменталья

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник. История болезни.

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода дворняжка. Кличка – Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный. Вес 8 кг (*знак восклицат.*).

Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга – гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром – улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39, 8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37, 0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища.

Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского Ветеринарного Показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура – 37, 0.

(*Запись карандашом.*)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения.

Взвешивание дало неожиданный результат – 30 кг за счет роста (удлинение). костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради – клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 мин. Дня пес отчетливо пролаял а-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено.) 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. – глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

(Перерыв в записях.)

6 января. (То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает что такое.

Я теряюсь.

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии.)

По городу расплылись слухи.

Последствия неисчислимы. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами.

В утренних газетах появилась удивительная заметка «Слухи о марсианине в Обуховом переулочке ни на чем не основаны. Они распушены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это – кошмар.

Еще лучше в «Вечерней» – написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок – скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это – что-то неопишное... Он говорит новое слово: «Милиционер».

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем – сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку – перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение (подчеркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (зачеркнуто)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

– Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете, общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...». Я ничего не понял. Он пояснил: – «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (рпанта). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку, – у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове – слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол», – неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал:

– Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора.

Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза – мозгового придатка – разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме – гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы – творец. (*Клякса.*)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, – уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал (*3 восклицательных знака.*) Это я догадался. По Главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

* * *

Что в Москве творится – уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал.

Еле отучили.

* * *

С Филиппом Филипповичем что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

* * *

(В тетради вкладной лист.)

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет⁶⁸, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной («Стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

* * *

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю – в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело – не понимаю. Не все ли равно чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей⁶⁹. За это время облик окончательно сложился. а) совершенный человек по строению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая; д) начал курить; е) ест человеческую пищу; ж) одевается самостоятельно; з) гладко ведет разговор.

* * *

Вот так гипофиз (клякса).

* * *

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского
доктор Борменталь.

6

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещаю».

Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталья:

«Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается».

Затем рукою Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю – куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукою Преображенского: «Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукою Дарьи Петровны (*печатно*):

«Зина ушла в магазин, сказала приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам зеркальные стекла были заклеены косым

⁶⁸ В тексте автора расхождение, ранее он писал, что мужчине было 28 лет.

⁶⁹ Инфлюэнция (*устар.*) – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием

крестом от одной фасетки⁷⁰ до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты.

Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р»

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

– Све-е-етит месяц... Све-е-етит месяц... Светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

– Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.

На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. «Как в калошах» – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

– Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне – тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

– Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

– Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстук.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

– Чем же «гадость»? – заговорил он, – шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

– Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

⁷⁰ Фасетка – скошенная боковая грань чего-либо.

– Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

– Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

– Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

– Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

– Понятно, я вас спрашиваю?

– Понятно.

– Убрать эту пакость с шеи. Вы....Вы посмотрите на себя в зеркало на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать – в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

– Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

– Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

– Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаша» – это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущенно лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», – пролетело у него в голове.

– Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? – Прищурившись спросил он. – Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

– Да что вы все попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

– Филипп Филиппович! – раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, – я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», – подумалось ему.

– Уж, конечно, как же... – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурки в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!». Затувив папиросу, он на ходу вдруг лязгнув зубами и сунул нос под мышку.

– Пальцами блох ловить! Пальцами! – яростно крикнул Филипп Филиппович, – и я не понимаю – откуда вы их берете?

– Да что уж, развожу я их, что ли? – обиделся человек, – видно, блохи меня любят, – тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

– Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

– Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

– Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... А, может быть, это как-нибудь можно... – голос его звучал неуверенно и тоскливо.

– Помилуйте, – уверенно ответил человек, – как же так без документа? Это уж – извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

– При чем тут домком?

– Как это при чем? Встречают, спрашивают – когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

– Ах, ты, Господи, – уныло воскликнул Филипп Филиппович, – встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

– Что я, каторжный? – удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», – подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

– Отлично-с, – поспокойнее заговорил он, – дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

– Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

– Чьи интересы, позвольте осведомиться?

– Известно чьи – трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

– Почему же вы – труженик?

– Да уж известно – не нэпман.

– Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

– Известно что – прописать меня. Они говорят – где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это – раз. А самое главное учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же – союз, биржа...

– Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать, – неожиданно явившееся существо, лабораторное. – Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

– Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

– Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.

– Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

– Полиграф Полиграфович.

– Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

– Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно. – Мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере⁷¹.

Филипп Филиппович налил кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

– Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

– Домком посоветовал. По календарю искали – какое тебе, говорят? Я и выбрал.

– Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

– Довольно удивительно, – человек усмехнулся, – когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях и на звонок явилась Зина.

– Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

– Где?

– 4-го марта празднуется.

– Покажите... гм... черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

– Фамилию позвольте узнать?

– Фамилию я согласен наследственную принять.

– Как? Наследственную? Именно?

– Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

– Как же писать? – нетерпеливо спросил он.

– Что же, – заговорил Швондер, – дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... Зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

⁷¹ Иммеется в виду РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

– Гм... Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень не просто.

– Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

– Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да»... Покраснел и закричал:

– Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? – и он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

– Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

– «Сим удостоверяю»... Черт знает, что такое... гм... «Предъявитель сего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись – «профессор Преображенский».

– Довольно странно, профессор, – обиделся Швондер, – как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

– Я воевать не пойду никуда! – вдруг хмуро твякнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

– На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли – мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

– Я тяжело раненный при операции, – хмуро подвыл Шариков, – меня, вишь, как отделали, – и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

– Вы анархист-индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови.

– Мне белый билет полагается, – ответил Шариков на это.

– Ну-с, хорошо, не важно пока, – ответил удивленный Швондер, – факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

– Вот что, э... – внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, – нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», – подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

– Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот – тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны.

Затем завыл Шариков.

– Боже мой, еще что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

– Кот, – сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

– Сколько раз я приказывал – котов чтобы не было, – в бешенстве закричал Филипп Филиппович. – Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

– В ванной, в ванной проклятый черт сидит, – задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

– Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запырало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

– Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

– Что вам надо?

– Говорящую собачку любопытно поглядеть, – ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

– Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

– Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

– Вон, я говорю! – повторил Филипп Филиппович и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. – Дарья Петровна, я же просил вас.

– Филипп Филиппович, – в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, – что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

– Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... Сколько там пациентов?

– Одиннадцать, – ответил Борменталь.

– Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

– Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

– Гу-гу! – жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

– Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

– Гау! Гау!..

– Да закройте воду! Что он сделал – не понимаю... – приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

– Вот он! – выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

– Вы с ума сошли? – спросил Филипп Филиппович. – Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

– Защелкнулся я.

– Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

– Да не открывается, окаянный! – испуганно ответил Полиграф.

– Батюшки! Он предохранитель защелкнул! – вскричала Зина и всплеснула руками.

– Там пуговка есть такая! – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, – нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

– Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно.

– Да лампу зажгите. Он взбесился!

– Котяра проклятый лампу раскокал, – ответил Шариков, – а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

– Ду... Гу-гу! – что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

– Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

– Открывайте! – сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо – в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее

дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке – весь мокрый.

– Еле заткнул, напор большой, – пояснил он.

– Где этот? – спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

– Боится выходить, – глупо усмехаясь, объяснил Федор.

– Бить будете, папаша? – донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

– Болван! – коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Зброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней, и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

– Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

– А когда же прием? – добивался голос за дверью, – мне бы только на минуточку...

– Не могу, – Борменталь переступил с носков на каблуки, – профессор лежит и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

– Тряпки не берут.

– Сейчас кружками вычерпаем, – отозвался Федор, – сейчас.

Звонки следовали один за другим и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

– Когда же операция? – приставал голос и пытался просунуться в щель.

– Труба лопнула...

– Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появились за дверью.

– Нельзя, прошу завтра.

– А я записан.

– Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

– Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? – сердилась Дарья Петровна, – выливай в раковину.

– Да что в раковину, – лоя руками мутную воду, отвечал Шариков, – она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

– Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

– Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

– В калоши станьте.

– Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

– Ах, боже мой! – расстраивался Филипп Филиппович.

– До чего вредное животное! – отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

– Вы про кого говорите? – спросил он у Шарикова с высоты. – Позвольте узнать.

– Про кота я говорю. Такая сволочь, – ответил Шариков, бегая глазами.

– Знаете, Шариков, – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, – я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

– Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

– Шариков, скажите мне, пожалуйста, – заговорил Борменталь, – сколько времени вы еще будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

– Какой я дикарь, – хмуро отозвался Шариков, – ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет – как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

– Вас бы самого поучить! – ответил Филипп Филиппович, – вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

– Чуть глаза не лишил, – мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой. Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

– Вот вам, Федор.

– Покорнейше благодарю.

– Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

– Покорнейше благодарю, – Федор помялся, потом сказал: – Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только – за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

– В коту? – спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

– То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать.

– Черт!

– Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

– Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

– Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

– Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, – послышался в дверях глухой голос, – да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

– Не смей! – явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, уж это действительно, – многозначительно заметил Федор, – такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

– Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную и оттуда донесся его голос:

– Вы что? В кабаке, что ли?

– Это так... – добавил решительно Федор, – вот это так... Да по уху бы еще...

– Ну, что вы, Федор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

7

– Нет, нет и нет! – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить.

– Ну, что, ей-богу, – забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания.

– Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так «примите»? – расстроился Шариков, – я сейчас заложу.

Левой рукой он заслони́л блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилкой, пожалуйста, – добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я еще водочки выпью? – заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? – осведомился Борменталь. – Вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите... – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, – произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, – сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

– Вот все у вас как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста – мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

– А как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

– Ну желаю, чтобы все...

– И вам также, – с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

– Стаж, – вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

– Виноват...

– Стаж! – повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, – тут уж ничего не поделаешь – Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

– Вы полагаете, Филипп Филиппович?

– Нечего полагать, уверен в этом.

– Неужели... – начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

– *Später*⁷²... – негромко сказал Филипп Филиппович.

– *Gut*⁷³, – отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

⁷² Позже (*нем.*).

⁷³ Хорошо (*нем.*).

– Я не хочу. Я лучше водочки выпью. – Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

– Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? – осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

– В цирк пойдем, лучше всего.

– Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Филиппович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр ходил.

– В театр я не пойду, – неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.

– Икание за столом отбивает у других аппетит, – машинально сообщил Борменталь. – Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

– Да дуракаваляние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головой.

– Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли...

– Уж и так читаю, читаю... – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.

– Зина, – тревожно закричал Филипп Филиппович, – убирай, детка, водку. Больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»...

– Эту... Как ее... переписку Энгельса с эти м... Как его – дьявола – с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским⁷⁴?

– С обоими, – ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?... А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

– Так я и думал, – воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, – именно так и полагал.

– Вы и способ знаете? – спросил заинтересованный Борменталь.

– Да какой тут способ, – становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, – дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...

– Насчет семи комнат – это вы, конечно, на меня намекаете? – горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съежился и промолчал.

– Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

⁷⁴ Фридрих Энгельс (1820–1895) – немецкий философ, один из основоположников марксизма, друг, единомышленник и соавтор трудов Карла Маркса. Карл Каутский (1854–1938) – немецкий экономист, историк и публицист. Теоретик классического марксизма.

– Тридцати девяти человекам, – тотчас ответил Борменталь.

– Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам – Зину и Дарью Петровну – считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

– Хорошенькое дело, – ответил Шариков, испугавшись, – это за что такое?

– За кран и за кота, – рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

– Филипп Филиппович, – тревожно воскликнул Борменталь.

– Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

– Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, – подлетел Борменталь.

– Вы стоите... – рычал Филипп Филиппович.

– Да она меня по морде хлопнула, – взвизгнул Шариков, – у меня не казенная морда!

– Потому что вы ее за грудь ущипнули, – закричал Борменталь, опрокинув бокал, – вы стоите...

– Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

– Третьего дня, – подтвердил Борменталь.

– Ну вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу, кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? – что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

– Все у вас негодяи, – испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

– Зина! – кричал Борменталь.

– Зина! – орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приемной... Она в приемной?

– В приемной, – покорно ответил Шариков, – зеленая, как купорос.

– Зеленая книжка...

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казенная, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме – как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», – вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду ее есть, – сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе – котов нету?

– И как такую сволочь в цирк пускают, – хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

– Ну, мало ли кого туда допускают, – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, – что там у них?

– У Соломонского, – стал вычитывать Борменталь, – четыре какие-то... Юссемс и человек мертвой точки⁷⁵.

– Что это за Юссемс? – подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

– Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

– Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

– У Никитиных... У Никитиных... Гм... Слоны и предел человеческой ловкости.

– Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? – недоверчиво спросил Филипп Филиппович.

Тот обиделся.

– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.

– Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» И что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга.

Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше

⁷⁵ Цирк Соломонских находился в Москве на улице Садовая–Триумфальная. Юссемсы – артисты, действительно выступавшие в этом цирке. Был в программе циркового представления и номер под названием «Человек на мертвой точке».

засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

– Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение.

Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталья и Шарикова из цирка.

Михаил Зощенко

Аристократка

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать: – Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые⁷⁶, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в своё время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то всё и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всём объёме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золочёный.

– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?

– Я, – говорит, – из седьмого.

– Пожалуйста, – говорю, – живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

– Да, – отвечает, – действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижёт. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму её под руку и волочусь, что щука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

– Что вы, – говорит, – меня всё по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, – говорит, – как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

– Можно, – говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка⁷⁷ билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой – внизу сидеть, а который Васькин – аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я – на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то её вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошёл. Гляжу – антракт. А она в антракте ходит.

– Здравствуйте, – говорю.

– Здравствуйте.

– Интересно, – говорю, – действует ли тут водопровод?

– Не знаю, – говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг её и предлагаю:

– Ежели, – говорю, – вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

⁷⁶ Фильдекосовые – сделанные из фильдекоса – туго скрученной хлопчатобумажной нити из лучших сортов хлопчатника, имеющей шелковистый блеск; трикотажное полотно из этой нити для изготовления чулок, перчаток.

⁷⁷ Коммунистическая ячейка.

– Мерси, – говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, и жрёт.

А денег у меня – кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег – с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг неё, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

– Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

– Нет.

И берёт третье.

Я говорю:

– Натощак – не много ли? Может вытошнить.

А она:

– Нет, – говорит, – мы привыкшие.

И берёт четвёртое.

Тут ударила мне кровь в голову.

– Ложи, – говорю, – взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Всё равно, думаю, теперь с ней не гулять.

– Ложи, – говорю, – к чёртовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

– Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.

– С вас, – говорит, – за скушанные четыре штуки столько-то.

– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвёртое в блюде находится.

– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ём сделан и пальцем смято.

– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят – надкус сделан, другие – нету.

А я вывернул карманы – всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, – народ хохочет.

А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги – в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

– Докушайте, – говорю, – гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

– Давай, – говорит, – я докушаю.

И докушал, сволоочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

– Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами.

А я говорю:

– Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

Владимир Войнович

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Владимир Николаевич Войнович (род. 1932) – писатель, поэт, драматург.

За участие в движении диссидентов в 1974 году был исключен из Союза писателей СССР, в 1980 году выслан из страны, а в 1981 – лишен советского гражданства (было возвращено в 1990). С 1980 по 1992 жил в ФРГ, США.

Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» впервые был опубликован на западе, на родине писателя был напечатан только в годы т.н. перестройки.

Роман-анекдот

Книга первая

ЛИЦО НЕПРИКОСНОВЕННОЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов, история эта показалась мне настолькозанятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года, в этих, примерно, пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце скоро ли там обед.

Солнце она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, небо, падала прямо на Нюру.

– Ай! – в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду.

Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничего не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что же я лежу?» – подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу. Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» – мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знаменем, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась.

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет «У-2», а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом. Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву. Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул:

– Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой несколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Ключвино и Ново-Ключвино, но они на той стороне реки, а Старо-Ключвино, хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот имени Ворошилова⁷⁸. В «Ворошилове» за два последние года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого – за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было только слово «эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется. Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подросли, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребяенок за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе поспекает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы рожали охотно и много, и всегда были либо

⁷⁸ Ворошилов Климент Ефремович (1881–1869) – советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза.

беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи, – сверкнула в мозгу ее тревожная мысль, – я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои, еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

– Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед.

Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

– Ой, мужики, пустите!

И, наконец, очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой аж по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

– Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь аэроплан первый заметил, да! Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счешет.

– Брешешь ты все, – сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

– Брешет собака. А я говорю. А ты свою варежку закрой да и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

– Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минима и того менее. А если б он твою трубу зацепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

– Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зацепится, испужался, ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было – всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

– А чего мне пужаться? Эроплан не мой, и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шарханул по крылу палкой, от чего крыло загудело, как барабан.

– Ты что делаешь? – заорал на мальчишку летчик. Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

– Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

– Перкалью.

– А чего это?

– Такая вещь, – объяснил летчик. – Материя.

– Чудно, – сказал Плечевой. – А я думал он весь из железа.

– Кабы из железа, – влез опять Курзов, – его бы мотор в высоту не поднял.

– В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, – сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствия, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

– Кожанка, бабы, – чистый хром, – утверждала Тайка Горшкова. – Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют. жалеют.

Нинка Курзова возразила:

– Это не хром, а шевро.

– Ой, не могу! – возмутилась Тайка. – Какое ж шевро? Шевро-то с пупырышками.

– И это с пупырышками.

– А где ж тут пупырышки?

– А ты пошшупай – увидишь, – сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

– Я бы пошшупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогонварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно, и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высмыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в этом. Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция или ревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но, пока что, все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспектора и инструкторы, пили вместе с ним

водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобра-поздорову. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наиответственнойшая Инспекция и и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно.

Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета. Поехал навстречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издали протянул ему руку.

– Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, – четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

– Лейтенант Мелешко, – представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

– Очень приятно. Чем могу служить?

– Да я и сам не знаю, – сказал летчик. – У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.

– По заданию? – уточнил председатель.

– Какое задание? – сказал летчик. – Я вам говорю – на вынужденную. Мотор заклинило.

«Давай, давай заливай больше», – подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:

– Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, – обратился он к Лукову, ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, – объяснил он летчику. Любую машину разберет и опять соберет.

– Ломать не строить, – подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.

– Э-э, не надо, – поспешно остановил его летчик. – Это не трактор, а летательный аппарат.

– Разницы нет, – все еще надеялся Луков. – Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь закручиваешь, в другую сторону крутишь – откручиваешь.

– Вам надо было не здесь садиться, – сказал председатель, – а возле Старо-Клюквина. Там и МТС, и МТМ⁷⁹ враз бы все починили.

– Когда садишься на вынужденную, – терпеливо объяснил летчик, – выбирать не приходится. Увидел поле не засеяно, прижался.

– Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, – сказал председатель, оправдываясь. Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору.

– Да зачем мне ваша контора! – рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему, непонятно. Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

– Чего ж сразу звонить? – обиделся Голубев. – Вы бы сперва посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.

⁷⁹ МТС – машинно-тракторная станция, МТМ – машинно-тракторная матерская.

– Послушайте, – взмолился летчик, – что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел, – отметил про себя Голубев. – на «Вы» и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

– Дело ваше, – сказал он обреченно. – Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда презжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! Он махнул рукой и пригласил к себе в двуюлку. Садитесь, отвезу. Звоните сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуюлку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

2

Дежурный по части капитан Завгородний в расстегнутой гимнастерке и давно нечищенных, покрывшихся толстым слоем пыли сапогах, изнывая от жары, сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в казарму, где размещалась комендантская рота.

А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял навтыжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него воспаленными от солнца глазами.

Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалясь, на скамеечке из некрашенных досок и, положив ногу на ногу, покуривал папироску.

– Ложись! – негромко, словно бы нехотя скомандовал старшина, и Чонкин послушно рухнул на землю.

– Отставить! – Чонкин вскочил на ноги. – Ложись! Отставить! Ложись!

– Товарищ капитан! – крикнул старшина Завгороднему. – Вы не скажете, сколько там на ваших золотых?

Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского авода (не золотые, конечно, – старшина пошутил) и лениво ответил – Половина одиннадцатого.

– Такая рань, – посетовал старшина, – а жара уже хоть помирай. – Он повернулся к Чонкину. Отставить! Ложись! Отставить!

На крыльцо вышел дневальный Алимов.

– Товарищ старшина, – закричал он, – вас к телефону!

– Кто? – спросил старшина, недовольно оглядываясь.

– Не знаю, товарищ старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.

– Спроси, кто.

Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину.

– Ложись! Отставить! Ложись!

Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на распластанного в пыли Чонкина, доложил:

– Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете получать или пришлете кого?

– Ты же видишь, я занят, – сдерживаясь, сказал старшина.

– Скажи Трофимычу – пусть получит. И снова к Чонкину: – Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить!

– Слышь, старшина, – любопытствовал Завгородний. – А за что ты его?

– Да он, товарищ капитан, разгильдяй, – охотно объяснил старшина и снова положил Чонкина. Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не научился. Отставить! Вместо того, чтоб как положено честь отдавать, пальцы растопыренные к уху

приставит и идет не строевым шагом, а как на прогулочке. Ложись! Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую шею. Устанешь с ними, товарищ капитан. Возишься, воспитываешь, нервы тратишь, а толку чуть. Отставить!

– А ты его мимо столба погоняй, – предложил капитан. – Пусть пройдет десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.

– Это можно, – сказал старшина и заплевал папироску. – Это Вы правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал капитан?

Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.

– А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом... старшина выдержал паузу, – марш!

– Вот так, – оживился капитан. – Старшина, прикажи: пусть носок тянет получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!

А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:

– Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу приветствовать командиров. Кругом... марш!

В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился на него, но не встал, уходить не хотелось.

Он закричал:

– Старшина, ты посмотри, у него обмотка размоталась. Он же сейчас запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в армию берут, а, старшина?

А телефон в коридоре звонил все настойчивей и громче. Завгородний неохотно поднялся и вошел в штаб.

– Слушаю, капитан Завгородний, – вяло сказал он в трубку.

Расстояние между деревней Красное и местом расположения части составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыка, и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл того, что он только что услышал. И, осознав случившееся, он застегнул ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику штаба.

Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат), Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог, закричал:

– Разрешите войти, товарищ майор?

– Не разрешаю, – тихо сказал майор, не поднимая головы от своих бумажек.

Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.

– Разрешите доложить, товарищ майор?

– Не разрешаю. – Майор поднял голову от бумаг. – Что у вас за вид, капитан? Не бриты, пуговицы и сапоги не начищены.

– Пошел ты... – вполголоса сказал капитан и весело посмотрел майору в глаза.

По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и продолжал свое:

– Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить баночку.

– Спасибо, товарищ майор, – вежливо сказал Завгородний. – Разрешите доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор, и он сел на вынужденную.

– Куда сел? – не понял начштаба.

– На землю.

– Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился Малешко.

– Возле деревни Красное.

– Что же делать? – Он растерянно посмотрел на Завгороднего.

Тот пожал плечами.

– Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.

Начальник штаба и раньше не отличался большой смелостью по отношению к вышестоящим командирам, но теперь, по причине глухоты, боялся их еще больше, помня, что его в любое время могут уволить в запас.

– Командир сейчас занят, – сказал он, – руководит полетами.

– Вынужденная посадка – летное происшествие, – напомнил Завгородний. – Командир должен знать.

– Значит, вы думаете, удобно отрывать командира для этого дела?

Завгородний промолчал.

– А может, Мелешко сам как-нибудь справится с этим? Завгородний посмотрел на него с сочувствием. Начштаба перевелся сюда из пехоты и мало понимал в летном деле.

– Разрешите отлучиться из части, товарищ майор. Я сам доложу командиру.

– Вот и правильно, – обрадовался майор. – Вы сами идите и доложите ему от своего имени. Вы дежурный по части и имеете право. Пойдите, Завгородний. Как же вы уйдете? А вдруг в части что-нибудь случится.

Но Завгородний уже не слышал его, он вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Примерно через час он вернулся в штаб с командиром полка подполковником Опаликовым и с инженером полка Кудлаем.

В штабе к тому времени оказался еще подполковник Пахомов, командир батальона аэродромного обслуживания. Он выяснял с начальником штаба какие-то свои дела и при появлении Опаликова хотел уйти, но тот его задержал. Стали обсуждать, что делать. Кудлай сказал, что на складе запасных моторов нет, а из дивизии раньше, чем через неделю ничего не получишь. Завгородний предложил отстыковать крылья, погрузить самолет на автомобиль и привезти сюда. Начальник штаба предложил тащить самолет на буксире, чем вызвал презрительную ухмылку Завгороднего. Подполковник Пахомов молчал и что-то отмечал в своем блокнотике, проявляя усердие в службе.

Опаликов слушал говоривших насмешливо. Потом встал, прошел из угла в угол.

– Заслушав и обсудив всю ту хреновину, которую каждый из вас нес здесь в меру своих способностей, я пришел к выводу, что самолет мы оставим на месте до прибытия мотора. Если тащить его сто двадцать километров на автомобиле, то от него останутся только дрова. А пока там надо поставить караул, хотя бы от пацанов, чтобы не растащили приборную доску. Это тебя касается. Он махнул рукой в сторону Пахомова. Подполковник Пахомов положил блокнот на подоконник и встал.

– Извините, ничего не получится, – робко сказал он.

Хотя он был чином равен Опаликову, возрастом старше и непосредственно ему не подчинялся, Пахомов чувствовал превосходство Опаликова над собой, знал, что тот ближе к начальству, раньше его станет полковником, и поэтому обращался к нему на «Вы».

– Это почему еще не получится? – нетерпеливо спросил Опаликов.

Он не любил никаких возражений.

– Вся комендантская рота вторую неделю в карауле, и сменить нечем. – Пахомов взял блокнот и заглянул в него. – Семь человек в лазарете, двенадцать на лесозаготовках, один в отпуске. Все.

– Ну хоть одного можно найти? Хоть завалившего какого-нибудь. Пусть он там поспит возле машины, лишь бы было с кого спросить.

- Ни одного, товарищ подполковник, – при этом Пахомов сделал такое жалкое лицо, что не поверить ему было никак невозможно.
- Да, дело плохо, – задумался Опаликов и тут же вскрикнул: – Ура! Нашел! Послушайка, пошли-ка ты этого..... как его... боец у тебя есть такой зачуханный, на лошади ездит.
- Чонкин, что ли? – не поверил Пахомов.
- Конечно, Чонкин. До чего же я все-таки умный человек, – удивился Опаликов и хлопнул себя по лбу ладонью.
- Так он же... – попробовал возразить Пахомов.
- Что он?
- На кухню дрова некому будет возить.
- Незаменимых людей у нас нет⁸⁰, – сказал командир полка. Этот тезис был апробирован. Подполковник Пахомов не посмел ничего возразить.

3

Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий, да еще и с красными ушами.

«И что это за нелепая фигура! скажете вы возмущенно. Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать. «Допустим, это так, скажете вы недоверчиво, – но зачем же выдумывать? Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватили, мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок: какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.

В предыдущей биографии Чонкина не было слишком уж ярких страниц, на которых стоило бы задерживать ваше внимание, но хотя бы в двух словах рассказать, откуда он родом, как жил и чем занимался раньше, вроде бы надо.

Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна Чонкина, обыкновенная деревенская женщина, вдова. Ее муж, Василий Чонкин, погиб в четырнадцатом году во время империалистической войны, которая, как известно, потом перешла в гражданскую и продолжалась очень долго. В то время, когда шли бои за Царицын, деревня, где жила Марьяна, оказалась на скрещении военных дорог, через нее проходили то красные, то белые, просторный и пустой дом Марьяны нравился и тем, и другим.

⁸⁰ Фраза, известная в общественно-политической лексике с начала XX в. Сначала она получила известность как лозунг («Незаменимых людей нет»), под которым вел свою избирательную кампанию (1912) будущий американский президент Вудро Вильсон, позаимствовавший это выражение из французского языка. Позднее (1932) этот лозунг использовал Франклин Делано Рузвельт, борясь с Говардом Гувером за президентский пост.

В России это выражение известно как фраза И. В. Сталина, хотя в таком виде нигде в его речах или сочинениях она не встречается. Видимо, партийные пропагандисты и журналисты просто «творчески развили» (воспользовавшись уже готовым лозунгом), следующее место из Отчетного доклада, с которым Сталин выступил на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. Имея в виду некоторых высших партийных и советских чиновников, он сказал: «Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом».

Однажды в доме Марьяны целую неделю квартировал некто прапорщик Голицын, имеющий какое-то весьма неясное отношение к знаменитому роду русских князей. Потом он уехал из этой деревни и, должно быть, о ней позабыл, но деревня его не забыла. И когда через год, а может, и больше (никто не считал), у Марьяны родился сын, в деревне стали посмеиваться, говоря, что тут дело не обошлось без участия князя. Правда, еще подозревали в этом местного пастуха Серегу, но Серега решительно отпирался.

Сына Марьяна назвала Иваном, а отчество ему дала по погибшему мужу – Васильевич. Первые шесть лет, о которых у Ивана не осталось никаких воспоминаний, он прожил в бедности. Мать его была слаба здоровьем, хозяйство совсем запустила, жила кое-как, перебиваясь с хлеба на воду, пока не утонула однажды в реке. Пошла в начале зимы полоскать на Волге белье и провалилась. Именно к этому времени и относятся первые воспоминания Чонкина о себе и окружающем мире.

Иван не остался один, его приютили бездетные соседи и однофамильцы, а может быть, даже родственники Чонкины. У них не было детей много лет, они даже подумывали, не взять ли кого из приюта, а тут подвернулся такой вот случай. Чонкина одели, обули, а когда он малость подрос, стали приучать понемногу к хозяйству. То сено пошлют ворошить, то картошку в погребе перебирать, то еще чего по хозяйству. За это и поплатились.

В известное время стали искать в деревне кулаков⁸¹, да ни одного не могли найти. А приказано было найти обязательно, хотя бы для примера. Тогда нашли Чонкиных, которые эксплуатировали чужой, да к тому же еще и детский, труд. Чонкиных сослали, а Иван попал в детский дом, где его больше двух лет почем зря мучили арифметикой. Сначала он все это покорно переносил, но когда дело дошло до деления целых чисел с остатком, не выдержал и дал деру в свою родную деревню.

К тому времени он уже немного подрос и у него доставало сил, чтобы затянуть супонь⁸². Ему дали лошадь и послали работать на молочно-товарную ферму. И, не забывая о высоком происхождении Чонкина, говорили:

– Князь, запряжешь Чалого, поедешь навоз возить.

В армии его так не звали, потому что не знали этого прозвища, а в облике его ничего княжеского не было.

Командир батальона Пахомов, встретив Чонкина в первый раз, сказал не задумываясь:

– На конюшню.

Сказал, как приклеил. На конюшне Чонкину было самое место. С тех пор он и ездил все время на лошади, возил на кухню дрова и картошку. Со службой своей он освоился быстро и быстро усвоил ее основные законы, как, например: «Боец спит служба идет», «Не спеши выполнять приказание, его могут и отменить» и т.д., и т.п. И хотя за всю службу он не стал, подобно своим сверстникам, ни механиком, ни мотористом, жизнью своей, если бы не старшина, Чонкин был бы доволен вполне. Его не посылали в наряды, не заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом – в конюшне на сене. Имея прямое отношение к кухне, питался по норме N 5, то есть по летной норме. Только от одной всеобщей обязанности он не был освобожден: от политзанятий.

4

Летом, в хорошую погоду, политзанятия проходили обычно не в помещении, а на опушке небольшой рощицы, в стороне от городка. Чонкин, как всегда, опоздал, но на

⁸¹ Имеются в виду политические репрессии, развернувшиеся в СССР в отношении т.н. зажиточных крестьян с начала 1930-х годов до периода создания колхозов (коллективных хозяйств).

⁸² Супонь – ремень для стягивания хомута под шеей лошади.

этот раз не по своей вине. Сперва его воспитывал старшина, потом повар Шурка в самый последний момент послал его на склад за крупой. Кладовщика на складе не оказалось, пришлось бегать по всему городку разыскивать. Когда Чонкин приехал наконец на лошади в рощу, все были уже в сборе. При появлении Чонкина руководитель занятий старший политрук⁸³ Ярцев весьма тонко съязвил в том духе, что, мол, раз Чонкин явился, значит, теперь все в порядке, можно и начинать.

Бойцы расположились на небольшой лужайке вокруг широкого пня, на котором сидел старший политрук Ярцев.

Чонкин разнуздal лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подальше от руководителя занятий. Он сел, поджав под себя ноги, и только после этого огляделся. И тут же понял, что место выбрал самое неудачное. Рядом с ним, глядя на него насмешливыми голубыми глазами, сидел его заклятый враг Самушкин. Этот Самушкин никогда не упускал случая, чтобы устроить Чонкину какую-нибудь пакость: в столовой смешивал сахар с солью, в казарме ночью (в тех редких случаях, когда Чонкину все же приходилось там спать) связывал вместе брюки и гимнастерку, и Чонкин из-за этого опаздывал на построение. А однажды Самушкин устроил Чонкину «велосипед» – вложил спящему между ног клочки бумаги и поджег. За это он получил два наряда вне очереди, а Чонкин трое суток хромал.

Увидев Самушкина, Чонкин понял, что лучше бы он сел в муравейник, потому что по игривому настроению Самушкина сразу понял, что добра от него ждать нечего.

Проходили тему «Моральный облик бойца Красной Армии». Старший политрук Ярцев достал из лежавшего на коленях большого желтого портфеля конспект, полистал его, вкратце напомнил бойцам то, что проходили на прошлых занятиях, и спросил:

– Кто желает выступить? Чонкин? – удивился он, заметив, что Чонкин дернул рукой.

Чонкин встал, оправил под ремнем гимнастерку и, переминаясь с ноги на ногу, уставился Ярцеву прямо в глаза. Так они смотрели друг на друга довольно долго.

– Ну что же вы не отвечаете? – не выдержал Ярцев.

– Не готов, товарищ старший политрук, – нерешительно пробормотал Чонкин, опуская глаза.

– Зачем же вы тогда поднимали руку?

– Я не поднимал, товарищ старший политрук, я жука доставал. Мне Самушкин бросил за шею жука.

– Жука? – зловещим голосом переспросил Ярцев. – Вы что, товарищ Чонкин, пришли сюда заниматься или жуков ловить?

Чонкин молчал. Старший политрук встал и в волнении заходил по лужайке.

– Мы с вами, – начал он, медленно подбирая слова, – изучаем очень важную тему: «Моральный облик бойца Красной Армии». Вы, товарищ Чонкин, по политподготовке отстаете от большинства других бойцов, которые на политзанятиях внимательно слушают руководителя. А ведь не за горами инспекторская проверка. С чем вы к ней придете? Поэтому, между прочим, и дисциплина у вас хромает. Прошлый раз, когда я был дежурным по части, вы не вышли на физзарядку. Вот вам конкретный пример того, как слабая политическая подготовка ведет к прямому нарушению воинской дисциплины. Садитесь, товарищ Чонкин. Кто желает выступить?

Поднял руку командир отделения Балашов.

– Вот, – сказал Ярцев, – почему-то товарищ Балашов всегда первым поднимает руку. И его всегда приятно слушать. Вы конспект приготовили, товарищ Балашов?

– Приготовил, – скромно, но с достоинством сказал Балашов.

⁸³ Политрук – комиссар в воинском подразделении, ответственный за политический дух воинов.

– Я знаю, что приготовили, – сказал Ярцев, глядя на Балашова с нескрываемой любовью. Отвечайте.

Старший политрук снова сел на пень и, чтобы показать заранее, какое истинное наслаждение доставит ему четкий и правильный ответ Балашова, закрыл глаза.

Балашов развернул общую тетрадь в картонном переплете и начал читать громко, с выражением, не вставляя ни единого своего слова.

Пока он читал, бойцы занимались, кто чем. Один, спрятавшись за спиной другого, увлекся «Мадам Бовари»⁸⁴, другие – играли в «морской бой», Чонкин предавался своим мыслям. Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее законы, он понял, что летом обычно бывает тепло, а зимой – холодно. «А вот если бы было наоборот, думал он, – летом холодно, а зимою тепло, то тогда бы лето называлось зима, а зима называлась бы лето».

Потом ему пришла в голову другая мысль, еще более важная и интересная, но он тут же забыл, какая именно, и никак не мог вспомнить. И мысль об утерянной мысли была мучительна. В это время его толкнули в бок. Чонкин оглянулся и увидел Самушкина, про которого совсем забыл. Самушкин поманил его пальцем, показывая, чтобы Чонкин наклонился, он, Самушкин, ему что-то скажет. Чонкин заколебался. Крикнуть в ухо, пожалуй, побойтся, старший политрук здесь, а плюнуть может.

– Чего тебе? – шепотом спросил Чонкин.

– Да ты не бойся, – прошептал Самушкин и сам наклонился к чонкинскому уху. – Ты знаешь, что у Сталина было две жены?

– Да ну тебя, – отмахнулся Чонкин.

– Верно тебе говорю. Две жены.

– Хватит болтать, – сказал Чонкин.

– Не веришь – спроси у старшего политрука.

– Да зачем мне это нужно? – упрямылся Чонкин.

– Спроси, будь другом. Я спросил бы, но мне неудобно, я в прошлый раз задавал много вопросов.

По лицу Самушкина было видно, что ему очень важно, чтобы Чонкин оказал ему эту пустяковую, в сущности, услугу. Чонкин, будучи человеком добрым, не умеющим никому и ни в чем отказывать, сдался.

Балашов все еще читал свой конспект. Старший политрук его слушал рассеянно, зная, что Балашов боец аккуратный, наверняка переписал в конспект все слово в слово из учебника и никаких неожиданностей в его ответе быть не может. Но времени оставалось мало, надо было спросить других, и Ярцев прервал Балашова.

– Спасибо, товарищ Балашов, – сказал он. – У меня к вам еще вопрос: почему наша армия считается народной?

– Потому, что она служит народу, – ответил Балашов, не задумываясь.

– Правильно. А кому служат армии капиталистических стран?

– Кучке капиталистов.

– Правильно. – Ярцев был очень доволен. – Я с удовольствием прослушал ваш ответ. Вы правильно мыслите, делаете из пройденного материала верные выводы. Я ставлю вам «отлично» и буду просить командира батальона объявить вам благодарность с занесением в личное дело.

– Служу трудовому народу, – тихо сказал Балашов.

– Садитесь, товарищ Балашов. – И своими узкими пронизательными глазами старший политрук осмотрел сидевших перед ним бойцов. Кто хочет дальше развить мысль предыдущего оратора?

⁸⁴ Роман французского писателя Гюстава Флобера.

Чонкин дернул рукой. Ярцев заметил.

– Товарищ Чонкин, как прикажете истолковать ваш выразительный жест? Может быть, вы опять боретесь с жуком?

Чонкин встал.

– Вопрос, товарищ старший политрук.

– Пожалуйста. – Политрук расплылся в широкой улыбке, всем своим видом показывая, что, конечно, Чонкин может задать только очень простой вопрос и, может быть, даже глупый, но он, Ярцев, обязан снижаться до уровня каждого бойца и разъяснять непонятное. И он ошибся. Вопрос, может быть, был глупый, но не такой простой.

– А правда, – спросил Чонкин, – что у товарища Сталина было две жены?

Ярцев вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто в одно место ему воткнули шило.

– Что? – закричал он, трясаясь от ярости и испуга. – Вы что говорите? Вы меня в это дело не впутывайте. Он тут же спохватился, что сказал что-то не то, и остановился.

Чонкин растерянно хлопал глазами. Он никак не мог понять, чем вызвана такая ярость старшего политрука. Он попытался объяснить свое поведение.

– Я, товарищ старший политрук, ничего, – сказал он. – Я только хотел спросить... мне говорили, что у товарища Сталина...

– Кто вам говорил? – закричал Ярцев не своим голосом. – Кто, я вас спрашиваю? С чужого голоса поете, Чонкин?

Чонкин беспомощно оглянулся на Самушкина, тот спокойно перелистывал «Краткий курс истории ВКП(б)»⁸⁵, словно все происходившее не имело к нему никакого абсолютно отношения. Чонкин понял, что если сослаться на Самушкина, тот откажется, не моргнув глазом. И хотя Чонкин не мог взять в толк, чем именно вызван такой невероятный гнев старшего политрука, ему было ясно, что Самушкин опять его подвел, может быть, даже больше, чем в тот раз, когда устроил «велосипед».

А старший политрук, начав кричать, никак не мог остановиться, он крестил Чонкина почем зря, говоря, что вот, мол, к чему приводит политическая незрелость и потеря бдительности, что такие, как Чонкин, очень ценная находка для наших врагов, которые только и ищут малейшую щель, куда, не гнушаясь никакими средствами, можно пролезть со своими происками, что такие, как Чонкин, позорят не только свое подразделение и свою часть, но и всю Красную Армию в целом.

Трудно сказать, чем бы кончился монолог Ярцева, если бы его не прервал дневальный Алимов. Видно, Алимов бежал от самого городка, потому что долго не мог перевести дух, и, приложив руку к пилотке, тяжело дышал, молча глядя на Ярцева. Его появление сбilo Ярцева с мысли, и он спросил раздраженно:

– Что вам?

– Товарищ старший политрук, разрешите обратиться. – Алимов кое-как отдышался.

– Обращайтесь, – устало сказал Ярцев, опускаясь на пень.

– Рядового Чонкина по приказанию командира вызывают в казарму.

Этому обстоятельству были рады и Чонкин, и Ярцев.

Отвязывая лошадь, Чонкин ругал себя, что черт его дернул за язык. Может быть, первый раз за всю службу задал вопрос, и на тебе такая неприятность. И он твердо решил, что теперь никогда в жизни не будет задавать никаких вопросов, а то еще влипнешь в такую историю, что и не выпутаешься.

⁸⁵ «Краткий курс истории ВКП(б)» – учебник по истории партии, который был создан при непосредственном участии И.В.Сталина и определял с конца 1930-х до середины 1950-х годов содержание преподавания и изучение истории ВКП(б), а фактически и истории всей страны.

Старшина Песков сидел у себя в каптерке и суровой ниткой резал мыло, готовясь к предстоящему его роте банному дню. В это время его позвали к телефону, и комбат Пахомов приказал немедленно разыскать Чонкина, выдать ему оружие, продпак на неделю и подготовить к длительному несению караульной службы. Какой именно службы и почему длительной, старшина не понял, но сказал «есть!» , потому что привык выполнять приказания беспрекословно, согласно уставу. Каптенармуса⁸⁶ Трофимовича, который помогал ему резать мыло, он послал на продклад, а дневального Алимова отправил разыскивать Чонкина. После этого нарезал остальное мыло, вытер руки о полотенце и сел писать письмо своей невесте, которая жила в городе Котласе.

После срочной службы старшина прослужил еще два года, теперь хотел опять продлить срок, но невеста этого не одобряла. Она считала, что женатому человеку лучше работать где-нибудь на заводе, чем служить в армии.

Старшина Песков с этим был не согласен, он писал: «А еще, Люба, вы пишете, что гражданская жизнь лучше, чем военная. Вы, Люба, имеете об этом неправильное понятие, потому что для каждого воина Красной Армии есть главное переносить все тяготы и лишения воинской службы. А также воспитание подчиненных. Вы знаете, что наша страна со всех четырех сторон находится в капиталистическом окружении и враги только и метят на то, чтобы задушить Советскую страну, а наших жен и детей угнать в рабство. Поэтому в Красную Армию ежегодно призываются на военную службу молодые воины, дети рабочих и трудового крестьянства. И мы, закаленные воины, должны передавать им свой боевой опыт и воинское мастерство в деле воспитания молодого поколения. Но вопрос этот очень серьезный, к людям надо проявлять ежедневную строгость, потому что ты с ними будешь по-хорошему, а они к тебе обернутся свиньей. Возьмем, к примеру, простую семью. Если не будешь воспитывать ребенка в строгости, с ремешком, то он вырастет жулик или хулиган, а дети, Люба, цель нашей жизни. А если не иметь цели, то можно повеситься или застрелиться (вот вам пример: Маяковский, Есенин)».

Старшина поставил точку, обмакнул перо в чернила и стал обдумывать следующую фразу. Он хотел как-то связать воедино вопросы семьи и брака и обороноспособности государства, но как именно сделать это, еще не знал, и тут его сбили с толку – кто-то постучался в дверь.

– Войдите, – разрешил старшина.

Вошел Чонкин. Он был так огорчен своей оплошностью на политзанятиях, что даже забыл, что нужно о своем прибытии доложить по-уставному, и спросил просто:

– Звали, товарищ старшина?

– Не звал, а приказал явиться, – поправил старшина. – Войдите и доложите, как положено.

Чонкин повернулся к дверям.

– Отставить! – сказал старшина. – Как нужно поворачиваться кругом?

Чонкин постарался сделать все как надо, но опять перепутал и повернулся через правое плечо. Только с третьего раза у него получился поворот более или менее гладко, после чего старшина, наконец, снизошел к нему, разрешил выйти и, вернувшись, доложить о прибытии. Потом сунул ему в руки «Устав караульной и гарнизонной службы» и отправил в казарму учить обязанности часового. А сам остался дописывать письмо, наполняя его новыми, возникшими в результате общения с Чонкиным мыслями:

⁸⁶ Каптенармус – должностное хозяйственное лицо в войсковой части армии, заведующее приемом, хранением и выдачей продовольствия и вещевого и оружейного инвентаря.

«Вот, Люба, к примеру, у вас на заводе работает инженер с высшим образованием и имеет в своем подчинении 10–12 человек. Он может приказать им что-нибудь только по работе, а после работы или во время выходного дня они ему уже не подчиняются и могут делать, что хотят, как говорится, ты сам по себе, а я сам по себе. У нас такого положения быть не может. У меня в роте 97 красноармейцев и младшего комсостава. Я могу им в любое время отдать любое приказание, и они выполнят его беспрекословно, точно и в срок, согласно Уставу и воинской дисциплине, хотя я имею образование 5 кл.»

На этом месте его опять оборвали. Дверь отворилась, в каптерку кто-то вошел. Думая, что это Чонкин, старшина, не повернув головы, сказал:

– Выйди, постучись и войди снова.

Ему ответили:

– Я тебе постучусь.

Старшина волчком развернулся на табуретке, одновременно вытягиваясь, потому что увидел перед собой подполковника Пахомова.

– Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий... начал было он, приложив руку к пилотке, но подполковник его перебил:

– Где Чонкин?

– Отправлен для изучения Устава караульной и гарнизонной службы, – четко отрапортовал старшина.

– Куда отправлен? – не понял Пахомов.

– В казарму, товарищ подполковник, – отчеканил Песков.

– Ты что – сумасшедший? – заорал на него подполковник. – Его самолет ждет, а ты тут будешь уставами с ним заниматься. Я тебе по телефону что говорил? Немедленно позвать Чонкина и подготовить к отправке.

– Есть, товарищ подполковник! – Старшина кинулся к двери.

– Погоди. Сухой паек получили?

– Трофимович пошел и все нету. Может, с кладовщиком разговаривает?

– Я вот ему поразговариваю. Тащить его сюда вместе с продуктами!

– Сейчас я pošлю дневального, – сказал старшина.

– Отставить дневального! – сказал Пахомов. – Не дневального, а сам, и бегом! Погоди. Даю тебе пять минут. За каждую лишнюю минуту сутки ареста. Понял? Бегом!

Со старшиной подполковник разговаривал совсем не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор старшины с Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошадей, потому что она по своему положению была еще ниже его. А уж ниже лошади никого не было.

Выскочив на улицу, старшина поглядел на свои карманные часы, засек время и пошел было шагом, но потом, оглянувшись и увидев, что подполковник Пахомов следит за ним в окно, побежал.

Бежать было метров четыреста – в противоположный конец городка. На этом пути не было ни одного строения, за которым можно было бы укрыться и тайком от комбата передохнуть, и старшина Песков чувствовал себя, как на пристрелянной местности. Ему было двадцать пять лет, но за два года сверхсрочной службы он бегал только один раз и то по тревоге, когда уклониться от беганья не было никакой возможности. Отвычка от этого занятия давала себя знать, да и жара, надо сказать, стояла немалая.

На продуктовом складе было, как всегда, полутемно и прохладно. Редкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в стене и в крыше, пронизывали помещение, вырывая из полутьмы какие-то ящики, бочки, мешки и говяжьи туши, подвешенные к перекладине поперек склада. У полуоткрытых дверей сидел кладовщик Дудник и, подперев

подбородок рукой, дремал, разомлев от жары. Стоило ему заснуть, как подбородок соскальзывал с потной ладони. Дудник ударялся подбородком об стол, открывал глаза, смотрел на стол подозрительно и враждебно, но, не в силах устоять перед соблазном, снова подводил руку под подбородок.

Высунув язык, влетел на склад старшина Песков. Он опустился рядом с Дудником на ящик из-под крупы и спросил:

– Ты Трофимовича не видел?

Дудник снова трахнулся об стол и осоловело посмотрел на Пескова.

– Чего?

Старшина посмотрел с уважением на подбородок Дудника, который выдерживает такие удары.

– Зубы целы? – спросил он.

– Зубы-то ничего, – сказал Дудник, встряхивая головой и зевая. – Я вот боюсь – стол придется в ремонт отдавать. Кого ты спрашивал?

– Трофимович здесь был?

– А-а, Трофимович. Трофимович был, – сказал Дудник, закрывая глаза и снова подставляя руку под подбородок

– погоди ты спать. – Старшина потряс его за плечо. – Куда он пошел?

Не открывая глаз, Дудник махнул свободной рукой в сторону дверей:

– Туда.

Поняв, что толку от Дудника не добиться, старшина вышел наружу и остановился в раздумье. Куда идти? Он перебрал в уме все места, где мог бы быть Трофимович, но тот мог быть где угодно, и придумать сейчас что-нибудь более или менее вероятное старшине было не так-то просто. Он вынул карманные часы и посмотрел на них. С момента получения им приказа шла шестая минута. Старшина вздохнул. Он знал, что подполковник Пахомов слов на ветер никогда не бросает. И Песков вдруг только сейчас понял, что происходит, вероятно, что-то сверхважное, раз Чонкина отправляют куда-то на самолете. Может быть, сам Чонкин вдруг стал очень важным? Его, старшину Пескова, ни разу не возили на самолете. Мысль о важности происходящего заставила его мозг работать продуктивней, старшина еще раз прикинул, где именно мог прятаться Трофимович, и, уже не колеблясь, бросился к военторговскому магазину.

Песков не ошибся. Трофимович стоял в пустом магазине рядом с продавщицей Тосей и рассказывал ей содержание фильма «Сердца четырех»⁸⁷. На полу у его ног лежал вещмешок с сухим пайком для Чонкина.

Через минуту после этого подполковник Пахомов, взглянув в окно, увидел такую картину: по тропинке в сторону казармы, с вещмешком на плече, мелко подпрыгивал Трофимович; сзади, подталкивая его кулаком в спину, бежал старшина Песков.

К вечеру того же дня, сидя в отдельной камере батальонной гаупвахты, старшина Песков продолжал письмо своей невесте из города Котласа.

«А вообще, Люба, – писал он, – жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются своим положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над своими подчиненными. И, конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек отработал свои восемь часов на производстве, считает себя свободным, и, если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда подальше и правильно сделает».

⁸⁷ Популярная в СССР кинокомедия, снятая в 1941 году.

Вот уж правда, жизнь человека полна неожиданностей. Если бы в этот день все текло по намеченному плану, то Чонкин после политзанятий должен был привезти на кухню дрова, потом обед, потом – сон, после сна – баня. В бане обещали выдать новое обмундирование. (Чонкин уже рассчитывал отложить это обмундирование и две пары новых портянок на случай предстоящей демобилизации). После бани опять на конюшню, на склад за продуктами для ужина, потом вечером на открытой площадке концерт художественной самодеятельности.

И вдруг – трах-бах – вызвали в казарму, выдали винтовку, скатку, вещмешок, усадили в самолет, и через каких-нибудь полтора часа Чонкин был уже черт-те где, в какой-то деревне, о которой он до этого никогда не слышал и не подозревал, что она существует на свете.

Его еще мучило от только что перенесенного первый раз в жизни полета, а летчики (тот, который его сюда привез, и другой, который был здесь) зачехлили поломанный самолет, привязали его к земле, сели в исправный и улетели, как будто их здесь и не было, а Чонкин остался лицом к лицу с самолетом и толпой, окружавшей его. Но и толпа постепенно рассосалась, предоставив Чонкина самому себе.

Оставшись один, он обошел вокруг самолета, подергал элероны⁸⁸ и руль поворота, ударил ногой по колесу. И сплюнул. Зачем его охранять, от кого охранять и сколько времени, неизвестно. Подполковник Пахомов сказал – может, неделю, а может, и больше. За неделю можно с тоски подохнуть. Раньше, бывало, хоть с лошастью поговоришь, и то дело. Он вообще любил разговаривать с лошастью больше даже, чем с людьми, потому что человеку скажешь что-нибудь, да не то, еще и неприятностей наберешь на свою шею, а лошадь, ей чего не скажи, все принимает. Чонкин с ней беседовал, советовался, рассказывал про свою жизнь, про старшину, жаловался на Самушкина и на повара Шурку, лошадь понимала чего или не понимала, а махала хвостом, кивала головой реагировала. А с этим драндулетом разве поговоришь? Он же неодушевленный. Чонкин еще раз сплюнул и прошел от носа к хвосту и от хвоста опять к носу. Огляделся. Здешняя природа не нравилась ему совершенно. В трех сотнях шагов от него сквозь кусты ивняка блестела речка со странным названием Тепа. Чонкин не знал, что она так называется, но все равно было противно. Чахлый лесок, который тянулся ниже по течению Тепы, Чонкину не нравился еще больше, а уж обо всем остальном пространстве и говорить нечего. Земля была голая, бугристая и с камнями, деревня бедная. Два дома обиты тесом, остальные – из потемневших бревен, наполовину вросшие в землю, крытые какой дрянью, какой соломой.

Пусто в деревне. Сколько ни смотри, не увидишь человека живого. И ничего удивительного в этом нет: все на работе. А кто не на работе, те прячутся от жары по избам. Только пегий теленок, видно, отбилась от стада, лежит посреди дороги, высунув язык от жары.

Какой-то человек проехал на велосипеде по берегу речки граблями, привязанными за спиной.

– Эг-ге-эй! – прокричал ему Чонкин, но тот не остановился остановился, не обернулся, видать, не слышал.

Иван пристроил вещмешок на крыле самолета, развязал посмотреть, что там ему положили. В мешке лежали две буханки хлеба, банка мясных консервов, банка рыбных, банка концентратов, кусок колбасы, твердой, как дерево, и несколько кусочков сахара, завернутых в газету. На неделю, конечно, негусто. Знать бы заранее, спер бы что-нибудь в летной столовой, а теперь что ж...

⁸⁸ Элерон – аэродинамические органы управления, предназначенные для регулирования угла крена.

Прошел Чонкин опять вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Вообще, конечно, есть в его положении и приятное. Сейчас он не просто Чонкин, к которому можно запросто подойти, хлопнуть по плечу, сказать: «Эй ты, Чонкин», или, например, плюнуть в ухо. Сейчас он часовой – лицо неприкосновенное. И прежде чем плюнуть в ухо, пожалуй, подумаешь. Чуть что: «Стой! Кто идет?», «Стой! Стрелять буду!» Дело серьезное.

Но если посмотреть на это дело с другой стороны... Чонкин остановился и, прислонившись к крылу, задумался.

Оставили его здесь одного на неделю без всякой подмены. А дальше что? По Уставу часовому запрещается есть, пить, курить, смеяться, петь, разговаривать, отправлять естественные надобности. Но ведь стоять-то неделю! За неделю этот Устав хочешь не хочешь нарушишь! Придя к такой мысли, он отошел к хвосту самолета и тут же нарушил. Оглянулся вокруг ничего.

Запел песню:

Скакал казак через долину,

Через кавказские края...

Это была единственная песня, которую он знал до конца. Песня была простая. Каждые две строчки повторялись:

Скакал он садиком зеленым,

Кольцо блестело на руке...

Скакал он садиком зеленым,

Кольцо блестело на руке...

Чонкин помолчал и прислушался. Опять ничего! Хоть пой, хоть тресни, никому ты не нужен. Ему вдруг стало тоскливее прежнего, и он ощутил настоятельную потребность поговорить хоть с кем-нибудь хоть о чем-нибудь.

Оглядевшись, он увидел телегу, которая пылила по дороге в сторону деревни. Чонкин приставил ладонь козырьком, взгляделся: в телеге баб человек десять, сидят, свесив ноги за борт, а одна в красном платье, стоя, лошаадьми правит. Увидя это, Чонкин пришел в неопишное волнение, которое становилось тем больше, чем больше приближалась телега. Когда она совсем приблизилась, Чонкин и вовсе засуетился, застегнул воротник и рванул к дороге.

– Эй, девки! – закричал он. – Давай сюда!

Девки зашумели, засмеялись, а та, которая правила лошаадьми, прокричала в ответ:

– Всем сразу или через одну?

– Вали кулем, потом разберем! – махнул рукой Чонкин.

Девки зашумели еще больше и замахали руками, вроде бы приглашая Чонкина к себе в телегу, а та, что стояла, крикнула такое, что Чонкин даже оторопел.

– И-их, бабоньки-и! – от избытка чувств взвизгнул он, но его уже никто не мог слышать. Въехав в деревню, телега скрылась за поворотом, и только белая пыль долго еще висела в нагретом воздухе.

Все это подействовало на Чонкина самым приятным образом. Он оперся на винтовку, и вовсе не дозволенные Уставом мысли насчет женского пола начали овладевать им. Он по-прежнему все поглядывал вокруг себя, но теперь уже не просто так, не совсем без смысла, теперь он искал нечто совершенно определенное.

И нашел.

В ближайшем огороде он увидел Нюру Беляшову, которая после дневного отдыха снова вышла окучивать картошку. Она мерно махала тяпкой и поворачивалась к Чонкину разными сторонами. Он пригляделся и по достоинству оценил ее крупные формы.

Чонкина сразу к ней потянуло, но он посмотрел на самолет и только вздохнул. И снова стал ходить вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Но «туда» шагов, почему-то, получалось все больше, а обратно все меньше, и в конце концов он уткнулся грудью в забор из длинных кривых жердей. Это произошло для него самого настолько неожиданно, что, встретившись с вопросительным Нюриным взглядом, Чонкин понял, что должен объяснить как-то свой поступок, и объяснил его так.

– Попить охота, – сказал он и для убедительности ткнул себя пальцем в живот.

– Это можно, – сказала Нюра, – только вода у меня теплая.

– Хоть какая, – согласился Чонкин.

Нюра положила тяпку в борозду, пошла в дом и тут же вернулась с ковшиком из черного железа. Вода, правда, была теплая, невкусная, она пахла деревянной бочкой. Чонкин отпил немного, а остаток, нагнувшись, выплеснул себе на голову.

– И-эх, хорошо! – сказал он с преувеличенной бодростью. – Верно я говорю?

– Ковшик на сучок повесьте, – ответила Нюра, снова берясь за тяпку.

стреча с Чонкиным ее тоже взволновала, но она не подала виду и стала работать, ожидая, что он уйдет. А ему уходить не хотелось. Он постоял еще, помолчал и задал вопрос сразу по существу:

– Одна живете или с мужем?

– А вам зачем знать? – спросила Нюра.

– Из интересу, – ответил Чонкин.

– Одна или не одна, вас это не касается.

Этот ответ удовлетворил Чонкина. Он означал, что Нюра живет одна, но девичья гордость не позволяет ей отвечать прямо на такие вопросы.

– Может, помощи? – предложил Иван.

– Не надо, – сказала Нюра, – я уж сама.

Но Чонкин уже перекинул через забор винтовку и сам пролез между жердями. Нюра сперва поотнекивалась для приличия, а потом отдала Чонкину свою тяпку, а себе принесла из хлева другую. Вдвоем дело пошло веселее. Чонкин работал легко и быстро, чувствовалось, что не первый раз занимается он этим делом. Нюра сперва пыталась за ним угнаться, но потом, поняв, что попытка эта несостоятельна, безнадежно отстала. Когда они остановились для перекура, она заметила ему с любопытством:

– Сами, видать, деревенские.

– Неужто заметно? – удивился Чонкин.

– Как не заметить, – сказала Нюра, смущенно потупясь. – У нас тут городские были, помогать приезжали. Так иной раз стыдно смотреть. Тяпку в руках держать не умеют. Интересно, чему их там в городах учат?

– Известно чему, – сообразил Чонкин. – Сало деревенское жрать.

– То-то и есть, – согласилась Нюра.

Чонкин поплевал на ладони и принялся опять за работу. Нюра, идя следом, нет-нет да и поглядывала на нового своего знакомого. Она, конечно, сразу заметила, что и ростом он не очень-то вышел, и лицом не из самых красавцев, но ей при ее затянувшемся одиночестве и такой был хорош. А Чонкин, она приглядела, парень сноровистый и с хваткой, для хозяйства, сразу видно, полезный. И он нравился ей все больше и больше, и в душе ее даже затеплилось что-то похожее на надежду.

7

Нюра была совсем одинока. Более одинокой женщины не было во всей деревне, не считая бабы Дуни, но у той жизнь уже подходила к концу, а Нюре едва исполнилось

двадцать четыре года. Жизнь в самом расцвете, но для замужества возраст, пожалуй, уже и великоват. Другие, кто порасторопней, постарались выскочить до двадцати да уж и детей понарожали (у Нюриной ровесницы Тайки Горшковой зимой пятый мальчишка родился). И не было обидно, была бы хуже других, а то ведь нет. Ни лицом, ни фигурой бог не обидел, красавицей, может, и не была, но и уродиной никто не считал. Уж на что Нинка Курзова от рождения недостаток имела пятно в пол-лица, а и та нашла свое счастье, вышла замуж за Кольку и сейчас ходила на четвертом или пятом месяце.

Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, а у нее никого. Были два брата старших – она их не помнила. Один трех лет от роду во время пожара сгорел, другой, чуть побольше, от сыпного тифа помер.

Мать Нюры померла четыре года назад. До этого два года жаловалась на поясницу, все ее что-то ломало да горбило, от застуды ли, от тяжелой ли работы, кто знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть, да как лежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает, надо работать. И свое хозяйство тоже большое ли, малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за семь верст в Долгове. Семь верст туда да семь обратно. А лечение у него одно: на ночь ноги в горячей воде попарь и под ватное одеяло. К утру, мол, пройдет. Освобождения, если жару нет, не добьешься. Если, мол, всем освобождение давать, кто тогда будет работать?

Когда матери совсем худо стало, и она начала криком кричать, отец пошел к председателю (тогда еще другой был, не Голубев) лошадь просить, а тот говорит: «Специально дать не могу, а как будет попутная, пожалуйста». Когда попутная оказалась, она уж была ни к чему. Кладбище Красновское было рядом, за огородами, и покойницу отнесли туда на руках.

Отец Нюры пожил еще год в Красном, а потом, дуриком получив паспорт, подался в город на заработки. Работал там разнорабочим на строительстве электростанции, потом перешел в милицию, и односельчане, возившие продавать колхозные овощи, много раз видели его на рынке ходил в форме и с револьвером, гонял спекулянтов. Сперва он Нюре хоть изредка писал письма, а потом женился, у него родился ребенок, писал он все реже, а потом и совсем перестал, только изредка передавал приветы через знакомых.

С замужеством у нее ничего не вышло, может быть, еще и потому, что была от рождения робкого характера, не могла собою увлечь, что ли, и один ухажер бросил ее за то, что была молчалива, мол, не о чем даже поговорить; другой добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего он хотел, до замужества, и обиделся, что она ему не верит; третьему поверила, но он тоже бросил за то, что слишком легко согласилась. А женихов-то и сразу было немного, а чем дальше, тем меньше их становилось, таяли, как снег на ладони. Кто женился, кто ушел в армию и не вернулся, а для тех, которые подрастали, своих девчонок хватало. Так вот и получилось, что Нюра осталась одна.

Одиночество наложило особый отпечаток на ее жизнь. Взять хотя бы ее отношения со скотиной. У других, скажем, корова это корова. Ее кормят, доят, выгоняют в стадо, и все. А Нюра за своей коровой ухаживала, чистила ее, выбирала из шкуры колючки. И разговаривала с ней ласково, как с человеком, и делилась, если было что-нибудь вкусное (когда кусок сахара даст, когда пирожок), поэтому и корова к ней относилась тоже как человек к человеку. Стадо в деревню пригонят, она от стада оторвется и бежит со всех ног бегом к дому – соскучилась, значит. И играет с хозяйкой. Так ее рогом подденет, будто всерьез, а на самом деле легонько, шутя. Но если заметит, что кто-нибудь хочет Нюру обидеть, то тут уже не играет, а глаза кровью нальет, голову опустит и идет на обидчика – берегись!

А кабан Борька, тот и вовсе бегал за Нюрой, как собака. Нюра около двух лет взяла его в колхозе маленьким трехдневным поросенком, рассчитывая со временем зарезать. А поросенок попался чахленький, много болел. Нюра за ним тоже ухаживала, как за ребеночком. Кормила из соски молоком, клала на живот грелку, купала в корыте с мылом, повязывала платочком и укладывала с собой в постель. Выходила, а когда он подрос, не решилась зарезать. Так он и жил у нее вместо собаки, худой, грязный, носился по двору, гонял кур, провожал Нюру, когда она шла на почту, и встречал, когда возвращалась. А уж визгу-то было и радости, когда она возвращалась, на всю деревню.

Даже куры у нее были не такие, как у других. Сядет Нюра на крылечке, а они уж тут как тут. Которая на плечо заберется, которая на голову, и сидят, как на насесте, не шелохнутся. И Нюра не шевелится, боится спугнуть. В деревне из-за этого над Нюрой многие посмеивались, а она не обижалась, но думала, что, попади ей какой-нибудь человек, пусть хоть некрасивый и не очень умный, лишь бы хороший и к ней бы хорошо относился, а уж она тоже не осталась бы в долгу, раскрылась бы перед ним всей душой. И вот сейчас впереди нее шел по борозде, взмахивая тяткой, маленького роста человек в военной форме с красными ушами, торчащими из-под пилотки. Кто он, этот человек, чего хочет? Может, только время провести от скуки, а может, и нет, кто его знает. Сразу не угадаешь.

Летний день, какой ни длинный, а и он подошел к концу. Заметно стало движение воздуха, потянуло от речки Тепы прохладой, большое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком, коснулось краем дымного горизонта. Замычала на другом конце деревни скотина, и Нюра, оставив Чонкина на огороде, побежала встречать свою Красавку. По дороге сошлась с Нинкой Курзовой, она шла с длинным прутом, тоже встречала корову. Они пошли рядом.

– Ну как, картошку окучила? – спросила Нинка явно с ехидцей, уж вся деревня, конечно, обратила внимание, что Нюра на огороде работала не одна.

– Еще немного осталось, – сказала Нюра.

– Теперь-то с помощником легче, – подмигнула Нинка.

– Да уж, конечно, в четыре-то руки, – сказала Нюра и покраснела.

– Парень хоть хороший? – деловито осведомилась Нинка.

– Да кто его знает. – Нюра пожала плечами, – с первого разу нешто разберешь. Росточку маленького, но так, видать, работающий. Как пошел с тяткой вдоль борозды, так я за ним угнаться никак не могу.

– Ну-ну, – одобрила Нинка, – а звать-то как?

– Иваном, – гордо поведала Нюра, как будто имя было особенное.

– Холостой?

– А я и не спросила.

– Зря. Сразу спрашивать надо.

– Да вроде неудобно сразу-то.

– Напрямки неудобно, – убежденно ответила Нинка, – а так, вроде к слову, можно. Хотя, все равно соврет.

– А на что ему врать?

– Как не врать? – сказала Нинка. – Вся наша жизнь состоит из того, что мужики врут, а бабы верят. А этот еще и военный. Ему лишь бы время провести, да и все. А ты его так попытай, а еще постарайся и в документ заглянуть, хотя в ихних документах тож ничего может не быть, это не паспорт.

– Выходит, безвыходное положение? – спросила Нюра.

– Выходит, так.

– А я ему почему-то верю, – сказала Нюра. – Непохоже, чтоб врал.

– Если веришь, дело твое, – равнодушно сказала Нинка, – но я б на твоём месте его раньше времени до себя не допускала.

– А кто ж допускает? – смутилась Нюра.

– А я не говорю, что допускаешь, а можешь допустить. А они, мужики, да ещё военные, у них привычка такая свое дело справит, а потом над тобой же и посмеется.

Тут Нинка отскочила к забору, потому что на дороге показалась Красавка, которая галопом неслась по деревне, а за ней, не отставая, бежала маленькая собачонка и отчаянно тявкала. Красавка неслась прямо на Нюру с такой скоростью, что, казалось, никакая сила её теперь не остановит, но перед самой Нюрой остановилась как вкопанная.

– Вот сатана какая, – испуганно сказала Нинка. – Гляди, Нюрка, кабы не вздела она тебя на рога.

– Ничего, меня не взденет, – сказала Нюра уверенно и почесала Красавке лоб между рогами. Та запыхалась от быстрого бега и дышала шумно, широко раздувая ноздри.

– А моей заразы что-то не видать, – сказала Нинка. – Побегу, как бы в огород к кому не залезла. Заходи болтаться, – как всегда пригласила она. – Песни попоем, посмеемся.

И пошла дальше, помахивая хворостиной.

На обратном пути Нюра забежала к бабе Дуне и купила у неё поллитровочку самогону. Она боялась, что баба Дуня начнет расспрашивать, для чего самогон, и придумала сказать, что будто должен приехать отец. Но баба Дуня сама уже напробовалась своего зелья до того, что ей все было неинтересно.

Когда Нюра подоила корову и вышла на крыльцо, Чонкин закончил уже последнюю грядку и сидел на траве, курил.

– Устали? – спросила Нюра.

– Плевать, – сказал Чонкин. – Мне эта работа только для развлечения.

– Я там на стол собрала, – преодолев в себе робость, сказала Нюра.

– На стол? – У Чонкина загорелись глаза, но он тут же вспомнил о своём положении и только вздохнул. Нельзя мне. С удовольствием бы, да нельзя. У меня вон стоит. С досадой он махнул рукой в сторону самолета.

– Да, господи, кто его тронет! – горячо сказала Нюра. – У нас тут такой народ живет, избы не запирают.

– Неужто не запирают? – спросил Чонкин с надеждой. – И что ж, ни разу не бывало таких случаев, чтобы кто-нибудь чего-нибудь?..

– Да что вы, – сказала Нюра. – Я вот за всю жизнь и не припомню такого. Это вот ещё, когда я совсем маленькая была, ещё до колхоза, у Степана Лукова, вон он там живет за конторой, лошадь пропала, так и то думали цыгане, а потом нашли её, переплыла на тот берег.

– Ну, а если пацаны там захотят чего отвернуть? – постепенно сдавался Чонкин.

– Пацаны уже спать полегли, – сказала Нюра.

– Ну ладно, – решил Иван, – минут на десять, пожалуй, зайду.

Он взял свою винтовку. Нюра собрала тяпки.

В первой половине избы чисто убрано. На широком столе стояли бутылка, заткнутая тряпицей, два стакана и две тарелки: одна с вареной картошкой, другая с огурцами. Чонкин сразу оценил, что не хватает мясного, и, оставив винтовку в избе, сбегал к самолету за вещмешком. Колбасу Нюра тут же крупно порезала, а консервы вскрывать не стали, не хотелось возиться.

Чонкина Нюра усадила на лавку к стене, а сама села напротив на табуретку. Чонкин разлил самогон: себе полный стакан, Нюре – половину, больше она не разрешила. Чонкин поднял свой стакан и произнес тост:

– Со встречей!

После второго стакана Чонкина развезло. Он расстегнул гимнастерку, снял ремень и сидел, привалясь спиной к стене, и о самолете больше не думал. В наступивших сумерках, как в тумане, перед ним плавало лицо Нюры, то раздваиваясь, то снова собираясь в единое целое. Чонкин чувствовал себя весело, легко и свободно, и непослушным движением пальца он поманил к себе Нюру и сказал ей:

– Поди сюда.

– А зачем? – спросила Нюра.

– Просто так.

– Просто так можно и через стол говорить, – сопротивлялась она.

– Ну иди, – жалобно сказал он, – я ж тебя не укушу.

– Ни к чему все это, – сказала Нюра и, обойдя стол, села слева от Чонкина на некотором расстоянии.

Они помолчали. На противоположной стене громко стучали старые ходики, но их в темноте не было видно. Время шло к ночи.

Чонкин глубоко вздохнул и придвинулся к Нюре. Нюра вздохнула еще глубже и отодвинулась. Чонкин снова вздохнул и придвинулся. Нюра снова вздохнула и отодвинулась. Скоро она очутилась на самом краю лавки. Двигаться дальше было опасно.

– Чтой-то холодно стало, – сказал Чонкин, кладя левую руку ей на плечо.

– Да не так уж и холодно, – возразила Нюра, пытаясь сбросить его руку с плеча.

– Чтой-то руки замерзли, – сказал он и правой полез ей за пазуху.

– А вы вообще-то всегда на эроплане летаете? – спросила она, предпринимая последнюю, отчаянную попытку освободиться.

– Всегда, – сказал он, просовывая руку у нее под мышкой за спину, чтобы расстегнуть лифчик.

8

Был не то день, не то вечер, не то свет, не то сумерки. Чонкин проснулся от того, что почувствовал: кто-то угоняет его самолет. Он вскочил с постели, на которой рядом с ним никого не было, и выбежал на крыльцо. Тут он увидел Самушкина, который торопливо запрягал в самолет белую лошадь, похожую на Чалого. «Ты что делаешь?» – закричал Чонкин, но Самушкин, ничего не ответив, быстро вскочил в кабину и хлестнул лошадь концами вожжей. Лошадь подпрыгнула и, перебирая ногами, легко полетела над самой землей, а за ней над самой землей полетел самолет. На нижнем крыле, свесив ноги, сидели те самые девки, которые днем проезжали мимо Чонкина в телеге, среди них сидела и Нюра, она махала ему тяткой, чтобы он догонял. Чонкин побежал за самолетом, и казалось, вот-вот догонит, но самолет ускользал от него, а бежать было все труднее, мешали перекинута через плечо скатка⁸⁹ и винтовка, которую он держал в руке. Он подумал, что винтовка ему совершенно не нужна, потому что старшина забыл выдать патроны, и, бросив винтовку, побежал гораздо быстрее. Вот он уже почти настиг самолет и хотел ухватиться за протянутую Нюрой тятку, как вдруг вырос перед ним старшина и грозно спросил: «Ты почему не приветствуешь?» Он на минутку остановился перед старшиной, не зная, то ли отвечать ему, то ли дальше гнаться за самолетом, а старшина опять закричал: «А ну-ка пройди мимо столба и десять раз поприветствуй его!» Чонкин стал торопливо озираться, чтобы побыстрее выполнить приказание старшины, пока самолет еще не улетел далеко, но столба нигде не было видно.

⁸⁹ Скатка – шинель, свернутая особым образом в трубку и связанная в концах для ношения через плечо.

«Значит, ты не видишь этот столб! – закричал старшина. – А вот я тебе глаз сейчас выну, тогда ты у меня все увидишь что нужно!» С этими словами старшина подошел к нему, вынул правый глаз, протянул вперед, в пространство, и этим вынутым глазом Чонкин действительно увидел перед собой растресканный столб, на котором горела лампочка. Он еще подумал: зачем она, интересно, горит, если и без нее свету достаточно? Он взял у старшины собственный глаз и пошел по направлению к столбу, но вспомнил про самолет и оглянулся.

Самолет был тут же, за его спиной. Он неподвижно парил в воздухе над самой землей, а лошадь беспомощно перебирала ногами, но не могла сдвинуться с места. «Надо бы ее подковать», подумал он и увидел старшего политрука Ярцева, который вышел из-за горы и манил его пальцем. Чонкин оглянулся на старшину, чтобы спросить у него разрешение, но старшина уже был занят другим: он скакал на каптенармусе Трофимовиче по какому-то укатанному кругу, а посреди круга стоял подполковник Пахомов и стегал длинным бичом то одного, то другого.

Когда Чонкин подошел к Ярцеву, тот наклонился к самому его уху, а Чонкин испугался и закрыл ухо ладонью. «Не бойся, не плюнет», – сказал сзади Самушкин. Иван убрал руку. Ярцев тут же превратился в жука и залез к нему в ухо. Чонкину стало щекотно, он хотел вытряхнуть Ярцева, но тот тихо сказал: «Не волнуйтесь, товарищ Чонкин, вы лицо неприкосновенное, и я вам сделать ничего не могу. Мне поручено сообщить вам, что у товарища Сталина никаких жен не было, потому что он сам женщина».

Сказав это, Ярцев опять превратился в человека, спрыгнул на землю и ушел за гору.

Тут с неба медленно спустился товарищ Сталин. Он был в женском платье, с усами и с трубкой в зубах. В руках он держал винтовку.

– Это твоя винтовка? – строго спросил он с легким грузинским акцентом.

– Моя, – пробормотал Чонкин заплетающимся языком и протянул руку к винтовке, но товарищ Сталин отстранился и сказал:

– А где старшина?

Подлетел старшина верхом на Трофимовиче. Трофимович нетерпеливо рыл землю копытом, пытаясь сбросить с себя старшину, но тот крепко держал его за уши.

– Товарищ старшина, – сказал Сталин, – рядовой Чонкин покинул свой пост, потеряв при этом боевое оружие. Нашей Красной Армии такие бойцы не нужны. Я советую расстрелять товарища Чонкина.

Старшина медленно слез с Трофимовича, взял у товарища Сталина винтовку и приказал Чонкину:

– Ложись!

Чонкин лег. Под ним была пыль, топкая пыль, которая его засасывала, лезла в рот, в уши, в глаза. Он пытался разгрести пыль руками, ждал команду «отставить», но команды не было, и он проваливался все глубже и глубже. Тут его затылка коснулось что-то холодное, он понял, что это ствол винтовки, что сейчас грянет выстрел...

...Он проснулся в холодном поту. Рядом с ним, прислонившись к его плечу, спала какая-то женщина, он не сразу вспомнил, кто эта женщина и как они очутились в одной постели. Только увидев свою винтовку, спокойно висевшую на вешалке для верхней одежды, все вспомнил, соскочил на холодный пол и, наступая на завязки кальсон, кинулся к окну.

За окном светало. Самолет стоял на прежнем месте, его большие нелепые крылья резко чернели на фоне просветлевшего неба. Чонкин облегченно вздохнул и, оглянувшись, встретился с Нюриным взглядом. Нюра хотела закрыть глаза, но не успела, теперь не смотреть было глупо, а смотреть стыдно. И стыдно было, что рука ее, пухлая, белая, голая до плеча, лежит поверх одеяла. Нюра медленно потянула руку вбок, чтобы спрятать, и при этом улыбнулась смущенно. Чонкин тоже смутился, но, не желая этого

показывать и не зная, что делать, шагнул к Нюре, взял ее руку в свою, потряс легонько и сказал:

– Здравствуйте.

В то утро бабы, выгонявшие в поле скотину, видели, как из дома Нюры, босой и без гимнастерки, вышел Чонкин.

Подойдя к самолету, он долго отвязывал его, потом разобрал часть забора, вкатил самолет в огород, а забор снова заложил жердями.

9

Отличительной чертой председателя Голубева была неодолимая склонность к сомнениям. Когда жена утром спрашивала:

– Что будешь есть – яичницу или картошку?

Он отвечал:

– Давай картошку.

Она доставала из печи чугунок с картошкой, и в эту секунду он знал совершенно определенно, что хочет яичницу.

Жена запихивала чугунок обратно и шла в сени за яйцами. Возвращаясь, встречалась с виноватым взглядом мужа – он снова хотел картошку.

Иногда он даже сердился:

– Давай что-нибудь одно, не заставляй меня думать про глупости.

Право на выбор его всегда тяготило. Он невыносимо мучался, когда раздумывал, какую сегодня надеть рубашку, зеленую или синюю, какие сапоги – старые или новые.

Правда, за последние двадцать с лишним лет в стране много было сделано для того, чтобы Голубев не сомневался, но какие-то сомнения у него все-таки оставались и распространялись порой даже на такие вещи, в которых вообще сомневаться в то время было не принято. И не зря второй секретарь райкома⁹⁰ Борисов говорил иногда Голубеву:

– Ты эти свои сомнения брось. Сейчас надо работать а не сомневаться.

И еще он говорил:

– Помни, за тобой ведется пристальное наблюдение.

Впрочем, он говорил это не только Голубеву, но и многим другим. Какое наблюдение и как именно оно ведется, Борисов не говорил, может, и сам не знал.

Однажды Борисов проводил в райкоме совещание председателей колхозов по вопросам повышения урожайности за текущий квартал. Колхоз Голубева занимал среднее положение по показателям, его не хвалили и не ругали, он сидел и разглядывал новый гипсовый бюст Сталина, стоявший возле окна на коричневом подцветочнике. Когда совещание окончилось и все стали расходиться, Борисов задержал Голубева. Остановившись возле бюста вождя и машинально погладив его по голове, секретарь сказал:

– Вот что, Иван Тимофеич, парторг⁹¹ твой Килин говорит, что ты мало внимания уделяешь наглядной агитации. В частности, не дал денег на диаграмму роста промышленного производства.

– Не дал и не дам, – твердо сказал Голубев. – Мне коровник не на что строить, а ему только диаграммы свои рисовать, трынкать колхозные деньги.

– Что значит трынкать, – сказал секретарь. – Что значит трынкать? Ты понимаешь, что ты говоришь?

⁹⁰ Райком – районный комитет партии, высший орган партийной власти в районе.

⁹¹ Парторг (партийный организатор) – представитель партийной власти в коллективах, на местах.

– Я понимаю, – сказал Иван Тимофеевич. – Я все понимаю. Только жалко мне этих денег. Их в колхозе и так не хватает, не знаешь, как дыры заткнуть. А ведь вы потом сами с меня три шкуры сдерете, потому что я председатель.

– Ты в первую очередь коммунист, а потом уже председатель. А диаграмма – это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, который это недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, ошибка или твердое убеждение, и если будешь дальше держаться той же позиции, мы тебя еще проверим, мы в самую душу к тебе заглянем, черт тебя подери!

Рассердившись, Борисов хлопнул Сталина по голове и затряс рукой от боли, но тут же выражение боли на его лице сменилось выражением страха.

У него сразу пересохло во рту. Он раскрыл рот и смотрел на Голубева, не отрываясь, словно загнипнотизированный. А тот и сам до смерти перепугался. Он хотел бы не видеть этого, но ведь видел же, видел! И что теперь делать?

Сделать вид, что не заметил? А вдруг Борисов побежит каяться, тогда он-то выкрутится, а ему, Голубеву, достанется за то, что не заявил. А если заявить, так ведь тоже за милую душу посадят, хотя бы за то, что видел.

У обоих на памяти была история, когда школьник стрелял в учительницу из рогатки, а попал в портрет и разбил стекло. Если бы он выбил учительнице глаз, его бы, возможно, простили по несовершеннолетию, но он ведь попал не в глаз, а в портрет, а это уже покушение, ни больше ни меньше. И где теперь этот школьник, никто не знал...

Первым из положения вышел Борисов. Он суетливо вытащил из кармана металлический портсигар и, раскрыв его, сунул Голубеву. Тот заколебался брать или не брать. Потом все же решился, взял.

– Да, так о чем мы с тобой говорили? – спросил Борисов как ни в чем не бывало, но на всякий случай отходя от бюста подальше.

– О наглядной агитации, – услужливо напомнил Голубев, приходя понемногу в себя.

– Так вот я говорю, – сказал Борисов уже другим тоном, – нельзя, Иван Тимофеевич, недооценивать политическое значение наглядной агитации, и прошу тебя по-дружески, ты уж об этом позаботься, пожалуйста.

– Ладно уж, позабочусь, – хмуро сказал Иван Тимофеевич, торопясь уйти.

– Вот и договорились, – обрадовался Борисов, он взял Голубева под руку и, провожая до дверей, сказал, понижая голос: И еще, Ванюша, хочу тебя как товарища предупредить, учти за тобой ведется пристальное наблюдение.

Голубев вышел на улицу. Стоял, по-прежнему, сухой и солнечный день. Председатель отметил это с неудовольствием, пора бы уже быть и дождю. Его лошадь, привязанная к железной ограде, тянулась к кусту крапивы, но не могла дотянуться. Голубев забрался в двуколку, отпустил вожжи. Лошадь прошла один квартал и сама, без всякого приказа, по привычке остановилась напротив деревянного дома с вывеской «Чайная». Возле чайной стояла подвода с бидонами из-под молока, председатель сразу же определил, что подвода из его колхоза. Лошадь была привязана к столбу. Голубев привязал к этому же столбу и свою лошадь, поднялся по шатким ступеням крыльца и открыл дверь. В чайной пахло пивом и кислыми щами. Женщина, скуцавшая за стойкой, сразу обратила внимание на вошедшего.

– Здравствуйте, Иван Тимофеевич.

– Здорово, Анюта, – ответил председатель, кидая взгляд в угол.

Там Плечевой допивал свое пиво. При появлении председателя он встал.

– Ничего, сиди, – махнул ему Голубев и подождал, пока Анюта нальет ему обычную порцию сто пятьдесят водки и кружку пива. Водку, как всегда, вылил в пиво и пошел в угол к Плечевому. Тот опять попытался встать, но Голубев придержал его за плечо.

– Молоко сдавал? – спросил председатель, отхлебывая из кружки.

– Сдавал, – сказал Плечевой. – Жирность, говорят, маловата.

– Перебьются, – махнул рукой Голубев. – А чего сидишь?

– А я тут Нюрку встретил, почтальоншу, да и обещался ее подвезти, – объяснил Плечевой. Вот дожидаю.

– Что, живет она со своим красноармейцем? – поинтересовался Иван Тимофеевич.

– А чего ж ей не жить, – сказал Плечевой. – Он у ней заместо домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник Нюркин наденет и ходит, как баба, занимается по хозяйству, да. Я-то сам не видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает. – Плечевой засмеялся. – Ей-богу, вот сколь живу, а такого, чтоб мужик в бабском переднике ходил да еще вышивал бы, не видел. И ведь вот что интересно: прислали его будто бы на неделю, полторы прошло, а он и не чухается, да. Я вот, Иван Тимофеевич, не знаю, может, это все от темноты, но народ думку такую имеет, что не зря он, этот армеец, сидит тут, а некоторые прямо считают в виде следствия.

– Какого следствия? – насторожился председатель.

Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект.

– А кто его знает, какого, – сказал он. – Только понятно, что зазря его здесь держать не будут, да. Если эроплан сломатый, значит, его надо чинить. А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить. Чего же даром человека держать. Вот потому-то народ, Иван Тимофеич, и сомневается. Слух есть, – Плечевой понизил голос и приблизился к председателю, что колхозы распуцать будут обратно.

– Ну, это ты брось, – сердито сказал председатель. – Не будет этого никогда, и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать.

Он допил свой «ерш» и поднялся.

– Ты, Плечевой, вот что, – сказал он напоследок, – если Беляшовой долго не будет, не жди, нечего. И своим ходом дойдет, невелика барыня.

Попрощавшись с Анютой, он вышел, сел на двуколку и поехал домой. Но сказанное Плечевым запало ему в душу и соединилось со словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не похож на такого, которого можно подослать. Но ведь и те, кто посылает, тоже не дураки, они такого и не пошлют, чтобы сразу было видно, что он подослан. Если бы знать это точно! Но как узнаешь? И тут у Голубева родилась дерзкая мысль: «А что, если подойти к этому красноармейцу, стукнуть кулаком по столу, говори, мол, по какому заданию ты здесь сидишь и кто тебя на это направил?» А если даже за это и будет чего, так уж лучше сразу, чем так-то вот ждать неизвестно какой опасности.

10

Итак, полторы недели прошло с тех пор, как Чонкин попал в Красное и поселился у Нюры. Он здесь уже прижился, со всеми перезнакомился, стал своим человеком, и не было никаких намеков на то, что его отсюда когда-нибудь заберут. Нельзя сказать, чтобы Чонкину такая жизнь не нравилась. Наоборот, ни подъема, ни отбоя, не говоря уже о физзарядке или политзанятиях. Хотя и в армии в смысле еды он неплохо устроился, но здесь-то хлеб, молоко, яички, все свежее, лучок прямо с грядки да еще баба под боком – чем не жизнь? Да на месте Чонкина любой согласился бы стоять на таком посту до самой демобилизации, а еще годок-другой прихватил бы сверхсрочно. И все-таки в положении Чонкина было что-то такое, что не давало ему жить спокойно, а именно то, что оставили его здесь вроде бы на неделю, но неделя эта прошла, а из

части ни слуху ни духу, никаких дальнейших распоряжений. Если решили задержать, то надо сообщить как-нибудь, да и сухой паек не мешало б пополнить. Это хорошо, что он здесь так пристроился, а то давно бы уже зубы на полку.

Последние дни каждый раз, выходя на улицу, Чонкин задирает голову и глядел в небо, не появится ли там медленно растущая точка, и прикладывает к уху ладонь, не послышится ли приближающийся рокот мотора. Да нет, ничего не было видно, ничего не было слышно.

Не зная, что предпринять, и отчаявшись, Чонкин решил обратиться за советом к умному человеку. Таким человеком оказался сосед Нюры Кузьма Матвеевич Гладышев. Кузьму Гладышева не только в Красном, но и во всей округе знали как человека ученого. Об учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано «Water closet».

Занимая неприметную и низкооплачиваемую должность колхозного кладовщика, Гладышев зато имел много свободного времени для пополнения знаний и держал в своей маленькой голове столько различных сведений из различных областей, что люди, знакомые с ним, только вздыхали завистливо и уважительно вот это, мол, да! Многие утверждали, что, разбуди Гладышева в двенадцать часов ночи и задай ему любой вопрос, он не задумываясь даст на него самый обстоятельный ответ и любое явление природы объяснит с точки зрения современной науки, без участия потусторонних божественных сил.

Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковноприходской школе⁹², где он окончил всего лишь два класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки. Надо еще отметить, что в освобожденном уме Гладышева и раньше возникало много оригинальных научных идей. Каждый жизненный факт не проходил мимо него незамеченным, а наталкивал его на различные мысли. Увидит, скажем, Кузьма на печи тараканов и думает: а нельзя ли, мол, их связать между собой и направить в одну сторону? Это ж такая сила получится, что ее можно с выгодой использовать в сельском хозяйстве. Посмотрит на облачко и думает: а нельзя ли замкнуть его в оболочку для использования в качестве аэростата? Говорят (теперь это трудно проверить), что именно Гладышев первым, задолго до профессора Шкловского⁹³, высказал предположение об искусственном происхождении спутников Марса.

Но, помимо всех этих попутных идей, была у Гладышева еще и такая, которой решил он посвятить всю свою жизнь и посредством ее обессмертить свое имя в науке, а именно: вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко⁹⁴, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, то есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени «Путь с социализму», или сокращенно «ПУКС», и намерен был распространить свои опыты на всю территорию родного колхоза, но ему этого не позволили, пришлось ограничиться пределами

⁹² Церковноприходская школа – начальная школа при церковном приходе.

⁹³ Шкловский Иосиф Самуилович (1916–1985) – советский астроном, основатель школы современной астрофизики.

⁹⁴ Мичурин Иван Владимирович (1855–1935) – известный биолог, селекционер; Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) – советский агроном и биолог.

собственного огорода. Вот почему ему приходилось покупать картошку и помидоры у соседей.

Опыты эти пока что реальных результатов не давали, хотя некоторые характерные признаки пукса стали уже проявляться: листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни точь-в-точь помидорные. Но, несмотря на многочисленные неудачи, Гладышев не унывал, понимая, что настоящее нучное открытие требует труда и немалых жертв. Люди, знающие об этих опытах, относились к ним с недоверием, однако кто-то Гладышева заметил и поддержал, чего не могло быть в проклятое царское время.

Однажды в районной газете «Большевицкие темпы» был напечатан о Гладышеве большой, в два подвала⁹⁵, очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке. В своих изысканиях и в борьбе с рутинной Гладышев опирался еще на отзыв одного сельхозакадемика, хотя отзыв был отрицательный.

На письмо, направленное ему лично, академик ответил, что опыты, проводимые Гладышевым, антинаучны и бесперспективны. Тем не менее, он советовал Гладышеву не падать духом и, ссылаясь на пример древних алхимиков, утверждал, что в науке никакой труд не бывает напрасным, можно искать одно, а найти другое. И письмо это, несмотря на его смысл, произвело на адресата сильное впечатление, тем более, что напечатано было на официальном бланке солидного учреждения, где Гладышева называли «уважаемый товарищ Гладышев» и где академик собственноручно поставил подпись. И на всех, кто читал письмо, это тоже производило известное впечатление. Но когда самородок, в который-то раз, начинал с кем-нибудь обсуждать перспективы, которые откроются перед миром после внедрения пукса, люди скучнели, отходили в сторону, и Гладышев, подобно многим научным гениям, испытывал состояние полного одиночества, пока не подвернулся под руку Чонкин.

Гладышев любил рассказывать о своем деле, а Чонкин от скуки был не прочь и послушать. Это их сблизило, и они подружились. Бывало, Чонкин выберется на улицу по делу или так просто, а Гладышев уже копается в своем огороде окучивает, пропальвает, поливает. И всегда в одном и том же костюме: кавалерийские галифе, заправленные в потертые яловые сапоги, старая, драная майка и широкополая соломенная шляпа в виде сомбреро, где он только нашел ее, непонятно.

Чонкин помашет селекционеру рукой:

- Слышь, сосед, здорово!
- Желаю здравствовать, – вежливо ответит сосед.
- Как жизнь? – поинтересуется Чонкин.
- Тржусь, – последует скромный ответ.

Так слово за слово и течет разговор, плавный, непринужденный.

- Ну, когда ж у тебя картошка-то с помидором вырастет?
- Погоди, еще рано. Всему, как говорится, свой срок.

Сперва еще отцвести должно.

- Ну, а если и в этом году опять не получится, что будешь делать? – любопытствует Чонкин.

⁹⁵ Подвал – колонка внизу газетной полосы.

– В этом должно получиться, – с надеждой вздыхает Гладышев. – Да ты сам посмотри. Стебель получается вроде картофельный, а на листе нарезь, как на томате. Видишь?

– Да кто его знает, – сомневается Чонкин, – сейчас пока вроде не разберешь.

– Ну как же не разберешь? – обижается Гладышев. – Ты погляди, кусты-то какие пышные.

– Насчет пышности, это да, – соглашается Чонкин. И лицо его оживляется. У него тоже возникла идея. Слышь, а так не может получиться, чтобы помодоры были внизу, а картошка наверху?

– Нет, так не может быть, – терпеливо объясняет Гладышев. – Это противоречило бы законам природы, потому что картофель есть часть корневой системы, а томаты наружный плод.

– А вообще-то было бы интересно, – не сдается Чонкин.

Для Гладышева вопросы Чонкина, может, и кажутся глупыми, но чем глупее вопрос, тем умнее можно на него ответить, поэтому оба вели эти разговоры с большим удовольствием. С каждым днем дружба их крепла. Они уже договаривались, чтобы встретиться по-семейному: Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой⁹⁶ (так звал ее Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей).

11

В этот день Чонкин успел переделать кучу дел. Натаскал воду, наколот дров, накормил отрубями кабана Борьку и сварил обед для себя и для Нюры. После этого он обычно, как был, в Нюрином переднике садился к окошку и, подперев голову рукой, подждал Нюру. А другой раз, чтобы время быстрее текло, садился к окну с вышиванием. Посмотреть на солдата, который сидит в женском переднике у окна да еще занимается вышиванием, смех, но что делать, если Чонкину нравилось вышивать? Интересно ему было, когда из разноцветных крестиков складывалось изображение петуха, или розы, или еще чего-нибудь.

Сейчас он тоже начал вышивать, но работа не клеилась, мысли о неопределенности его положения отвлекали.

Несколько раз он выходил на крыльцо поговорить с Гладышевым, но того не было, а зайти к нему домой, беспокоить Чонкин стеснялся, тем более что до этого ни разу не заходил.

Чтобы как-то убить время, занялся более тупой, чем вышивание, работой – вымыл полы. Грязную воду вынес за калитку и выплеснул на дорогу.

Девочка лет пяти в цветастом ситцевом платье играла возле забора с кабаном Борькой: сняла с головы шелковый бантик и повязала Борьке на шею. Борька вертел шеей, пытаясь разглядеть бантик, но это ему не удавалось. Увидев Чонкина, девочка поспешно сняла бантик с Борьки и зажала в руке.

– Ты чья будешь, девочка? – спросил Иван.

– Я-то Килина, а ты чей?

– А я сам свой, – усмехнулся Иван.

– А я папина и мамина, – похвасталась девочка.

– А кого ты больше любишь – папу или маму?

– Сталина, – сказала девочка и, смутившись, убежала.

– Ишь ты, Сталина. – Глядя ей в след, Чонкин покачал головой.

Впрочем, Сталина он по-своему тоже любил.

⁹⁶ Афродита – в древнегреческой мифологии богиня красоты и любви.

Помахивая пустым ведром, направился он назад к дому, и в это время на свое крыльцо вылез Гладышев, взлохмаченный, с красными полосками на щеке.

– Слышь, сосед! – обрадовался Чонкин. – А я тебя тут дожидаю уже более часу, куда это, слышь, думаю, запропал?

– Соснул я малость, – смущенно сказал Гладышев, потягиваясь и зевая. – После обеда книжку прилег почитать по части селекции растений, а оно, вишь, разморило. Жара-то какая стоит, прямо наказание. Не будет дождя, так все чисто попалит.

– Слышь, сосед, – сказал Чонкин, – хошь табачку? У меня самосад крепкий, аж в горле дерет. Нюрка вчера на рынке в Долгове купила.

Он отогнул передник, достал из кармана масленку из-под ружейного масла, набитую табаком, и газету, сложенную книжечкой.

– Табак для здоровья – вреднейшее дело, – изрек Гладышев, подходя к жердевому забору, разделявшему два огорода. Ученые подсчитали, что капля никотина убивает лошадь.

Однако от угощения отказываться не стал. Закурил, закашлялся.

– Да уж табачок-крепачок, – одобрил он.

– Табачок самсон, молодых на это дело, стариков на сон, – поддержал Чонкин. – А у меня к тебе, слышь, сосед, дело есть небольшое.

– Какое ж дело? – скосил на него глаза Гладышев.

– Да дело-то зряшное, ерунда совсем.

– Ну, а все-таки?

– Да так, не стоит даже и говорить.

– Ну, а не стоит – не говори, – рассудил Гладышев.

– Это, конечно, правильно, – согласился Чонкин. – Но, с другой стороны, как же не говорить? Прислали меня сюда на неделю, и сухой паек на неделю, а прошло уже полторы, а меня не берут. И опять же насчет сухого пайка никакого известия. Значит, я что же, выходит, должен жить за счет бабы?

– Да, это нехорошо, – сказал Гладышев. – Ты теперь называешься – Альфонс.

– Ну, это ты брось, – не согласился Чонкин. – Ты, слышь, жену свою как хошь называй, хоть горшком, а меня зови по-прежнему Ваней. Так вот я тебе к чему говорю. Письмишко надо составить к моему командиру, что я есть и как мне быть дальше. Ты-то человек грамотный, а я вообще-то буквы понимаю, а пишу плохо. В школе еще кой-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все на лошади да на лошади знай тyani вожжу то вправо, то влево, а грамоты там никакой и не нужно.

– А расписываться умеешь? – спросил Гладышев.

– Нет, это-то я могу. И читать, и расписываться. Я, слышь, знаешь, как расписываюсь? Сперва пишу «И», потом «Ч», потом кружочек, и дальше все буква к букве, и в конце такую черточку с вывертом, и на всю страницу от края до края. Понял?

– Понял, – сказал Гладышев. – А бумага, чернила у тебя есть?

– А как же, – сказал Иван. – Нюрка-то, она почтальоншей работает. Тоже работа, тебе скажу, не для каждого. Голову надо большую иметь.

– Ну ладно, – наконец согласился Гладышев, – пошли к тебе, а то у меня там баба с дитем, будут мешать. А это дело серьезное, тут надо писать политически выдержанно. Через час политически выдержанный документ был составлен.

Выглядел он так:

Командиру батальона тов. Пахомову от рядового красноармейца тов. Чонкина Ивана

Р А П О Р Т

Разрешите доложить, что за время Вашего отсутствия и моего присутствия на посту, а именно по охране боевой техники самолета, никаких происшествий не случилось, о чем

сообщаю в письменном виде. А также разрешите доложить, что воспитанный в духе беззаветной преданности нашей Партии, Народу и лично Великому Гению тов. Сталину И. В., я готов и в дальнейшем беспрекословно служить по защите нашей Социалистической Родине и охране ее Границ, для чего прошу выдать мне сухой паек на неопределенное время, а также недополученный мною комплект обмундирования.

В моей просьбе прошу не отказать.

К сему остаюсь...

Складно, – одобрил Чонкин сочинение Гладышева и поставил свою подпись, как обещал, через всю страницу.

Гладышев написал еще и адрес на приготовленном Чонкиным конверте без марки и ушел довольный.

Чонкин положил конверт на стол, взял растянутую на пальцах салфетку и сел к окошку. За окном было уже не так жарко, солнце клонилось к закату. Скоро должна была прийти Нюра, кабан Борька поджидал ее уже на бугре за деревней.

12

Привязав лошадь у Нюриной калитки, председатель Голубев поднялся на крыльцо. Нельзя сказать, чтобы он при этом сохранял полное присутствие духа, скорее наоборот, он входил в Нюрин дом, испытывая ,примерно, такое волнение, как входя к первому секретарю райкома. Но он еще по дороге решил, что войдет, и сейчас не хотел отступать от этого своего решения.

Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Чонкин при его появлении испуганно и растерянно шарил глазами по комнате, ища, куда бы сунуть пальцы.

– Рукоделием занимаетесь? – спросил председатель вежливо, но подозрительно.

– Чем бы ни занимался, лишь бы не заниматься, – сказал Чонкин и бросил пальцы на лавку.

– Это верно, – сказал председатель, топчась у дверей и не зная, как продолжить разговор. – Так, так, – сказал он.

– Так не так, перетакивать не будем, – пошутил в ответ Чонкин.

«Все вокруг да около, уводит в сторону», – отметил про себя председатель и решил пощупать собеседника с другого конца, затронуть вопросы внешней политики.

– В газетах пишут, – осторожно сказал он, подходя ближе к столу, – немцы обратно Лондон бомбили.

– В газетах чего не напишут, – уклонился Чонкин от прямого ответа.

– Как же так, – схитрил Голубев. – В наших газетах чего зря не напишут.

– А вы по какому делу? – спросил Чонкин, чувствуя какой-то подвох.

– А ни по какому, – беспечно сказал председатель. – Просто зашел посмотреть, как живете. Донесение пишете? – спросил он, заметив на столе конверт с воинским адресом.

– Да так пишу, что ни попадя.

«До чего же умный человек! – мысленно восхитился председатель. – И с этой стороны к нему подойдешь, и с другой, а он все равно ответит так, что ничего не поймешь. Небось, высшее образование имеет. А может, и по-французски понимает».

– Кес кесе, – сказал он неожиданно для самого себя единственные французские слова, которые были ему известны.

– Чего? – Чонкин вскинул на него испуганные глаза и замигал покрасневшими веками.

– Кес кесе, – упрямо повторил председатель.

– Ты чего это, чего? Чего говоришь-то? – забеспокоился Чонкин и в волнении заходил по комнате. Ты, слышь это, брось такие слова говорить. Ты говори, чего надо, а так нечего. Я тебе тут тоже не с бухты-барухты.

– Я и вижу, не с бухты-барухты, – решил наступать председатель. – Установили тут наблюдение. Дураки-то, думаете, не поймут. А дураки нынче тоже умные стали. Мы все понимаем. Может, у нас чего и не так, да не хуже, чем у других. Возьмите хоть «Ворошилова», хоть «Заветы Ильича» везде одна и та же картина. А то, что прошлый год сеяли по мерзлой земле, так это ж по приказу. Сверху приказывают, а колхозник за все отдувается. Не говоря уже о председателе. А вы тут на самолетах летаете, пишете! – кричал он, распаяясь все больше и больше. – Ну и пишете, чего хотите. Напишите, что председатель колхоз развалил, напишите, что пьяница. Я сегодня вот выпил и от меня пахнет. Он наклонился к Чонкину и дыхнул ему прямо в нос. Чонкин отшатнулся.

– Да я-то чего, – сказал он, оправдываясь. – Я ведь тоже не так просто, а по приказу.

– Так бы сразу и сказал – по приказу, – даже как бы обрадовался председатель. – А то сидит тут, как мышь, бабой замаскировался. А какой приказ-то? Партбилет положить? Положу. В тюрьму? Пожалуйста, пойду. Лучше уж тюрьма, чем такая жизнь. Детишек у меня шестеро, каждому по сумке и побираться по деревням. Как-нибудь прокормятся. Пиши! Напоследок он хлопнул дверью и вышел.

Только на улице он понял все, что натворил, понял, что теперь-то ему уж, точно, не сдобровать.

«Ну и пусть, – думал он зло, отвязывая лошадь, – лучше уж сразу, чем каждый день ждать и дрожать от страха. Пусть будет, что будет».

В правлении его ожидал счетовод Волков с финансовым отчетом. Председатель подписал этот отчет, не глядя, испытывая мстительное наслаждение: Пусть там даже напутано что-нибудь, теперь все равно. После этого он распорядился, чтобы Волков подготовил денежный документ на краски и кисти для диаграммы, о которой говорил ему Борисов, и отпустил счетовода.

Оставшись один, он немного пришел в себя и стал раскладывать лежавшую на столе грудку бумаг. Здесь не было никакого порядка, и теперь председатель решил разложить бумаги в отдельные кучки в зависимости от их назначения.

Он разложил входящие в одну кучу, а исходящие (которые, однако, не были отправлены) в другую. Отдельно сложил финансовые документы, отдельно заявления колхозников. В это время внимание его привлек разговор, который он услышал за перегородкой, отделявшей его кабинет от коридора.

– Когда первый раз в камеруходишь, тебе под ноги кладут чистое полотенце.

– Зачем?

– А затем. Если ты первый раз, ты через то полотенце переступишь. А если ты вор в законе, то вытрешь об него ноги и – в парашу.

– Так ведь жалко полотенце.

– Себя жалче. Если ты через полотенце переступишь, тут тебе начнут делать... забыл, как называется это слово... во вспомнил, посвящение.

– Это еще чего?

– Для начала пошлют искать пятый угол. Это тебе понятно?

– Это понятно.

– Потом парашютный десант.

– Какой там в камере парашютный?

– Ты слушай...

Голубева этот разговор страшно заинтересовал. И он принял его близко к сердцу. Он даже подумал, что, может быть, не зря подслушал. Может быть, в скором времени ему эти сведения пригодятся. Голоса ему были знакомы. Голос того, кто спрашивал, принадлежал Николаю Курзову. Голос отвечавшего был тоже знаком, но чей он, Голубев не мог вспомнить, как ни старался.

– Парашютный десант делается так. Тебя берут за руки за ноги и спиной об пол бросают три раза.

– Так ведь больно, – сказал Курзов.

– Там тебе не санаторий, – пояснил рассказчик. – Ну, потом ты уж вроде как свой и вместе с другими участвуешь в выборах.

– Разве и там бывают выборы?

– Выборы бывают даже на поле. Там выбирают старосту. Один между коленок зажимает билетик с фамилией. Другие по очереди с завязанными глазами и руками подходят и вытаскивают билетик зубами...

– Ну, это можно, – довольно сказал Курзов. – Ничего страшного.

– Страшного, конечно, ничего. Только когда твоя очередь подходит, тебе вместо коленок голый зад подставляют.

Председатель был человек брезгливый, и он поморщился. Ему захотелось узнать, кто же это все так интересно рассказывает, и он вышел в коридор, вроде бы для того, чтобы заглянуть в бригадирскую.

На длинной скамейке под стенгазетой сидели сидели Николай Курзов и Леша Жаров, которого три года назад посадили на восемь лет за то, что он украл на мельнице мешок муки. Увидев председателя, Леша поспешно поднялся и стащил с головы картуз с оторванным козырьком, обнажив стриженую с начавшими отрастать волосами голову.

– Здравсьте, Иван Тимофеевич, – сказал он таким тоном, каким говорят обычно люди после долгой разлуки.

– Здравствуй, – хмуро сказал председатель, как будто видел Лешу только вчера. Освободился?

– Выскочил досрочно, – сказал Леша. – По зачетам.

– Ко мне, что ли?

– До вас, – согласился Леша.

– Ну, заходи.

Леша пошел за председателем в кабинет, ступая осторожно своими потертыми бутсами, как будто боялся кого-нибудь разбудить. Он подождал, пока председатель сядет на свое место, и только после этого сам сел на краешек табуретки по другую сторону стола.

– Ну, что скажешь? – помолчав, хмуро спросил председатель.

– На работу до вас проситься пришел, Иван Тимофеевич, – почтительно сказал Жаров, в волнении растягивая картуз на колене.

Председатель задумался.

– На работу, значит? – сказал он. – А какую я тебе могу дать работу? Ты, Жаров, зарекомендовал себя не с хорошей стороны. Вот мне на МТФ⁹⁷ человек нужен. Я бы тебя послал, так ведь ты молоко воровать будешь.

– Не буду, Иван Тимофеевич, – пообещал Леша. – Вот чтоб мне провалиться на этом месте, не буду.

– Не зарекайся, – махнул рукой Голубев. – Тебе божиться, что дурному с горы катиться. Прошлый раз сколько я тебе говорил: «Смотри, Жаров, нехорошо себя ведешь. Доиграешься». Говорил я тебе или нет?

– Говорили, – подтвердил Жаров.

– Вот «говорили». А ты мне что говорил? Ничего, мол, переживем. Вот тебе и ничего.

– Напрасно вы старое поминаете, Иван Тимофеевич, – проникновенно сказал Леша и вздохнул глубоко. Я ваши слова в лагере вспоминал часто. Помню, сидели мы раз за обедом, и как раз дали нам компот...

⁹⁷ МТФ – молочно-товарная ферма.

– Неужто и компот дают? – заинтересованно спросил председатель.

– Это где какой начальник. Один голодом морит, а другой, если хочет, чтобы план выполняли, и накормит тебя, и оденет потеплее, только работай на совесть.

– Есть, значит, и хорошие начальники? – с надеждой переспросил председатель и подвинул к Жарову пачку папирос «Дели».

– Кури. Ну, а как там в смысле массовых мероприятий?

– Этого сколько хочешь, – сказал Леша. – Кино, самодеятельность, баня раз в десять дней. Самодеятельность получше, чем у нас в городе. Там у нас был один народный артист, два заслуженных, а простых я и не считал. Вообще народу грамотного сидит... Леша понизил голос... – бессчетно. Был у нас один академик. Десятку дали. Хотел испортить кремлевские куранты, чтоб они на всю страну неправильно время показывали.

– Да ну? – Председатель недоверчиво посмотрел на Лешу.

– Вот те и ну. Вредительства, скажу тебе, Иван Тимофеевич, у нас полно. Вот, к примеру, ты куришь папироски, вот эти «Дели», а в них тоже вредительство.

– Да брось ты, – сказал председатель, но папироску изо рта вынул и посмотрел на нее с подозрением. Какое же здесь может быть вредительство? Отравлены, что ль?

– Хуже, – убежденно сказал Леша. – Вот можешь ты мне расшифровать слово «Дели»?

– Чего его расшифровывать? «Дели» значит Дели. Город есть такой в Индии.

– Эх, – вздохнул Леша, – а еще грамотный. Да, если хочешь знать, по буквам «Дели» – значит Долой Единый Ленинский Интернационал.

– Тише ты, – сказал председатель и посмотрел на дверь. – Это, знаешь, нас с тобой не касается. Ты мне лучше насчет бытовых условий объясни.

Потом в кабинет, не дождавшись своей очереди, вошел Николай Курзов. Утром ему надо было ехать на лесозаготовки, и он просил председателя выписать ему два килограмма мяса с собой.

– Завтра придешь, – сказал председатель.

– Как же завтра, – сказал Николай. – Завтра мне уже чуть свет отправляться надо на поезд.

– Ничего, отправишься послезавтра. Я справку дам, что задержал тебя.

Он подождал, пока дверь за Николаем закрылась, и нетерпеливо повернулся к Леше:

– Давай рассказывай дальше.

Баба Дуня, которая отработывала минимум трудодней, дежуря у продуктового склада, видела, что в председательском окне свет не гас до часу ночи.

Председатель все расспрашивал Лешу насчет условий жизни в лагере, и по Лешину рассказу выходило, что жизнь там не такая уж страшная. Работают по девять часов, а здесь ему приходится крутиться от зари до зари. Кормят три раза в день, а здесь не каждый день и два раза успеешь поесть. Кино здесь он уже с полгода не видел.

Расставаясь, он пообещал Леше приличную работу.

– Пойдешь пока пастухом, – сказал он. – Будешь пасти общественный скот. Оплата, сам знаешь, пятнадцать рублей с хозяина и от колхоза – пятьдесят соток в день. Кормежка по домам. Неделю у одних, неделю у других. Поработаешь пастухом, пообсмотришься, потом, может, подыщем что попрличнее.

В этот день председатель вернулся домой в хорошем настроении. Он погладил по головкам спящих детей и даже сказал что-то нежное жене, отчего та, не привыкшая к мужниным ласкам, вышла в сени и всплакнула немного.

Утерев слезы, она принесла из погреба кринку холодного молока. Иван Тимофеевич выпил почти всю кринку, разделся и лег. Но ему долго еще не спалось. Он вздыхал и ворочался, вспоминая до мельчайших деталей рассказы Леша Жарова. Но потом усталость взяла свое, и он прикрыл отяжелевшие веки.

«И там люди живут», – подумал он, засыпая.

13

– Земля имеет форму шара, – объяснил как-то Чонкину Гладышев. – Она постоянно вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Мы не чувствуем этого вращения, потому что сами вращаемся вместе с Землей.

О том, что Земля вращается, Чонкин слышал раньше. Не помнил, от кого именно, но от кого-то слышал. Он только не мог понять, как на ней держатся люди и почему не выливается вода.

Шла третья неделя пребывания Чонкина в Красном, а из части, где он служил, не было ни слуху ни духу. У него уже прохудился ботинок, а никто не ехал, никто не летел, никто не давал указаний, как быть дальше. Чонкин, конечно не знал, что письмо в часть, которое он отдал Нюре, она не отправила. Надеюсь, что начальство забыло о существовании Чонкина, и не желая напоминать о нем даже ценою сухого пайка, она несколько дней носила это письмо в своей брезентовой сумке, а потом, тайком от Ивана, сожгла.

Тем временем в мире происходили события, которые непосредственного отношения ни к Нюре, ни к Чонкину пока не имели.

14 июня в ставке Гитлера состоялось совещание по окончательному уточнению последних деталей плана «Барбаросса»⁹⁸.

Ни Чонкин, ни Нюра никакого представления об этом плане не имели. У них были свои заботы, которые им казались ближе. Нюра, например, за последние дни совсем с лица спала, облезла, как кошка, и еле ноги таскала. Хотя ложились они рано, Чонкин ей спать не давал, будил по несколько раз за ночь для своего удовольствия, да и еще и днем, только она, уставшая, через порог переступит, он накидывался на нее, как голодный зверь, и тащил к постели, не давая сумку сбросить с плеча. Уж она другой раз пряталась от него на сеновале либо в курятнике, но он и там ее настигал, и не было никакого спасу. Она и Нинке Курзовой жаловалась, а та над ней только смеялась, втайне завидуя, потому что ее Николая и раз в неделю подбить на это было не так-то просто.

Но в тот самый день, когда уточнялся план «Барбаросса», между Нюрой и Чонкиным произошло недоразумение, да такое, что и сказать неудобно.

Дело было к вечеру, Нюра, вернувшись из района, разнеся почту и уступивши Чонкину дважды, занималась в избе приборкой, а он, чтобы ей не мешать, вышел с топориком на улицу и взялся править забор. Поправит столбик, отойдет с прищуренным глазом, посмотрит и радуется сам на себя: вот, дескать, какой я мастер за что ни возьмусь, все в руках горит.

А Нюра ненароком глянет в окошко и тоже довольна. С тех пор как появился Иван, хозяйство стало приходить постепенно в порядок. И печь не дымит, и дверь закрывается, и коса отбита да наточена. Взять даже такую ерунду, как, железяка, чтобы ноги от грязи очищать, а и та появилась бы разве без мужика?

Хороший мужик, плохой ли, надолго ли, ненадолго, а все-таки свой. И приятно не только то, что он тебе по хозяйству поможет, а потом спать с тобой ляжет, приятно само сознание того, что он есть, приятно сказать подруге или соседке при случае: «Мой вчерась крышу перестилал, да ветром его прохватило, простыл малость, пришлось молоком горячим отпаивать». Или даже и так: «Мой-то как зенки зальет, так сразу за ухват либо за кочергу и давай крушить что ни попадя, тарелки в доме целой уж не осталось». Вот вроде бы жалоба, а на самом деле нет, хвастовство. Ведь не скажешь

⁹⁸ План «Барбаросса» – условное название плана войны фашистской Германии против СССР.

про него, что паровоз изобрел или атомное ядро расщепил, а хоть что-нибудь сделал, проявил себя, и за то спасибо. Мой! Другой раз попадет такой, что и смотреть не на что: кривой, горбатый, деньги пропивает, жену и детей бьет до полусмерти. Казалось бы, зачем он ей такой нужен? Бросила бы его да и все, а вот не бросает.

Мой! Хороший ли, плохой ли, но все же не твой, не ее. Мой!

Глянет Нюра в окошко, задумается. Долго ли они живут вместе, а она к нему уже привязалась, сердцем присохла. А стоило ли? Не придется ли вскорости по живому-то отрывать?

Неужели снова время придет такое придешь домой, а дома четыре стены. Хоть с той говори, хоть с этой, она тебе не ответит.

Чонкин подровнял последний угловой столбик, отступил с топором на два шага. Хорошо вроде, ровно. Всадил в столбик топор, достал из кармана масленку с махоркой, газетку, закурил, постучал в окошко:

– Слышь, Нюрка, ты давай прибирай скорее, щась приду, повалеюся.

– Иди, черт чудной, – с ласковой грубостью отозвалась Нюра. – Сколь можно?

– А сколь хошь, – объяснил Чонкин. – Кабы ты не сердилась, так я хочь бы целые сутки.

Нюра только рукой махнула. Иван отошел от окна, задумался о своей будущей жизни, а когда услышал рядом с собой чей-то голос, даже испугался, вздрогнул от неожиданности.

– Слышь, армеец, закурить не найдешь ли?

Он поднял глаза и увидел рядом с собой Плечевого. Плечевой возвращался с рыбалки. В одной руке он держал удочку, в другой прутик с нанизанными на него мелкими рыбешками. Рыбешек было штук десять. Чонкин снова достал махорку с газеткой и, протянув Плечевому, спросил:

– Ну, как рыбка ловится?

Плечевой прислонил удочку к забору, зажал прут с рыбой под мышкой и, свертывая самокрутку, сказал неохотно:

– Какая там ноне ловится! Это несчастье одно, а не рыба. Кошке отдам, пушай жрет. Раньше, бывало, щуки на блесну ловились во какие. Он прикурил от Ивановой сигарки и, коснувшись правой рукой левого плеча, вытянув левую руку, показывая, какие именно были щуки. А сейчас щуку здесь днем с огнем не найдешь. Караси их, что ли, пожрали. А ты, что ж, с Нюркой живешь? – переменял он ни с того ни с сего разговор.

– Ага, с Нюркой, – согласился Иван.

– И после службы думаешь с ней оставаться? – допытывался Плечевой.

– Не решил еще, – задумчиво сказал Иван, не зная, стоит ли доверять свои сомнения малознакомому человеку. – Вообще, конечно, Нюрка – баба справная и видная из себя, но и я ведь тоже еще молодой, обсмотреться надо сперва что к чему, а потом уж и обзаводиться по закону, в смысле семейной жизни.

– А на что тебе обсматриваться? – сказал Плечевой. – Женись, да и все. У Нюрки все ж таки своя изба и своя корова. Да где ж ты еще такое найдешь?

– Вообще-то верно...

– Вот я тебе и говорю женись. Нюрка – баба очень хорошая, да, тебе про нее никто плохого не скажет. Она вон сколь ни жила одна, никогда ни с кем не путалась, и мужика у нее отродясь не было. Только с Борькой одним и жила, да.

– С каким Борькой? – насторожился Иван.

– С каким Борькой? А с кабаном ейным, – охотно объяснил Плечевой.

Чонкин от неожиданности подавился дымом, закашлялся, бросил сигарку на землю и раздавил ее каблуком.

– Брось чудить, – сказал он сердито. – Какого еще такого кабана выдумал?

Плечевой посмотрел на него голубыми глазами.

– А чего я тебе сказал? Тут ничего такого и нет. Известно, женщина одинокая, а ей тоже требуется, да. И сам посуди ему уж в обед сто лет, а она его резать не хочет, а почему? Да как же его зарежешь, если, бывало, она в постелю, а он до нее. Накроются одеялом и лежат, как муж и жена. А так кого хошь на деревне спроси, и тебе каждый скажет: лучше Нюрки никого не найти.

Довольный произведенным впечатлением, Плечевой взял удочку и не спеша пошел дальше, попыхивая сигаркой, а Чонкин долго еще стоял с отвалившейся нижней челюстью, провожая Плечевого растерянным взглядом и не зная, как относиться к только что услышанной новости.

Нюра, подоткнув юбку, мыла в избе полы. Распахнулась дверь, на пороге появился Чонкин.

– погоди, протру пол, – сказала Нюра, – не заметив его возбужденного состояния.

– Нечего мне годить, – сказал он и прошел в грязных ботинках к вешалке, где висела винтовка. Нюра хотела заругаться, но поняла, что Чонкин чем-то расстроен.

– Ты чего, – спросила она.

– Ничего. – Он сорвал винтовку и вскрыл затвор, чтобы проверить патроны.

Нюра с тряпкой стала в дверях.

– Пусти! – Он подошел с винтовкой в руках и попытался отодвинуть ее прикладом, словно веслом.

– Ты чего это надумал? – закричала она, заглядывая ему в глаза. – На что ты ружье берешь?

– Пусти, сказано тебе. – Он двинул ее плечом.

– Скажи зачем? – стояла на своем Нюра.

– Ну ладно, – Чонкин поставил винтовку к ноге и посмотрел Нюре в глаза. – Что у тебя было с Борькой?

– Да ты что? С каким Борькой?

– Известно, с каким. С кабаном. Ты с им давно живешь?

Нюра попыталась улыбнуться.

– Ваня, ты это шутейно, да?

Этот вопрос почему-то совершенно вывел его из равновесия.

– Я вот тебе дам шутейно! – Он замахнулся прикладом. – Говори, стерва, когда ты с ним снюхалась?

Нюра посмотрела на него ошалелым взглядом, как бы пытаясь понять, не сошел ли он с ума. А если нет, значит, она сумасшедшая, потому что ее бедный рассудок не мог охватить смысла того, что было здесь сказано.

– Господи, что же это такое творится! – простонала Нюра.

Она выпустила из рук тряпку и, обхватив голову мокрыми руками, отошла к окну. Села на лавку и заплакала тихо, беспомощно, как плачут больные дети, у которых не хватает сил плакать громко.

Такой реакции на свои слова Чонкин не ожидал. Он растерялся и, топчась у открытых дверей, не знал, как ему поступить. Потом прислонил винтовку к стене и подошел к Нюре.

– Слышь, Нюрка, – сказал он, помолчав, – ну, если чего и было, я ж ничего. Я его шамальну, и все, и дело с концом. По крайности хоть мясо будет, какое там никакое. А то бегают по двору, как собака, только хлеб зазря переводит.

Нюра все так же плакала, и Чонкин не понял, слышала она его или нет.

Он провел своей шершавой ладонью по ее волосам и, подумав, сказал иначе:

– Ну, а если не было ничего, так ты мне, Нюрка, скажи. Я ведь не со зла, а сдуру. Мне Плечевой бухнул, а я, не подумавши, тоже. Народ ведь у нас, Нюрка, злой, нехороший, и, когда женщина или девушка живет по-отдельности, про нее чего только не скажут. Слова его, однако, успокоения не внесли, а произвели совершенно обратное действие. Нюра закричала дурным голосом, упала на лавку, обхватила ее руками и стала давиться в рыданиях, вздрагивая всем телом.

Чонкин в отчаянии забежал перед ней, засуетился, потом упал на колени и, отрывая Нюру от лавки, закричал ей в самое ухо:

– Слышь, Нюрка, да ты что? Да это я так просто. Да мне никто ничего не говорил, я сам все выдумал просто для шутки. Дурак я, слышь, Нюрка, дурак. Ну, хочешь, ударь меня по голове вот хоть утюгом, только не плачь.

Он и правда схватил стоявший под лавкой утюг и вложил его в Нюрину руку. Нюра утюг отшвырнула, и Чонкин инстинктивно отскочил, иначе ему бы отшибло ноги. Как ни странно, но, бросив утюг, Нюра начала успокаиваться и затихла, только плечи ее продолжали вздрагивать. Чонкин побежал в сени и принес ковшик воды. Стуча зубами о железо, Нюра отхлебнула глоток и поставила ковшик на лавку перед собой. Потом села, утерла слезы воротником платья и спросила почти спокойно:

– Исть будешь?

– Не мешало бы, – радостно согласился Иван, довольный, что все обошлось.

Ему уже самому казались смешными его сомнения. Это же надо было поверить в такую глупость! И кому? Плечевому, который только и знает, что языком трепать!

Иван побежал на улицу, внес топор в сени, но когда проходил мимо двери, ведущей из избы в хлев, услышал приглушенное хрюканье Борьки, и темное сомнение опять шевельнулось в его душе, он хотел, но не смог его подавить.

Нюра поставила на стол две кружки парного, еще пахнущего коровой молока, и теперь гремела в печи ухватом, пытаясь извлечь чугунок с картошкой. Чонкин ей помог, уселся за стол.

– Слышь, Нюра, – сказал он, придвигая к себе молоко, – ты все же сердись, не сердись, а Борьку я завтра шмальну.

– За что? – спросила она.

– Да причем тут за что, ни за что. Раз болтовня такая в народе пошла, значит надо шмальнуть, и чтоб не было никаких разговоров.

Он смотрел на нее настороженно, но она на этот раз плакать не стала. Она разложила картошку по тарелкам, подвинула одну Чонкину, другую себе и сказала с горечью:

– А если ты его убьешь, значит, думаешь, народ сразу перестанет болтать? Эх, не знаешь ты, Ваня, наших людей. Да они же все от радости взвоют. А разговоров пойдет... «Чего это он, мол, кабана вдруг стрелил?» «Понятно чего. С ним же Нюрка жила». А дальше больше. Один слово скажет, другой два прибавит. И уж так разрисуют, не хуже, чем в книге. «Пошла это Нюрка ввечеру корову доить, а Иван дома остался. Ждет-пождет нету Нюрки. «Дай, – думает, – погляжу, не заснула ли». Заходит он это в хлев, а Нюрка...»

– Цыц, ты! – заорал неожиданно Чонкин и двинул от себя кружку, расплескав по столу молоко.

Картина, представленная Нюрой, подействовала на него так сильно, как будто он сам все это увидел, и вопреки доводам, которыми она хотела его убедить, он опять взбеленился и, опрокинув скамейку, кинулся к винтовке, стоявшей возле дверей. Но Нюра опередила его. Она встала в дверях, как памятник, и сдвинуть Чонкину было ее не под силу. Давешняя история повторилась. Чонкин толкал Нюру плечом и говорил:

– Пусти!

А она отвечала ему:

– Не пущу!

А он настаивал на своем:

– Пусти!

А она отстаивала свое:

– Не пущу!

Потом Чонкин умирился, отошел и сел на лавку, зажав винтовку в коленях.

– Видать, Нюрка, правду брешет про тебя Плечевой, – зло сказал он. – Кабы у тебя с Борькой не было ничего, ты бы за него держаться не стала. Ему уж в обед сто лет, давно на сало пора, а ты его все бережешь. А коли так, нам с тобой вместе не жить. И вопрос, Нюрка, в настоящий период стоит либо так, либо эдак, либо я, либо кабан, даю тебе на размышление пять с лишним минут, а затем собираю свои манатки, и извини-подвинься.

Он посмотрел на ходики, висевшие против окна, засек время и, подперев голову рукой, отвернулся от Нюры, ожидая ее решения. Она придвинула к себе табуретку и села возле дверей. Оба сидели и молчали, как на вокзале, когда все заготовленные слова уже сказаны, осталось только поцеловаться, а тут сообщили, что поезд опаздывает на два часа.

Прошло пять минут, пять минут с лишним, прошло шесть минут. Чонкин повернулся к Нюре и спросил:

– Ну, что ты надумала?

– А что мне думать? – сказала она печально. – Ты, Ваня, сам все решай, сам поступай, как знаешь. А Борьку я убивать не дам. С тобой я знакома без году неделя, а он у меня живет, почитай, уже два года. Я его маленьким в колхозе взяла, когда ему было всего три денечка. И молоком из бутылки через соску поила, и в корыте купала, и грелку на живот положила, когда он болел. И он мне теперь, хоть смейся, хоть нет, вроде сына. И для него дороже меня никого нет, почему он меня провожает на работу и встречает, когда обратно иду. И какая б ни была погода, а только на пригорок взойду, а он навстречь мне несется, хоть по снегу, хоть по грязюке. И так у меня, Ваня, в иной момент сердце сжимается, что присяду я над этим Борькой и плачу как дура, сама не знаю, от радости или от горя, а скорее от того и другого. К тебе, Ваня, я хоть и привыкла и полюбила тебя, как мужа родного, но ты сегодня здесь, завтра там, найдешь себе другую, получше да покрасивше, а для Борьки лучше меня никого нет. И когда я буду одна, он подойдет, ухом об ногу потрется, и уже веселее, все же живая душа.

Ее слова тронули Чонкина, но отступить он не стал, потому что имел о женщинах твердое представление – раз отступишь, поддашься, потом на голову сядут...

– Ну, а что же делать, Нюрка? Ведь это же такое говорят, да ведь этот стыд просто.

– Смотри, Ваня, дело твое.

– Ну, ладно. – Он собрал в охапку винтовку, скатку и вещмешок и подошел к Нюре. – Я ведь, Нюрка, ухожу.

– Иди. – Она отрешенно глядела в угол.

– Ну и оставайся, – сказал он и вышел на улицу.

Вечерело. На небе проступил первые звездочки. На столбе возле конторы играло радио. Передавали песни Дунаевского на стихи Лебедева-Кумача⁹⁹.

Чонкин свалил свое имущество возле самолета, сел на крыло и задумался над зыбкостью счастья. Еще недавно, не больше часа назад, он был вполне благополучным человеком, хотя и временным, но хозяином дома, главой семьи, и вдруг все рухнуло, разлетелось, и он опять оказался одиноким, бездомным, привязанным к этому поломанному самолету, как собака к будке. Но собака, которая привязана к будке,

⁹⁹ Авторы популярных в 1930–40 гг. песен.

находится даже в более выгодном положении, ее хотя бы кормят только за то, что она собака, а его, Ивана, оставили на произвол судьбы и неизвестно, собираются забрать или нет.

Сидеть на наклонном крыле было неудобно, да и холодно становилось. Чонкин пошел к стогу, стоявшему в огороде, натаскал несколько охапок сена и стал устраиваться на ночлег. Сам лег на сено, а сверху укрылся шинелью. Ему здесь было не так уж и плохо, во всяком случае, привычно, и он подумал, что вот сейчас выйдет Нюра и станет извиняться и просить его вернуться обратно, а он скажет: «Нет, ни за что. Ты сама так хотела, и пушай так будет». И это ж надо такое! Вот уж никогда не думал, что придется бабу ревновать, и к кому! До него донеслось из хлева Борькино хрюканье. Чонкин вдруг представил себе, как именно могла быть Нюра с кабаном, и его даже передернуло от омерзения. Надо бы его все-таки пристрелить. Так он подумал, но на то, чтобы пойти и сделать это сейчас, у него почему-то не хватало ни зла, ни желания.

После песен Дунаевского передали последние известия, а следом за ним сообщение ТАСС. «Может, насчет билизации», – подумал Чонкин, которому слово «демократизация» или даже «мобилизация» произнести было не под силу, хотя бы и мысленно. Говорили совсем о другом.

– ...Германия, – отчетливо выговаривал диктор, – так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы...

«Почва, – подумал Чонкин, – смотря какая. Если, к примеру, суглинок, так это гроб, а если сухая с песком, для картошки лучше не надо. Хотя тоже не сравнить с черноземом. И для хлеба хорош, и для всего...»

Подумал он о хлебе, и сразу засосало под ложечкой.

Вообще, конечно, он тоже зря в бутылку полез. Плечевой чего ни ляпнет, только слушай, а он уши распустил как дурак. А теперь что ж. Теперь надо стоять на своем, хотя вроде бы и ни к чему, и есть, ой, как охота.

Тем временем уже совсем стемнело. Звезды были теперь рассыпаны по всему небу, и одна из них, самая яркая, желтая, висела низко над горизонтом, казалось, пройди немного и протяни руку, достанешь. Гладышев говорил, что все небесные тела вращаются и движутся в пространстве. Но эта звезда не вращалась. Она висела на одном месте, и, сколько Чонкин ни щурился, никакого движения не замечал.

Радио, начавшее передавать концерт легкой музыки, вдруг захрипело и смолкло, но тут же на смену ему заиграла гармошка, и кто-то пока еще не установившемся басом заорал на всю деревню:

А хулиганом мать родила,

А хулиганом назвала,

А финку-ножик наточила,

А хулигану подала.

И тут же откуда-то женский высокий голос:

– Катька, сука несчастная, ты пойдешь домой али нет?

Потом гармонист заиграл «Раскинулось море широко», бессовестно перевирая мелодию, наверное, оттого, что в темноте не мог попасть пальцами в нужные кнопки.

Потом гармошка смолкла, и стали слышны другие звуки, до этого неразличимые. Пищала полевая мышь, трещал сверчок, хрустела сеном корова и где-то возились и в сонной тревоге перекудахтывались куры.

Потом заскрипела дверь. Чонкин насторожился. Но это была не Нюрина дверь, а соседская. Гладышев вышел на крыльцо, постоял, повздыхал, может быть, привыкая к темноте, потом направился к ватерклозету, спотыкаясь между грядок и попыхая

цигаркой. Потом еще постоял на крыльце, покашлял, заплевал сигарку и вернулся в избу. Вскоре после него выскочила Афродита и торопливо помочилась возле крыльца. Потом Чонкин слышал, как она, закрывая за собой дверь, долго гремела засовом. Нюра не выходила, не просила прощения и, кажется, не собиралась.

14

Кто-то тронул его за локоть. Он посмотрел и увидел перед собой синее в ночном полусвете лицо Плечевого.

– Пошли, – тихо сказал Плечевой и протянул Чонкину руку.

– Куда? – удивился Чонкин.

– Куда надо, – последовал ответ.

Не хотелось Чонкину подниматься и переть на ночь глядя неизвестно куда и зачем, но когда ему говорили «надо», он отказываться не умел.

Они шли, пробираясь между высоких деревьев со стволами белыми, как у берез, но это были совсем не березы, а какие-то другие деревья, густо покрытые инеем. Трава была тоже покрыта инеем, имевшим весьма странные свойства: на нем не оставалось никаких следов. Чонкин заметил это, хотя и торопился, боясь упустить из виду Плечевого, спина которого то исчезала, то вновь появлялась перед глазами.

Одно было непонятно Чонкину: как можно ориентироваться в этом странном лесу, где нет даже малозаметной тропинки; он только хотел спросить об этом Плечевого, но как раз в этот момент перед ними возник высокий глухой забор с узкой калиткой, в которую Чонкин с трудом протиснулся следом за своим провожатым. За забором оказалась изба, ее Чонкин сразу признал, хотя и не ожидал здесь увидеть. Это была изба Нюры.

Возле крыльца кучками и поодиночке стояли какие-то неизвестные Чонкину люди в одинаковых темных пиджаках нараспашку. Люди эти курили и разговаривали между собой, это было видно по тому, как они раскрывали и закрывали рты, но не издавали при этом ни единого звука. Не было слышно и звуков гармошки, которую, сидя на крыльце, лениво растягивал парень в высоких хромовых сапогах. А другой парень, в сандалиях, плясал перед гармонистом вприсядку, но в таком замедленном ритме, словно медленно плавал в воде. И тоже совершенно беззвучно. Даже когда хлопал себя по коленям, ничего не было слышно.

– Чего это они тут делают? – спросил Иван Плечевого и был очень удивлен, не услышав собственного голоса

– Не болтай! – строго оборвал его Плечевой, чем окончательно поразил Чонкина, до которого слова эти дошли, но дошли не посредством звуковых колебаний, не через ухо, а каким-то другим путем.

Гармонист с безразличным видом отодвинулся, уступая дорогу, и Чонкин следом за Плечевым медленно поднялся на крыльце. Плечевой толкнул ногой дверь и пропустил Ивана вперед. За дверью оказались не сени, которые ожидал увидеть Чонкин, а какой-то длинный коридор со стенами, выложенными белыми блестящими плитками, и растянутой на полу красной ковровой дорожкой. Чонкин и Плечевой пошли по этой дорожке, и через каждые несколько шагов перед ними возникали безмолвные фигуры людей, они появлялись один из правой стены, другой из левой, пристально вглядываясь в лица идущих, и, отступая, снова растворялись в стене.

Потом появлялись другие, похожие на первых, а может, и те же самые (Чонкин не успел заметить их лица), они опять пристально вглядывались и опять растворялись. И так продолжалось бесчисленное количество раз, и коридор казался длинным до бесконечности, но вот Плечевой остановил Чонкина и показал направо:

– Сюда!

Чонкин растерянно топтался на месте: перед ним была все та же стена, выложенная белыми блестящими плитами, в этих плитах отражались фигуры Чонкина и Плечевого, но никакой двери, никакого намека на дверь не было и в помине.

– Чего ж ты стоишь? Иди, – нетерпеливо сказал Плечевой.

– Куда? – спросил Чонкин.

– Прямо иди, не бойся.

Плечевой подтолкнул его вперед, и Чонкин неожиданно для себя прошел сквозь стену, ничего не затронув, не зацепив, словно она была соткана из тумана.

И тут ему открылся просторный зал, ярко освещенный голубоватым, исходящим непонятно откуда светом. Большой продолговатый стол, стоявший посреди зала, был щедро уставлен выпивкой и закуской и был облеплен гостями как мухами.

По тому гулу, который шел за столом, по настроению гостей и по всей обстановке Чонкин сразу сообразил, что здесь происходит чья-то свадьба. И, посмотрев во главу стола, тотчас убедился, что был совершенно прав.

Во главе стола в белом подвенечном платье сидела Нюра, лицо ее светилось от счастья. Рядом с ней, как положено, восседал на высоком стуле жених, бойкий такой парнишка в коричневой вельветовой куртке со значком «Ворошиловский стрелок» на правой стороне груди. Жених этот, усиленно размахивая короткими руками, весело и быстро говорил что-то Нюре и при этом зыркал озорными глазами то туда, то сюда, обратил внимание и на Чонкина и кивнул ему просто, по-дружески. Чонкин пригляделся к парнишке вроде бы не из местных и не из армейских, и в то же время было такое ощущение, словно раньше где-то встречались, то ли выпивали, то ли еще чего, в общем знакомы.

Нюра, увидев Чонкина, смешалась и опустила глаза, но потом, поняв, что так вести себя глупо, подняла их, теперь уже с вызовом, в котором было одновременно и желание оправдаться. Глаза ее как бы говорили: «Ты же мне ничего такого не предлагал, просто жил, и все, а мне чего ждать и на что надеяться? Ведь время идет, и здесь ничего не будет, и там не ухватишь. Вот поэтому оно так все и получилось».

Чонкину от всего этого стало как-то не по себе. Не то, чтобы он ревновал (хотя было, конечно, и это), самое главное чувство, которое он испытывал в эту минуту, была обида. Ведь могла же сказать ему прямо, так, мол, и так, а он бы еще подумал, может быть, и женился. Но ведь ничего не сказала, а уж если не сказала, то зачем же на свадьбу звать? Разве что для насмешки.

Однако, ничего этого он сейчас вслух не выразил и не показал даже виду, а поклонился, как положено, жениху и невесте и сказал вежливо:

– Здравствуйте.

А потом сделал поклон для всех остальных и им сказал общее:

– Здравствуйте.

На это ему никто не ответил, а Плечевой подтолкнул в спину к столу, там как раз стояла свободная табуретка. Чонкин устроился на этой табуретке и огляделся.

Слева от него сидел пожилой упитанный мужчина в вышитой украинской рубашке, подпоясанной шелковым крученым пояском. У него было круглое лицо с маленьким толстым носом и нависающими на глаза густыми выцветшими бровями. Голова была по темени лысая от природы, а по краям выбритая до блеска, с небольшим, заживающим уже порезом возле правого уха. На темени было несколько черных пятен, словно кто-то гасил об него окурки. Мужчина добродушно смотрел на нового соседа маленькими, заплывшими жиром глазками и приветливо улыбался.

Соседство справа было для Чонкина более приятным: здесь сидела молоденькая, лет семнадцати девица, с едва развившейся грудью и с двумя хвостиками косичек с бантиками на концах. Девица эта без всякой ложки, а прямо ртом ела размазанную по

тарелке манную кашу с маслом и поглядывала украдкой на Чонкина любопытно и озорно. И тут только Чонкин заметил, что все сидящие за столом, как и его соседка, тычутся ртами в тарелки и никаких вилок или хотя бы ложек перед ними нет и вроде бы ни к чему. «Никак, чучмеки», – подумал Чонкин и вопросительно глянул на Плечевого, устроившегося напротив, на той стороне стола. Плечевой кивнул ему, чтобы он не волновался, дескать, все идет, как надо, а сидевшая рядом с ним краснолицая женщина в крепдешиновом сарафане стала как-то странно подмигивать и строить разные рожи, отчего Чонкин смутился, покраснел и перевел взгляд на соседа, а тот улыбнулся ему и сказал:

– Ты, милочка, не робей, здесь все свои, и никто тебя не обидит.

– А я и не робею, храбрясь, – сказал Чонкин.

– Робеешь, – не поверил сосед. – Ты только делаешь вид, что не робеешь, а на самом-то деле еще ух как робеешь. Тебя как звать-то?

– Чонкин я, Ваня.

– А по отчеству?

– Васильевич, – охотно сообщил Чонкин.

– Это хорошо, – одобрил сосед. – Царь был когда-то Иван Васильевич Грозный. Слышал, небось?

– Вообще чего-то слышал, – подтвердил Чонкин.

– Хороший был человек, душевный, – с чувством сказал сосед. Пододвинул к Чонкину стакан с водкой, а другой взял себе. – Давай, Ваня, выпьем.

Чонкин собрался весь, задержал дыхание, как всегда, когда пил водку, чтобы пошла, а она оказалась без вкуса, без запаха, просто вода. Однако в голове зашумело, и настроение поднялось сразу, стал себя чувствовать Чонкин свободнее.

Подвинул к нему сосед тарелку с закуской – огурчики соленые, картошечка жареная. Поискал Чонкин глазами вилку, не нашел, хотел есть руками, а сосед снова вмешался:

– А ты, Ваня, ротом прямо. Ротом-то оно способнее.

Послушался Чонкин, попробовал и правда, приятнее и вкуснее. И на что люди вилки разные да ложки придумали. Мыть их надо. Морока одна.

А сосед все смотрел на него добродушно, улыбался. Да и спросил:

– А ты, Ваня, я на петлицы гляжу, летчиком, что ли, служишь?

Иван только хотел ответить как-то уклончиво, а тут соседка справа вмешалась.

– Нет, – писклявым сказала она голоском, – он на лошади ездит.

Удивился Чонкин: такая молодая, а все знает. Откуда бы?

– Неужто на лошади? – обрадовался сосед. – Это хорошо. Лошадь – это самое милое дело. Она тебе не гудит, не урчит, и бензином от ей не пахнет. И сколько же у вас лошадей, интересно, в части?

– Четыре, – пропищала девица.

– А вот и не четыре, – сказал Чонкин, – а три. Кобыла была пегая, ногу сломила. Ее на бойню отправили.

– Пегую отправили, а гнедая родила жеребеночка, – досказывала свое девица.

– Ты с ей не спорь. Она знает, – сказал сосед. – Ты мне лучше вот что выскажи: эроплан быстрее бегаёт, чем лошадь, или же лошадь быстрее?

– Глупый вопрос, – сказал Чонкин. – Да он когда низко летит, так вот так прямо вжжик!

– и нету его, а когда высоко заберется, то медленно.

– Ты скажи! – Сосед качнул головой изумленно и начал задавать Чонкину другие вопросы сколько ему лет, да давно ли в армии, как там кормят, как одевают и на сколько дают портянки. И Чонкин отвечал ему охотно и обстоятельно, пока не спохватился, что выбалтывает первому встречному совершенно секретную Военную

Тайну. И как это его угораздило! Ведь сколько раз говорили, сколько предупреждали: не болтай! Болтун – находка для врага!

А враг в вышитой рубашке уже совсем обнаглел и, не таясь, бегал карандашиком по разложенному на колене блокноту.

– Ты, слышь, ты чего это? – метнулся Чонкин к соседу и потянул руки к блокноту. Отдай сюда!

– Да ты что, что кричишь-то? – засуетился сосед, свертывая блокнот в трубочку. – Чего кричишь? Люди вокруг чего подумают.

– А ты зачем пишешь? – не унимался Чонкин. – Тоже мне писатель нашелся. Отдай, говорят.

Он кинулся на своего противника и уже чуть было не ухватил блокнот, но сосед неожиданно быстрым движением сунул его в рот и в один миг проглотил вместе с карандашом.

– Нету, – сказал он, злорадно улыбаясь и разводя пустыми руками.

– Я тебе дам «нету», – зарычал Чонкин, кидаясь на него с кулаками. – Я у тебя из глотки выдеру.

И хотел, действительно, выдрать, но сосед увернулся и вдруг заорал не своим голосом:

– Го-орько!

Чонкин вспомнил, что находится на свадьбе, и, хватая соседа за горло, тоже для приличия прокричал: «Горько!» И все остальные следом за ним подхватили и со всех концов стола закричали:

– Горько! Горько!

А сосед между тем начинал уже малость похрипывать, и из горла его показался уже кончик блокнота. Чонкин хотел прихватить его еще и другой рукой и покосился на жениха и невесту, не смотря ли. Но то, что он увидел, лишило его сразу всех сил и желания бороться за этот дурацкий блокнот.

Жених и невеста чинно поднялись, как и положено, когда кричат «горько», посмотрели на гостей, как бы спрашивая глазами, всерьез они или просто от нечего делать, потом, преодолев смущение, жених сделал руку крючком, притянул к себе резким движением Нюрину голову и впился своими губами в ее побледневшие губы. И Чонкин похолодел, сразу вспомнив, где, когда и при каких обстоятельствах он с ним встречался. И еще бы ему было не вспомнить, если жених был не кто иной, как кабан Борька, хотя и в вельветовой куртке, и со значком, и с виду похожий на человека, а все же кабан.

Чонкин хотел закричать людям, чтобы они обратили внимание на то, что здесь происходит, на то, что кабан целует человеческую девушку, но кричать было напрасный труд, потому что вокруг стоял такой шум, отовсюду слышалось: «Горько! Горько!» и даже не «горько», а другое какое-то слово, тоже знакомое Чонкину. Он повел глазами вокруг и только сейчас осознал со всей ясностью, что здесь происходит, осознал, что за столом сплошь сидят никакие не люди, а обыкновенные свиньи, стучат копытами по столу и хрюкают, как и положено свиньям.

Чонкин закрыл лицо ладонями и опустился на табуретку. Господи, и что ж это такое происходит, и куда он попал. В жизни не поминал бога ни разу, а вот пришлось.

Очнулся он от тишины. Отвел от лица ладони. Свиньи со всех сторон молча смотрели ему в лицо. Они словно ждали от него какого-то действия. Ему стало нехорошо. Его съезило под этими взглядами. Потом взорвало.

– Ну, чего смотрите? Чего смотрите? – закричал он отчаянно, скользя глазами по этим рилам.

Но слова его не нашли никакого ответа и словно провалились в глубокий колодец.

Чонкин перекинул взгляд на соседа. Толстый пятнистый боров в вышитой украинской рубашке, не мигая, смотрел на него заплывшими жиром тупыми глазками.

– Ты, старый кабан, – закричал Чонкин, хватая соседа за плечи и встряхивая, – ты чего на меня уставился? Что?

Сосед ничего не ответил. Он только усмехнулся и сильными передними лапами молча оторвал руки Чонкина от своих плеч. Чонкин понял, что силой тут никого не возьмешь, и опустил голову.

И тут раздался громкий, среди тишины, голос кабана Плечевого:

– Чонкин, а ты почему же не хрюкал?

Чонкин вскинул голову на Плечевого, о чем это он?

– Ты не хрюкал, Чонкин, – стоял на своем Плечевой.

– Да, он не хрюкал, – солидно, словно желая только установить истину, подтвердил сосед Чонкина.

– Не хрюкал! Не хрюкал! – на весь зал пропищала молоденькая свинка, соседка с бантиком возле ушей.

Чонкин, ища спасения, глянул в сторону Нюры, которая одна среди всех сохранила в себе что-то человеческое.

Нюра смущенно опустила глаза и тихо сказала:

– Да, Ваня, по-моему, ты не хрюкал.

– Интересно, – весело поблескивая глазами, сказал жених Борька. – Все хрюкают, а он нет. Может тебе не нравится хрюкать?

У Чонкина пересохло во рту.

– Да я это...

– Что «это»?

– Не знаю, – промямлил, потупившись, Чонкин.

– Он не знает, – весело пискнула молоденькая свинка.

– Да, он не знает, – с горечью подтвердил боров в украинской рубашке.

– Не понимаю, – развел лапами Борька. – Хрюкать – это же так приятно. Это такое для каждого удовольствие. Хрюкни, пожалуйста.

– Хрюкни, хрюкни, – зашептала молоденькая свинка, подталкивая Чонкина локтем.

– Ваня, – сказала ласково Нюра. – Хрюкни, ну что тебе стоит? Я раньше тоже не умела, а теперь научилась, и ничего. Скажи «хрю-хрю», и все.

– На что вам всем это нужно? – застонал Чонкин. – Ну на что? Я же вам ничего не говорю, хрюкайте, если нравится, только я-то при чем? Я же все-таки не свинья, а человек.

– Он человек, – пропищала молоденькая свинка.

– Говорит, человек, – удивленно подтвердил боров в рубашке.

– Человек? – преспросил Борька.

Это утверждение Чонкина показалось настолько смешным, что все свиньи, дружно ударив копытами в стол, захрюкали от удовольствия, а сосед в вышитой рубашке ткнулся мокрым рылом в ухо Ивана. Тот схватился за ухо, но его уже не было: сосед, отвернувшись, спокойно его пережевывал, словно это было не ухо, а, скажем, какой-нибудь капустный лист.

Молоденькая свинка, высунувшись из-за Чонкина, с любопытством спросила:

– Вкусно?

– Дрянь, – поморщился тот, проглатывая пережеванное.

– Почему ж это дрянь? – обиделся Чонкин. – У тебя разве лучше?

– У меня свиное, – с превосходством ответил сосед. – Для холодца незаменимая вещь.

Ты, чем болтать, хрюкай давай.

– Хрюкай, хрюкай, – зашептала соседка.

– Хрюкай, тебе говорят, – сказал Плечевой.

Чонкин рассердился.

– Хрю-хрю-хрю, – сказал он, передразнивая свиней. – Довольны?
– Нет, – поморщился Плечевой, – не довольны. Ты хрюкаешь так, как будто тебя заставляют. А ты должен хрюкать весело и от всей души, чтоб тебе самому это нравилось. Ну, давай хрюкай еще.
– Давай, – подтолкнула локтем свинка.
– Хрю-хрю! – закричал Чонкин, изображая на лице своем чрезвычайный восторг.
– погоди, – оборвал Плечевой. – Ты только делаешь вид, что тебе нравится, а на самом деле ты не доволен. Но мы не хотим, чтобы ты делал это против воли, мы хотим, чтоб тебе это нравилось по-настоящему. Ну-ка, давай-ка вместе.
– Хрю-хрю!

Он хрюкал сперва неохотно, но потом постепенно заразился восторгом Плечевого и сам уже хрюкал с тем же восторгом, от всей души, и на глазах его появились слезы радости и умиления. И все свиньи, которым передавалась его радость, захрюкали тоже и застучали копытами, и краснорожая свинья в крепдешинном сарафане лезла к нему через стол целоваться.

А кабан Борька вдруг выскочил из своей вельветовой куртки и, став уже совершенной свиньей, рванул по столу галопом, пронесся из конца в конец, вернулся обратно и снова прыгнул в свою одежду. И тут с дальнего конца стола появились золотые подносы, свиньи подхватывали их и передавали дальше с копыт на копыта. «Неужто свинина?» содрогнулся Чонкин, но тут же пришел в еще больший ужас, увидев, что это совсем не свинина, а даже наоборот, человечина.

На первом подносе в голом виде и совершенно готовый к употреблению, посыпанный луком и зеленым горошком лежал старшина Песков, за ним с тем же гарниром шли капитанармус Трофимович и рядовой Самушкин. «Это я их всех предал», осознал Чонкин, чувствуя, как волосы на его голове становятся дыбом.

– Да, товарищ Чонкин, вы выдали Военную Тайну и предали всех, – подтвердил старший лейтенант Ярцев, покачиваясь на очередном подносе и играя посиневшим от холода телом. – Вы предали своих товарищей, Родину, народ и лично товарища Сталина.

И тут появился поднос лично с товарищем Сталиным. В свисающей с подноса руке он держал свою знаменитую трубку и лукаво усмехался в усы.

Обуянный невыразимым ужасом, Чонкин опрокинул табуретку и кинулся к выходу, но споткнулся и упал. Схватился за порог пальцами и, обламывая ногти, хотел уползти, но не мог. Кто-то крепко держал его за ноги. Тогда он собрал все свои силы и, сделав невероятный рывок, больно ударился головой о крыло самолета.

...Стоял яркий, солнечный день. Чонкин сидел на сене под самолетом и, потирая ушиб на голове, все еще не мог понять, что происходит. Кто-то продолжал его дергать за ногу. Чонкин посмотрел и увидел кабана Борьку, не того, который сидел за столом в вельветовой куртке, а обыкновенного, грязного (видно, только что вылез из лужи) кабана, который, ухватив зубами размотавшуюся на ноге Чонкина обмотку, тащил ее к себе, упираясь в землю короткими передними лапами и похрюкивая от удовольствия.

– Уйди, гад, зараза! – не своим голосом заорал Чонкин, едва ли не теряя сознание.

15

Борька, услышав голос хозяина и поняв его как призыв, с радостным визгом кинулся к Чонкину, чтобы поприветствовать, а если удастся, и лизнуть в ухо, но тут же получил страшной силы встречный удар каблуком в рыло.

Не ожидавший такой встречи, он жалобно завизжал, отскочил в сторону и, припав к пыльной земле тем местом, которое у людей называется подбородком, вытянул вперед лапы, смотрел на Чонкина своими маленькими глазами и тихо, как собака, скулил.

– Я вот тебе поскулю, – остывая и приходя в себя, пригрозил Чонкин и огляделся. На траве рядом с ним лежало старое байковое одеяло, которое он, видимо, сбросил во сне. Тут же была и примятая камнем записка. Нюра писала, опуская, как всегда, гласные буквы, а если и ставила их, то чаще не то, что нужно: «Я ушла на рботу клич пыд плувицей, шчи в пчке, кушай н здравье, с прветам Нюра». За тем, что было написано, стоял, конечно, намек на то, что Нюра зло не помнит и готова примириться, если Иван не будет упрячиться.

– Как бы не так, – вслух сказал он и хотел разорвать записку, но потом передумал и, сложив ее вчетверо, сунул в карман гимнастерки. Но при упоминании о щах сразу засосало под ложечкой, и он вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел.

Борька, который до этого успокоился и замолчал, опять заскулил, как бы призывая обратить внимание на него, побитого и несчастного. Иван строго покосился на кабана, но у того, действительно, вид был настолько жалкий и обиженный, что Чонкин не выдержал и, хлопнув себя по ноге ниже колена, позвал:

– Иди сюда!

Надо было видеть, с какой готовностью з абыл Борька незаслуженную обиду и кинулся к хозяину, как радостно он визжал и хрюкал, тыча рылом Чонкина вбок, всем своим видом как бы говоря: «Я не знаю, в чем я перед тобой виноват, но я виноват, если ты так считаешь. Побей меня за это, убей, если хочешь, только прости».

– Ну, ладно, ладно, – проворчал Чонкин и стал чесать Борьку за ухом, отчего тот сразу повалился в траву, сперва на бок, потом перевернулся на спину и долго лежал так, закрыв от блаженства глаза и вытянув вверх сведенные вместе свои короткие, худые лапы.

Наконец, Чонкину это надоело, он ткнул Борьку кулаком в бок и сказал:

– Пошел вон!

Борька мигом вскочил на ноги, отбежал, посмотрел на Чонкина настороженно, но, не увидев в глазах его злобы, успокоился и погнался за пробегавшей мимо курицей. Чонкин встал, отряхнул сено с одежды, замотал обмотку, поднял с земли винтовку и огляделся. На соседнем огороде, привычная уже, как часть пейзажа, маячила сутулая фигура Гладышева.

Он ходил между грядками, нагибаясь над каждым кустом пукса и что-то над ним колдуя. Жена его, Афродита, грязная баба с заспанным лицом и нечесанными волосами, сидела на крыльце, держа на коленях годовалого сына Геракла¹⁰⁰ (тоже жертва гладышевской эрудиции), и глядела н а мужа с нескрываемым отвращением.

Чтобы читателю были понятны в дальнейшем отношения между селекционером и его женой, надо остановиться хотя бы вкратце на поучительной истории этого неравного брака.

Гладышев женился на Афродите года за два до описываемого здесь периода, когда ему было уже сильно под сорок. Пять лет до этого (после смерти матери) жил в одиночестве, справедливо полагая, что семейная жизнь мало способствует научному творчеству. Ну, а к сорока годам (то ли природа стала брать свое, то ли одиночество утомило) решил он все же жениться, хотя это оказалось делом нелегким, при всем том, что невест в деревне было в избытке. Его разговоры насчет замечательного гибрида невесты еще терпели и соглашались даже на то, чтобы вдвоем, рука об руку нести сквозь жизнь бремя научного подвига, надеясь, впрочем, что дурь эта у Гладышева со

¹⁰⁰ Геракл – древнегреческий легендарный герой, совершивший 12 подвигов.

временем пройдет сама по себе. Но, когда дело было уже на мази и невеста перешагивала порог будущего своего дома, редкая выдерживала хотя бы четверть часа. Одна, говорят, бухнулась в обморок уже на второй минуте. И вот почему. Удобрения для своих селекционных опытов Гладышев держал на дому в специальных горшочках. Это были и торфоперегнойные горшочки, и горшочки с коровьим и конским навозом, и горшочки с куриным пометом. А удобрениям Гладышев придавал большое значение. Он их смешивал в разных пропорциях, выдерживал на печке, на подоконнике, при определенной температуре, давал перебродить. И не только летом, но и зимой при закрытых-то окнах!

И лишь будущая Афродита, которая никаких иллюзий насчет своих чар не имела, вынесла все до конца. Очень хотелось замуж.

Гладышев, когда понял, что у него другого выбора нет, решил было навсегда оставить мечту о женитьбе, но потом рассудил иначе. Насчет Ефросиньи было у него такое соображение, что, если он ее, никому не нужную, подберет, уж она потом за такое его благородство заплатит полной преданностью и ему, и его науке.

Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Ефросинья сперва и правда платила, но, родивши Геракла, стала вести с этими горшочками войну под предлогом вредности для ребенка. Сначала намеками и уговорами, потом скандалами. Выносила горшки в сени. Гладышев вносил их обратно. Пробовала бить эти горшки, Гладышев бил ее, хотя вообще насилия не одобрял. Несколько раз уходила она с ребенком к родителям, жившим на другом конце деревни, но каждый раз мать прогоняла ее обратно.

В конце концов смирилась она со всем, на все махнула рукой и за собой перестала следить. И раньше красавицей не слыла, а сейчас и вовсе бог знает на что стала походить.

Вот, собственно, и вся эта история вкратце.

А теперь вернемся к тому, с чего начали мы свой рассказ.

Итак, Чонкин стоял возле своего самолета, Гладышев копался на огороде, а Афродита с ребенком на руках сидела на крыльце и смотрела на мужа с нескрываемым отвращением.

– Слышь, сосед, здорово! – закричал Чонкин Гладышеву.

Тот разогнулся над очередным кустом пукса, двумя пальцами приподнял шляпу и чинно ответил:

– Желаю здравствовать.

Чонкин, прислонив винтовку к самолету, оставил ее и подошел к забору, разделявшему два огорода.

– Что-то ты, сосед, я гляжу, возишься на этом огороде, возишься. Не надоело?

– Да ведь как сказать, – со сдержанным достоинством ответил Гладышев. – Я ведь не для себя, не в виде личной наживы, а ради научного интереса. А ты никак сегодня под эропланом ночевал?

– А нам, татарам, один черт, где ночевать, – пошутил Чонкин. – Сейчас время теплое, не зима.

– А я утром вышел, гляжу: чьи-то ноги из-под эроплана торчат. Неужто, думаю, Ваня нынче на улице ночевал? Еще и Афродите говорю: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат». Слышь, Афродита! – закричал он жене, призывая ее в свидетели. – Помнишь, утром я тебе говорил: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат».

Афродита смотрела на него все с тем же выражением лица, не меняя его и никак не реагируя на обращенные к ней слова.

Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал:

– А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял? Потому на улице нынче и ночевал.

– А что так? – беспокоился Гладышев.

– Да так, слышь, – уклонился от прямого ответа Иван. – Я ей, слышь, одно, она мне, слышь, другое, словом по слову, носом по столу, так все и пошло. Я, слышь, плюнул, взял шинелку, винтовку, мешок а что у меня еще? – и на двор.

– Вон оно как повернулось, удивленно покачал головой Гладышев. – То-то я сегодня утром вышел и гляжу, уж не твои ли ноги из-под эроплана торчат. Значит, ты с ней поругался?

– Да вот поругался, – погрузился еще больше Иван.

– А может, и правильно сделал, – предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот: Если хочешь знать, я тебе вот что скажу: не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они... Ты посмотри хотя б на мою. Вон она сидит, змея гремучая, у ней язык, Ваня, ты когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание, раздвоенный. Ну, чисто змеиное жало. А сколько я от нее, Ваня, горя натерпелся, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Да разве ж только я? Все мужчины от ихнего пола страдают невероятно, возьми хоть современную эпоху развития, хоть факты из исторического прошлого. Покосившись на жену, он зашептал еще тише, словно сообщал сверхсекретную новость: Когда царь Николай Первый сослал декабристов в Сибирь, черт-те куда, так ихни жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туды за ими, несмотря, что железной дороги в те поры не было. И лошадей позагоняли, и ямщиков перемучили, и сами чуть не подохли, а все же добрались, вот ведь какое дело.

Я, Ваня, про Ньюрку худого ничего не скажу она женщина образованная и с понятием, а все же беги ты от ней, покуда не поздно.

– Я бы побег, – сказал Чонкин, – да этот вот драндулет не пускает. – Он кивнул в сторону самолета и, подумав, добавил печально: Да и исть охота. Кишка кишке бьет по башке.

– Исть хочешь? – удивился Гладышев. – Господи, да чего ж ты раньше не сказал? Да пошли ко мне. Сейчас примус разожжем, яишню с салом сготовим. Самогоночки маленько, – он подмигнул Чонкину, – есть. Пошли. Поглядишь заодно, как живу.

Чонкин не заставил себя долго упрашивать, спрятал винтовку под сено, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Возшли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась.

– Хочь бы клеенку под дите подстелила, – проворчал на ходу Гладышев, – а то ведь напрудит весь подол провоняет.

Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала:

– Ты лучше в избе понюхай. И дай гостю понюхать.

Сказала и отвернулась.

Гладышев открыл дверь, пропустил Чонкина в сени.

– Слыхал, как она со мной разговаривает? – сказал он Ивану. – И вот так каждый день. Дура грязная. У меня-то вонища с научной целью, а у нее в виде неряшества.

За сенями было темно. Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной.

Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразушибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности, так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то,

может быть, и упал бы. С зажатым носом он вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал одобряюще:

– Спервоначально оно, конечно, малость шибает, а я вот уже привык, и мне ничего. Ты одну ноздрю приоткрой, а когда пообвыкнешь, принохаешься, открой и вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый и для организма полезительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма «Коти» из дерьма изготавливает духи тончайшего аромата. Ну, ты тут пока погляди, как живу, а я мигом сварганю яишню, и мы с тобой подзакусим, а то я что-то тоже исть захотел.

И пока он в горнице накачивал и разжигал примус, гость его остался в передней и, привыкая к запаху, открывал по совету хозяина то одну ноздрю, то другую и разглядывал комнату, в которой было на что поглядеть.

Первое – это сами горшочки. Их было великое множество, и стояли они не только на печке и подоконнике, но и на лавке возле окна и под лавкой, за спинкой железной кровати с неубранной постелью и разбросанными как попало подушками.

Над кроватью, как положено, висели стеклянные рамочки с цветочками и голубями по углам, в рамочки были вделаны фотографии хозяина дома с младенческих лет до последнего времени, фотографии жены его, Афродиты, и многочисленных ближайших родственников с обеих сторон. Над этим иконостасом был укреплен общий портрет супругов Гладышевых, выполненный на заказ из разных карточек и так старательно раскрашенный неизвестным исполнителем, что лица, изображенные на портрете, не имели решительно никакого сходства с оригиналами.

Другая стена, против окна, была музейная. На ней в таких же стеклянных рамочках были помещены уже упоминавшиеся нами печатные отклики на научные изыскания Гладышева, и в отдельной рамочке хранилось то самое письмо от известного сельхозакадемика, о котором мы также упоминали.

На стене между окнами висело одноствольное ружье шестнадцатого калибра, которое, как догадывается, конечно, читатель, должно когда-нибудь выстрелить, впрочем, еще неизвестно, выстрелит оно или даст осечку, это будет видно по обстоятельствам.

Чонкин еще не успел как следует рассмотреть все, что было в этой комнате, как яичница была готова и Гладышев позвал его к столу.

Здесь было тоже не ахти как убрано, но все же почище, чем в передней. Здесь стояла горка с посудой, была подвешена к потолку люлька – ложе Геракла, и стоял старый сундук без крышки, заваленный растрепанными книгами, преимущественно научного содержания (как, например, «Мифы Древней Греции» или популярная брошюра «Муха – активный разносчик заразы»), а также неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 год. Сундук этот был основным источником, из которого Гладышев черпал свою эрудицию.

На большом столе, покрытом клеенкой с коричневыми кругами от горячей посуды, шипела в сковородке яичница с салом, и, как Чонкина ни мутило от запаха (хотя он к нему и правда немного привык), а от голода мутило сильнее, он не заставил повторять приглашение, а без лишних церемоний уселся за стол.

Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер об майку; одну положил перед гостем, а другую, со сломанным зубом, взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилок в яичницу, но хозяин его остановил:

– Погоди.

Достал с горки два пропыленных стакана, посмотрел на свет, поплевал в них, протер тоже майкой, поставил на стол. Сбегал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе.

– Вот, Ваня, – сказал он, придвинув к себе табуретку и продолжая начатый разговор, – мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь, если разобраться, так это, может быть, самое ценное на земле вещество, потому что вся наша жизнь происходит из дерьма и в дерьмо опять же уходит.

– Это в каком же смысле? – вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу, но не решаясь приступить к ней раньше хозяина.

– А в каком хошь, развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя. – Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно, – поправился он, заметив, что Чонкина передернуло, – можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки. И я предлагаю, Ваня, выпить за успехи нашей науки, за нашу Советскую власть и лично за гения в мировом масштабе товарища Сталина.

– Со встречей, – поспешно поддержал его Чонкин. Ударилось стекло о стекло. Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Ничего не видя перед собой, он ткнул вилкой наугад в сковородку, оторвал кусок яичницы и, помогая другой рукой, запихал ее в рот, проглотил, обжигаясь, и только после этого выдохнул распиравший легкие воздух.

Гладышев, опорожнив свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой.

– Ну как, Ваня, самогончика?

– Первачок что надо, – похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы. – Аж дух зашибает.

Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.

– Видал?

– Из хлеба или из свеклы? – поинтересовался Чонкин.

– Из дерьма, Ваня, – со сдержанной гордостью сказал Гладышев.

Иван поперхнулся.

– Это как же? – спросил он, отодвигаясь от стола.

– Рецепт, Ваня, очень простой, – охотно пояснил Гладышев. – Берешь на кило дерьма кило сахара...

Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не сшиб Афродиту с ребенком и в двух шагах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его рвало и выворачивало наизнанку.

Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал он с крыльца.

– Ваня, ты что? – участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо. – Это ж чистый самогон, Ваня. Ты же сам видел, как он горит.

Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не забрызгать ботинки.

– О господи! – с беспросветной тоской высказалась вдруг Афродита. – Еще одного дерьмом напоил, ирод проклятый, погибели на тебя негу. Тьфу на тебя! – она смачно плюнула в сторону мужа.

Он не обиделся.

– Ты, чем плеваться, яблочка моченого из погреба принесла бы. Плохо, вишь, человеку.

– Да какие там яблочки! – застонала Афродита. – Те яблочки тоже насквозь пропахли дерьмом. По всей избе одно сплошное, идиот несчастный. Уйду я от тебя, идола, побираться буду с дитем, чем в дерьме погибать.

И, не откладывая дела в долгий ящик, она подхватила с Гераклом и кинулась вон за калитку. Гладышев, оставив Чонкина, побежал за женой.

– Куды ты бежишь, Афродита! – закричал он ей вслед. – Вернись, тебе говорят. Не выставляй перед народом и себя, и меня на позорище. Эй, Афродита!

Афродита остановилась, обернулась и зло закричала ему в лицо:

– Да какая ж я тебе Афродита? Фроська я, понял, обормот вислоухий, Фроська!

Повернулась и, высоко держа на растопыренных руках перепуганного насмерть ребенка, побежала по деревне дальше, подпрыгивая и спотыкаясь.

– Фроська я, слышите, люди, я Фроська! – выкрикивала она с таким остервенелым наслаждением, как будто после долгой немоты вновь обрела вдруг дар речи.

16

21 июня послу Германии в СССР Шуленбургу было передано заявление, в котором говорилось, что, по полученным сведениям, германские войска скапливаются у западных границ Советского Союза. Советское правительство просило правительство Германии дать разъяснения по этому поводу. Это заявление было передано Гитлеру, когда до начала войны оставались минуты.

В это время Чонкин, накануне помирившийся с Нюрой, еще спал. Потом почувствовал малую нужду и проснулся.

Некоторое время он лежал, не решаясь выбраться из-под теплого одеяла и втайне надеясь, что его желание пройдет само по себе. Но желание не проходило. Он дождался того момента, когда нельзя было терять уже ни секунды. Сунув ноги в ботинки и накинув на голые плечи шинель, он выскочил на крыльцо, а дальше не побежал, было некогда. Утро было ясное, свежее. На траве, на листьях деревьев, на плоскостях самолета лежала густая роса. Солнце уже оторвалось от горизонта и на глазах сужалось. Красные отблески его лежали на стеклах домов. Стояла полная тишина, нарушаемая время от времени тихим и сонным мычанием коров. Чонкин хотел было разбудить Нюру, чтобы она подоила и выгнала в стадо Красавку, но потом передумал и решил сделать все сам. Правда, когда он брал подойник, Нюра проснулась и хотела подняться, но он ей сказал:

– Ладно, спи дальше.

И пошел в хлев.

Подойв Красавку, он открыл ей одну половинку ворот, но корова не выходила: она привыкла, что перед ней раскрывают ворота настежь. «Вот скотина», – подумал Чонкин и хотел протянуть ее вдоль спины засовом, но пожалел.

– Давай выметайся, – миролюбиво проворчал он, открывая вторую половинку ворот.

Красавка, презрительно покосившись в сторону Чонкина, прошла мимо и, торжественно покачивая головой, увенчанной короткими рогами, направилась к выходу из двора.

Тут подоспело и стадо.

Коровы разбрелись по всей широкой улице на ходу принохивались к столбам и заборам, сонно вздыхали.

Позади стада, раскачиваясь на лошади, ехал новый пастух Леша Жаров. Вместо седла под ним была старая телогрейка. Ее рваные рукава висели и, как маятники, раскачивались в такт ходу лошади.

Увидев пастуха, Чонкин захотел поговорить с ним и, подойдя к калитке, крикнул:

– Эй, слышь ты! Как вообще жизнь-то?

Леша потянул на себя уздечку, остановил лошаадь и с любопытством посмотрел на Чонкина, которого видел впервые.

– Жизнь вообще-то ничего, – сказал он, подумав. – Подходящая жизнь.

Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал:

– Сегодня, видать по всему, будет вёдро.

– Будет вёдро, если не будет дождя, – сказал Леша.

– Без туч дождя не бывает, – заметил Чонкин.

– Без туч не бывает.

– А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету.

– Бывает и так, – согласился Леша.

На этом они расстались. Жаров поехал догонять стадо, а Чонкин вернулся в избу.

Нюра спала, раскинувшись по всей кровати. Будить ее было жалко. Чонкин походил немного по избе, но, не найдя себе никакого занятия, все-таки подошел к Нюре.

– Слышь ты, подвинься, – сказал он, тронув ее за плечо.

Солнце уже светило прямо в окно, пыльный луч его упирался в противоположную стену, на которой висели ходики с покореженным циферблатом. Ходики были старые, механизм пропылился, в нем что-то шуршало и щелкало.

Стрелки показывали четыре часа. В это время немцы бомбили Киев.

Илья Ильф, Евгений Петров

Двенадцать стульев

Посвящается Валентину Петровичу Катаеву¹⁰¹

Часть первая. Старгородский лев

Глава I. Безенчук и «Нимфы»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем¹⁰² и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома¹⁰³ коммунальщиков¹⁰⁴, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холою ногтей» и «ондулясион¹⁰⁵ на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА

«Милости просим»

Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью

¹⁰¹ Катаев В.П. (1897–1986) – русский советский писатель, драматург, поэт; брат писателя Е. П. Петрова

¹⁰² Вежеталь – жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос.

¹⁰³ Местком (местный комитет профсоюзной организации) – термин, принятый в СССР для обозначения низовых подразделений профсоюзных организаций, имеется в виду отделение профессионального союза, объединявшего рабочих и служащих коммунальных предприятий и организаций.

¹⁰⁴ Коммунальщики – работники сферы коммунальных услуг: водопроводных и канализационных станций, бань, боен и т.п..

¹⁰⁵ Ондулясион (фр. *ondulation*) – завивка волос.

пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах¹⁰⁶, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне не гигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он – вылитый Милюков¹⁰⁷, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

– Бонжур!¹⁰⁸ – пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген»¹⁰⁹ обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года – не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухошавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у шиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый¹¹⁰ пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще – Клавдии Ивановне.

– Эпполе-эт, – прогремела она, – сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала:

– Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.¹¹¹

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

– Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

– Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когданибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард

¹⁰⁶ Генеалогические древа – искаженное от *генеалогического древа* – схематичного представления родственных связей в виде условно-символического «дерева».

¹⁰⁷ П. Н. Милюков (1859–1943) – историк, публицист. До февральской революции 1917 года – один из лидеров либеральной оппозиции, идеолог конституционно-демократической партии, затем – министр иностранных дел Временного правительства. После падения Временного правительства – эмигрант. Длинные горизонтально закрученные усы Милюкова и его круглые очки – черты, многократно эксплуатировавшиеся карикатуристами.

¹⁰⁸ Бонжур – (фр.) – утреннее французское приветствие.

¹⁰⁹ Гут морген (нем.) – доброе утро.

¹¹⁰ Люстриновый – из люстрина, тонкой темной ткани с глянцем.

¹¹¹ Кушак – пояс или опояска, широкая тесма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней одежде.

Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того, – что было самым ужасным, – Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.

У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

– Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. – С добрым утром!

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу,

– Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?

– Мр-мр-мр, – неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

– Ну, дай бог здоровычка, – с горечью сказал Безенчук, – одних убытков сколько несем, туды его в качель!

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова поприветствовали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.

– Здорова, здорова, – ответил Ипполит Матвеевич, – что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне. Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело – и уходи», показывали пять минут десятого. Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении **Мацистом**¹¹², хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стол, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил¹¹³, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело – и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель N 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой,

¹¹² Мацист – великан-гладиатор в Римской империи в конце III в. до н. э.

¹¹³ Ализариновые чернила – название этих чернил неправильно, так как ализарин не входит в их состав. Ализариновые чернила готовятся из вытяжки чернильных орешков, причем в состав их входит уксусная кислота.

пошептала с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

– Товарищ, – сказала она, – где тут... Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

– Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

– Рождение? Смерть?

– Сочетаться, – повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девушка прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», – и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двойковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

– Молодые люди, – заявил Ипполит Матвеевич выспренно, – позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холода, разбрелись по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора, с улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского¹¹⁴ автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

– Почет дорогому гостю, – улыбнулся Ипполит Матвеевич. – Что скажешь?

¹¹⁴ Уисполком – уездный исполком, сокращенное название Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

– Ну? – спросил Ипполит Матвеевич более строго.

– «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? – смутно молвил гробовой мастер. – Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб – он одного лесу сколько требует...

– Чего? – спросил Ипполит Матвеевич.

– Да вот «Нимфа»... Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я – фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб – огурчик, отборный, любительский...

– Ты что же это, с ума сошел? – кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. – Обалдеешь ты среди гробов.

Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

– Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, – туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, темно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

– Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

– Можно в кредит, – добавил Безенчук. Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, непрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра отец Федор. Подобрал правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:

– Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

– Я не стучу, – покорно ответил Ипполит Матвеевич. – Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

– Сильнейший сердечный припадок. – И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила: – Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю – дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II. Кончина мадам Петуховой

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер»¹¹⁵ и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».

Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

– Клавдия Ивановна! – позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но, вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков, он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

– Клавдия Ивановна, – повторил Воробьянинов, – что с вами?

Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

– Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что – сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почему пузыри для льда. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.

Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

– Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли»¹¹⁶, велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

¹¹⁵ Шантеклер – платье с таким названием – яркие, длинные, узкие в талии, обтягивавшие бедра и резко расширявшиеся от колена – распространилась после петербургской постановки в 1910 году аллегорической пьесы Э. Ростана «Шантеклер» (франц. chantecler – букв. «певец зари»), действие которой происходит на птичьем дворе, а главный герой – петух, влюбленный поэт по имени Шантеклер. Экстравагантная пьеса, провалившаяся на родине автора, широко обсуждалась в русской периодике, и торговцы использовали этот фактор для рекламы: помимо платьев, были еще шляпки нескольких фасонов, духи и шоколад с тем же названием.

¹¹⁶ «Поэзия есть бог в святых мечтах земли» – строки В. А. Жуковского из поэмы «Камознс».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».

– Современная наука, – говорил Андрей Иванович, – дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, – не знаю, правда это или неправда, – на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

– Это ты, Андрей, малость перехватил...

– Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

– Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.

– Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

– Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.

– А доктор что говорит?

– Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:

– Теперь вся сила в гемоглобине. Сказав это, «Пьер и Константин» умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.

В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соблезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

– Так как же прикажете, господин Воробьянинов? – спросил мастер, прижимая к груди картуз.

– Что ж, пожалуй, – угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

– А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! – заволновался Безенчук.

– Да пошел ты к черту! Надоел!

– Я ничего. Я насчет кистей и глазета¹¹⁷. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?

– Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходиться в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? – подумал Ипполит Матвеевич. – На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

– Ипполит, – прошептала она явственно, – сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

– Ипполит, – повторила теща, – помните вы наш гостиный гарнитур?

– Какой? – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

– Тот... Обитый английским ситцем...

– Ах, это в моем доме?

– Да, в Старгороде...

– Помню, отлично помню... Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами¹¹⁸ сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

– В сиденье стула я зашила свои брильянты. Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

– Какие брильянты? – спросил он машинально, но тут же спохватился. – Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

– Я спрятала брильянты в стул, – упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

– Ваши брильянты! – закричал он, пугаясь силы своего голоса. – В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

¹¹⁷ Глазет – золотая или серебряная парча с шелковой основой.

¹¹⁸ Дагерротип – изображение на светочувствительной пластинке, способ получения которого разработан французским изобретателем Л.-Ж.-М. Дагерром (1787–1851). Обнародована в 1839 году.

– Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? – спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

– Но вы их вынули оттуда? Они здесь? Старуха отрицательно покачала головой.

– Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

– Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! – закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.

И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

– Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смиренхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии? Старуха ничего не ответила.

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.

– Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..

Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.

– Умирает, кажется!

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.

Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натываясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры непрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многие представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

– Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, – сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. – Гроб – он работу любит.

– Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик.

– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее-та, считается, богу душу отдает...

– То есть как это считается? У кого это считается?

– У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того

говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

– Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

– Я – человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут. И строго добавил:

– Мне дуба дать или сыграть в ящик – невозможно: у меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.

Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:

– Нашему брандмейстеру¹¹⁹ слава,

Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

– На свадьбе у Кольки, брандмейстера сына, гуляли, – равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. – Так неужто без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, – решил он, – найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница-теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

– Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!

Глава III. «Зерцало грешного»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».¹²⁰ Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

– Новое дело затеял...

¹¹⁹ Брандмейстер – (нем. Brandmeister), в Российской империи полицейский чиновник, начальник одной из городских пожарных команд.

¹²⁰ «Достойно есть» – молитва, прославляющая Богородицу.

Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоился возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе, Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенах, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная невероятным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготавливали жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготавливаемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины – Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое

утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и възыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

– Дай мне, мать, ножницы поскорее, – быстро проговорил отец Федор.

– А ужин как же?

– Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок¹²¹ ясно показывал брэнность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет».¹²² Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами – дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бороною сидел в маленьком зальце на троне.

Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

– Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела.

– Что же ты над собой сделал? – вымолвила она, наконец.

– Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

– Господи, – сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, – неужели, Феденька, ты к обновленцам¹²³ перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

– А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что – не люди?

– Люди, конечно люди, – согласилась матушка ядовито, – как же: по иллюзиянам¹²⁴ ходят, алименты платят...

– Ну, и я по иллюзиянам буду бегать.

– Бегай, пожалуйста.

– И буду бегать.

¹²¹ Лубок – народная картинка, произведение графики, отличающееся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения.

¹²² Сим, Хам, Яфет (Иафет) – в Ветхом Завете сыновья Ноя.

¹²³ Обновленцы – раскольничье движение в русской православной церкви в 1920–40-х гг.

¹²⁴ Иллюзион – синематограф, кинотеатр.

– Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.

– Никуда не пойду! – заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молот чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

– Не бросаю, – твердил отец Федор, – не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

– Не может, – говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело, и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного¹²⁵ или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было.

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор¹²⁶.

Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десятков – все, что осталось от коммерческих авантур отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

– На хозяйство хватит, – решил он.

Глава IV. Муза дальних странствий

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на

¹²⁵ Буденный Семен Михайлович (1883–1973) – советский военачальник, участник гражданской войны, командующий Первой Конной армией, один из первых Маршалов Советского Союза.

¹²⁶ Капор – женский головной убор, закрывающей всю голову, кроме лица.

вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки,

Посадка в бесплацикартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный, наконец, в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука – полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он подилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи¹²⁷ в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он – пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами.

Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

– Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» – еврей спрашивает еле-еле, «Здесь». – «А тетя Брана пришла?» – «Пришла». – «А где бабушка? Я ее не вижу». – «Вот она стоит». «А Исак?» – «Исак тут». – «А дети?» – «Вот все дети». – «Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» – с трудом завладевает вниманием и начинает:

– Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит – под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я».

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя вверх поезда.

Интересная штука – полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь – путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сторбась на

¹²⁷ Ермак Тимофеевич (между 1537–1540–1585), русский землепроходец, казачий атаман, завоеватель Западной Сибири, герой народных песен. Здесь Ермаками Тимофеевичами иронически именуются носильщики.

стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый – К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое. Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса¹²⁸, купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице¹²⁹ брандмейстера¹³⁰ «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, не достижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар – прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

– Что вы хотели?

– Средство для волос.

– Для ращения, уничтожения, окраски?

– Какое там ращение! – сказал Ипполит Матвеевич. – Для окраски.

– Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому, Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда.

¹²⁸ Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1841–1908) – русский писатель.

¹²⁹ Свояченица – сестра жены.

¹³⁰ Брандмейстер – (нем. Brandmeister, от Brand – «пожар» и Meister – букв. «мастер») – обиходное название пожарных.

Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

Глава V. Великий комбинатор

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

– Дядя, – весело кричал он, – дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:

– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел к, зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию¹³¹. «О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» – запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших ка развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

– Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

– Сама меряет, – сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, – было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий¹³² (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской

СССР, РСФСР

2-й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТАРГУБСТРАХА

¹³¹ Астролябия – прибор для определения широты и долготы, один из старейших астрономических инструментов.

¹³² Ленские события – 17 апреля 1912 года на Ленских приисках царскими войсками была расстреляна демонстрация рабочих, протестовавших против тяжелых условий жизни.

молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

– А что, отец, – спросил молодой человек, затаившись, – невесты у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился.

– Кому и кобыла невеста, – ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

– Больше вопросов не имею, – быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос:

– В таком доме да без невест?

– наших невест, – возразил дворник, – давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня¹³³: старухи живут на полном пенсионе.

– Понимаю. Это которые еще до исторического материализма¹³⁴ родились?

– Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

– А в этом доме что было до исторического материализма?

– Когда было?

– Да тогда, при старом режиме.

– А, при старом режиме барин мой жил.

– Буржуй?

– Сам ты буржуй! Сказано тебе – предводитель дворянства.

– Пролетарий, значит?

– Сам ты пролетарий! Сказано тебе-предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

– Вот что, дедушка, – молвил он, – неплохо бы вина выпить.

– Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

– Так я у тебя переночую, – говорил новый друг.

– По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека Остап Бендер, Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, – говорил он, – был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины; «Большевики пишут письмо Чемберлену»¹³⁵, по популярной картине художника Репина: «Запорожцы

¹³³ Богадельня – учреждение для содержания престарелых, инвалидов и т.д.

¹³⁴ Исторический материализм – марксистская теория развития общества, один из основных разделов марксистско-ленинской философии, считавшейся в СССР единственно верной.

¹³⁵ Чемберлен Артур Невилл (1869–1940) – государственный деятель Великобритании, лидер Консервативной партии, ярый противник СССР.

пишут письмо султану», В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант N 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР¹³⁶.

Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «низкий сорт, не чистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина¹³⁷ в папахе и белой бурке, а т. Чичерина¹³⁸ – голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.

– Не будет того эффекта! – произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:

– Полицмейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением – трешку дает... На пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит... Медаль даже обещался мне представить. «Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью...»

– Ну и что, дали?

– Ты погоди... «Мне, говорит, дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, говорит, в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь».

– А твоего барина что, шлепнули? – неожиданно спросил Остап.

– Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть... А теперь медали за дворничью службу дают?

– Дают. Могут тебе выхлопотать. Дворник с уважением посмотрел на Бендера,

– Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

– Куда ж твой барин уехал?

– А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

– А!.. Белой акации¹³⁹, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

– Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй – гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

¹³⁶ АХХР – Ассоциация художников революционной России; с 1928 года – АХР, Ассоциация художников революции – крупное объединение советских художников, графиков и скульпторов.

¹³⁷ Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – советский государственный и партийный деятель, в течение продолжительного времени занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, прозван «всесоюзным старостой».

¹³⁸ Чичерин Георгий (Юрий) Васильевич Чичерин (1872–1936) – советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930).

¹³⁹ «Белой акации гроздь душистые» – популярный романс, впервые опубликован в 1902 г. в сб. «Цыганские ночи».

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

– Барин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

– У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

– Здравствуй, Тихон, – вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, – я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

– Отлично, – сказал он, кося глазом, – вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку.

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль.

Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

– Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слышали?

– Не слышал, – нервно ответил Ипполит Матвеевич,

– Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...

– Что за чепуха! – воскликнул Ипполит Матвеевич. – Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

– Чудно, чудно! Из Моршанска. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.

– Ну, знаете, я пойду, – сказал он.

– Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ¹⁴⁰ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

– Я вас не понимаю, – сказал он упавшим голосом.

– Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку,

Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты, прошелся по комнате и начал:

– Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены – с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит – дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую границу переходили?

¹⁴⁰ ГПУ – Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР – политическая спецслужба в РСФСР в 1922–1923 г., преемник ВЧК.

– Честное слово, – вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам, – честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...

– При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков брильянтов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда – всему конец, а может быть, еще посадят.

– Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал Ипполит Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант,

– Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

– Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант.

– А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

– Ну, приехал из города N по делу.

– По какому делу?

– Ну, по личному делу.

– И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал...

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

– Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню. «В конце концов без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

Глава VI. Брильянтовый дым

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

– Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся.

А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы.

Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

– Три нитки жемчуга... Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая – в сто десять. Брильянтовый кулон... Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы...

Дальше шли кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми брильянтами; тяжелые, ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь: браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное кольцо, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.

– Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

– Тысяч семьдесят – семьдесят пять.

– Мгу... Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.

– Неужели так много? – обрадованно спросил Воробьянинов.

– Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

– Как плюнуть?

– Слюной, – ответил Остап, – как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

– Как же так?

– А вот как. Сколько было стульев?

– Дюжина, Гостиный гарнитур.

– Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

– Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал выработать условия.

– В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

– Это грабеж среди бела дня.

– А сколько же вы думали мне предложить?

– Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей!

– Больше вы ничего не хотите?

– Н-нет.

– А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?

– В таком случае простите, – сказал Воробьянинов в нос. – У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

– Ага! В таком случае, простите, – возразил великолепный Остап, – у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер¹⁴¹, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.

– Мошенник! – закричал Ипполит Матвеевич, задрожав. Остап был холоден.

– Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

– Двадцать процентов, – сказал он угрюмо.

– И мои харчи? – насмешливо спросил Остап.

– Двадцать пять.

– И ключ от квартиры?

– Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

– К чему такая точность? Ну, так и быть – пятьдесят процентов. Половина – ваша, половина – моя.

Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

– Шестьдесят тысяч! – кричал Воробьянинов.

– Вы довольно пошлый человек, – возражал Бендер, – вы любите деньги больше, чем надо.

– А вы не любите денег? – взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

– Не люблю.

– Зачем же вам шестьдесят тысяч?

– Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

– Ну что, тронулся лед? – добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

– Тронулся.

– Ну, по рукам, уездный предводитель команчей!¹⁴² Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приныкая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние.

– А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! – воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.

– Это конгениально, – сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу, – а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

– М-можно, – сказал дворник неожиданно.

– Послушай, Тихон, – начал Ипполит Матвеевич, – не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворнического рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик:

¹⁴¹ Энди Таккер – персонаж сборника рассказов американского писателя О. Генри «Благородный жулик» (1908).

¹⁴² Команчи – одно из индейских племен, населявших юго-запад степных районов Северной Америки.

– Бывывывали дни веселые...¹⁴³ Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирию «ходиков»¹⁴⁴, то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

– Придется отложить опрос свидетелей до утра, – сказал Остап. – Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью.

Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один – гарусный¹⁴⁵, ярко-голубой.

– Жилет прямо на продажу, – завистливо сказал Бендер, – он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии¹⁴⁶. Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену – восемь рублей.

– Деньги – после реализации нашего клада, – заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.

– Нет, я так не могу, – сказал Ипполит Матвеевич краснея. – Позвольте жилет обратно. Деликатная натура Остапа возмутилась.

– Но ведь это же лавочничество? – закричал он. – Начинать полторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал:

25/IV–27 г.

Выдано т. Бендеру Р. – 8

Остап заглянул в книжечку.

– Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит – жилет. Сальдо в мою пользу – пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники¹⁴⁷, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егеревском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора. Всем троим снились сны.

Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки¹⁴⁸ и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.

Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.

¹⁴³ «Бывали дни веселые...» – начальная строка популярной русской народной песни.

¹⁴⁴ Ходики – стенные механические часы с гириями.

¹⁴⁵ Гарусный – т.е. из гаруса, шерстяной или хлопчатобумажной ткани.

¹⁴⁶ Концессия – сдача государством в эксплуатацию иностранному или отечественному юридическому лицу части своих природных богатств, предприятий и технологических комплексов, других объектов.

¹⁴⁷ Напульсник – шерстяная трикотажная повязка, располагающаяся на руке у запястья, как правило – в том месте, где прощупывается пульс.

¹⁴⁸ Толстовка – просторная, длинная мужская рубашка, носившаяся навывпуск. Названа по имени писателя Л. Н. Толстого, пользовалась большой популярностью у его последователей.

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богаделок.

Глава VII. Следы «Титаника»

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением: отплеывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой.

Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза.

– Вы с ума сошли! – воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.

– Товарищ Бендер, – умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу!» – и снова бушевал.

– С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер, – сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

– Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите?

– Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар.

– Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон... И потом посмотрите. Вы читали это?

– Читал.

– А вот это – маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытирать, а сушить на солнце или у примуса¹⁴⁹... Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

¹⁴⁹ Примус – бесфитильный нагревательный прибор, работающий на бензине или керосине.

– Выдайте рубль герою труда, – предложил Остап, – и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем... Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса¹⁵⁰.

– Так он что, здесь в доме?

– Здесь и стоит.

– А скажи, дружок, – замирая, спросил Воробьянинов, – когда стул был у тебя, ты его... не чинил?

– Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

– Ну, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

– Могила, гражданин Воробьянинов. Услав дворника и прокричав: «Лед тронулся», Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича:

– Придется красить снова. Давайте деньги – пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить... Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот... Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец «Маклер» с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел «Мак-Магона». Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть – один только «Маклер», как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что «Маклер» не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..

– Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

– Такой же, как этикетка на вашем «Титанике», фальшивый! Давайте деньги на краску. Остап вернулся с новой микстурой.

– «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски. Но «изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы, как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице.

– Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана, – бодро заметил Остап, – но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

– Я не могу, – скорбно ответил Ипполит Матвеевич, – это невозможно.

– Что, усы дороги вам как память?

– Не могу, – повторил Воробьянинов, понуря голову.

– Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

¹⁵⁰ Соцобес – социальное обеспечение.

– Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника – запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

– Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку. Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

– Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!

– За конспирацию, товарищ фельдмаршал, – быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции, Но конец, который бывает всему, пришел.

– Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

– Ну, марш вперед, труба зовет! – закричал Остап. – Я – по следам в жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдела, а вы – к старухам!

– Я не могу, – сказал Ипполит Матвеевич, – мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

– Ах, да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт – в дворницкой. Парад – алле!

Глава VIII. Голубой воришка

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щеки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его – Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером¹⁵¹ симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», – думал Остап, поднимаясь наверх.

¹⁵¹ Капельмейстер – дирижер вокальной капеллы или оркестра.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из найдешевейшего туалъденора мышиноного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.

Это тройки знакомый разбег...

А вдали простирался широ-о-ко

Белым саваном искристый снег!..

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туалъденора¹⁵² и в туалъденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

– Дисканты, тише! Кокушкина, слабее! Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та,

То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум...

– Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза? – вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

– А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

– Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застыдился.

– Да, да, – сказал он, конфузясь, – это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

– Вам нечего беспокоиться, – великодушно заявил Остап, – я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

– Пожалуйте за мной, – пригласил завхоз. Прежде чем пройти дальше, Остап устался на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.¹⁵³

– В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

– Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный...

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туалъденора мышиноного цвета:

«Духовой оркестр – путь к коллективному творчеству».

– Очень хорошо, – сказал Остап, – комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам уютенного мрамора были наклеены приказы по дому N 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы

¹⁵² Туалъденор – легкая хлопчатобумажная ткань серого цвета для спецодежды, верхних мужских рубашек и т. п.

¹⁵³ Фисгармония – клавишный музыкальный инструмент.

протищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и мебелировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно: это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось – стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

– Это что, на машинном масле?

– Ей-богу, на чистом сливочном! – сказал Альхен, краснея до слез. – Мы на ферме покупаем. Ему было очень стыдно.

– Впрочем, это пожарной опасности не представляет, – заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туалъденора.

– Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка¹⁵⁴ такая, что ею только окна вытирать? Застенчивый Альхен потупился еще больше.

– Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

Он был противен самому себе. Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:

– К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится. Альхен испугался.

– Против пожара, – заявил он, – у нас все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

– На толкучке покупали?

¹⁵⁴ Кисейка (кисея) – легкая, прозрачная бумажная ткань, используется обычно для штор.

И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».

– Конечно, на толкучке, – подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место. Провожаемые шипением, они пошли дальше. «Где он может быть? – думал Остап. – Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туалетенорового чертога¹⁵⁵ до тех пор, пока не узнает все.

За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:

«ПИЩА – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»

«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»

«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ»

и

«МЯСО – ВРЕДНО»

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич – двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышинный туалетенор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в ломе все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь лом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили:

– Сейчас нажрут, станут песни орать!

– А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику.

– Посмотрите, пьяный сегодня придет... В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начал:

– ...бретение...

¹⁵⁵ Чертог – богатое помещение. В Древней Руси чертогом называли внутреннюю комнату, обычно спальню, брачную опочивальню. Позднее, в более широком значении – главная часть дома, парадный зал, богато разукрашенный.

Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:

– Евокррраххх видусо... ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, – Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, – Со-куц-кий...

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:

– ...изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом, – Дарья, Онега, Раймонд...

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

– ...А теперь прослушайте новгородские частушки...

Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини¹⁵⁶ запел:

На стене клопы сидели
И на солнце шурились,
Фининспектора узрели –
Сразу очоурились...

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Одни только Паша Эмильевич по-гурмански¹⁵⁷ крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

– Такую капусту грешно есть помимо водки.

– Новая партия старушек? – спросил Остап.

– Это сироты, – ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

– Дети Поволжья? Альхен замялся.

– Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

– Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.

– Сашхен, – сказал Александр Яковлевич, – познакомься с товарищем из губпожара.

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен – рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

– Пью за ваше коммунальное хозяйство! – воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

– Отчего, – спросил он, – в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?

– Как же, – заволновался Альхен, – а фисгармония?

¹⁵⁶ Баттистини Маттиа (1856–1928) – итальянский оперный певец.

¹⁵⁷ Гурман – ценитель и любитель тонких изысканных блюд.

– Знаю, знаю, вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

– В красном уголке есть стул, – обиделся Альхен, – английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.

– А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.

– Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоилось, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:

– Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.

– Грустно, девицы, – ледяным голосом сказал Остап.

– Это просто смешно! – нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время пеногон-огнетушитель «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туалъденоровый колпак. За первой струей пеногон-огнетушитель выпустил вторую струю туалъденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

– Чистая работа! – сказал Остап. – Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии:

– Брательников в доме поселил. Обжираются.

– Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.

– Все из дому повыносил.

– Спокойно, девицы, – сказал Остап, отступая, – это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил. Старухи не слушали.

– А Пашка-то Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела.

– Кому? – закричал Остап.

– Продал – и все. Мое одеяло продать хотел. В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец, человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда.

Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.

– Один мой знакомый, – сказал Остап веско, – тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи – сидит в допре.¹⁵⁸

– Мне ваши беспочвенные обвинения странны, – заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струи.

– Ты кому продал стул? – спросил Остап позванивающим шепотом.

¹⁵⁸ Допр – дом принудительных работ, одна из разновидностей общих мест заключения в 1920-е годы.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.

– Перекупщику, – ответил он.

– Адрес?

– Я его первый раз в жизни видел.

– Первый раз в жизни?

– Ей-богу.

– Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра¹⁵⁹ не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери.

Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.

– Ну, ты, жертва аборта, – высокомерно сказал Остап, – отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:

– Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

– Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса, – сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом.

– Удар состоялся, – сказал Остап, потирая ушибленное место, – заседание продолжается!

Глава IX. Где же ваши локоны?

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш бриллиантовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико и тянущуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только к одной точке земного шара – в уездном городе М. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя

¹⁵⁹ Заратустра – жрец и пророк, полупоупендарный реформатор иранской религии.

было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распутившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые-серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к Первому маю в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла¹⁶⁰ и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла фронт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем а цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.

– Точить ножи, ножницы, бритвы править! – закричал вблизи баритональный бас. И сейчас же донеслось тонкое эхо:

– Пяять, начинять!..

– Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!..

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроля. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

– Грабят, – шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул.

– Позвольте, позвольте, – лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца.

Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта.

Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было.

¹⁶⁰ Бемское стекло – устаревшее название богемского стекла, знаменитых в XVII–XVIII вв. изделий – кубков, ваз, чаш с мощной барочной резьбой и гравировкой.

«Что же это такое?» – отчаянно думал Ипполит Матвеевич.

Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная. Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.

– Позвольте же! – закричал он, не стесняясь.

– Ка-ра-ул! – еле слышно воскликнул незнакомец.

И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему попасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог лягаться только левой ногой.

– О господи! – зашептал незнакомец. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Флора и Лавра – отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил.

– Батюшка! – воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула,

Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.

– Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? – с невозможной язвительностью спросила духовная особа.

– А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?

Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас», он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция.

Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону.

Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.

– Так это вы, святой отец, – проскрежетал Ипполит Матвеевич, – охотитесь за моим имуществом?

С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.

Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.

– Это не ваше имущество.

– А чье же?

– Не ваше.

– А чье же?

– Не ваше, не ваше.

– А чье же, чье?

– Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

– А чье же это имущество? – возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:

– Это национализированное имущество.

– Национализированное?

– Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.

– Кем национализировано?

- Советской властью! Советской властью!
- Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А-а-а!.. – сказал Ипполит Матвеевич леденя. – Властью рабочих и крестьян?
- Да-а-а-с!
- М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М-может быть?

Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.

Вдруг раздался треск, отломилась сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Брильянтов не было.

- Ну что, нашли? – спросил Ипполит Матвеевич задыхаясь.
- Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.
- Вы аферист! – крикнул Ипполит Матвеевич. – Я вам морду побью, отец Федор!
- Руки короткие, – ответил батюшка.
- Куда же вы пойдете весь в пуху?
- А вам какое дело?
- Стыдно, батюшка! Вы просто – вор!
- Я у вас ничего не украл!
- Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!

Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулочка Воробьянинов увидел своего компаньона, Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполборота, приподняв левую ногу, ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»¹⁶¹:

Раньше это делали верблюды,
 Раньше так плясали ба-та-ку-ды,
 А теперь уже танцует шимми це-лый мир...

- Ну, как жилотдел? – спросил он деловито и сейчас же добавил: – Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь.
- Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и поволок его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.
- Ага! Небольшая черная бородка? Правильно! Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля.
- Да вы погодите...

¹⁶¹ Шимми – американский бытовой импровизационный парный танец; представляет собой разновидность фокстрота.

И Ипполит Матвеевич сообщил главному concessionеру обо всех подлостях отца Федора. Остап омрачился.

– Кислое дело, – сказал он, – пещера Лейхтвейса. Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать.

Пока друзья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился.

Золотые битюги снова стали коричневыми. Брильянтовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене: наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров.

Тигры, победы и кобры губплана таинственно светились под входящей в город луной.

Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью.

«Найду», – подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу.

Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.

Глава X. Слесарь, попугай и гадалка

Дом N 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи¹⁶², были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулочек. Помещались эти львиные хари в оконных ключах.

Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска:

ОДЕССКАЯ БУБЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ

Московские баранки

На вывеске был изображен молодой человек в галстук и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные¹⁶³ московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.

Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов – грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком.

Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодезем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечки тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией помещалась на правой двери:

В. М. П О Л Е С О В

¹⁶² Стиль Второй империи (второй ампир) – один из художественных стилей, сложившихся во Франции во второй половине 19 века.

¹⁶³ Охряный – цветв охры, желтоватый.

Левая была снабжена беленькой жестянкой
МОДЫ И ШЛЯПЫ

Это тоже была одна видимость. Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых»¹⁶⁴ в раме фантази темно-зеленого полированного дуба, под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых – узнать было уже невозможно.

В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.

– Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру, – сказала хозяйка.

Вдова, не зная преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.

– Только вы, пожалуйста, и будущее, – жалобно попросила она.

– Вас надо гадать на даму треф.

Вдова возразила:

– Я всегда была червонная дама. Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовой судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.

Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линия ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.

Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников.

– Вот спасибо вам, мадамочка, – сказала вдова, – уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?¹⁶⁵

– Марьяжный, девушка.

Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой.

Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос венчик седеющих волос.

¹⁶⁴ Беклин Арнольд (1827–1901) – швейцарский живописец, график, скульптор; один из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века.

¹⁶⁵ Марьяжный – предсказывающий свадьбу (в карточном гадании).

Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная». У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллектуалом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей перед тем как выпустить на сцену. Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.

– До чего дожились, – иронически сказал Полесов, – вчера весь город обегал, плашек¹⁶⁶ три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала:

– Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..

– Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет... Мрак! А остальные моторы – харьковская работа. Сплошной госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел...

Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроторенным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки – такие огромные, что ими можно было запирали города, – мягкие баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распорядился. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал действия возчика. Наконец, сердце его не выдерживало.

– Кто же так заезжает? – кричал он ужасаясь. – Заворачивай!

Испуганный возчик заворачивал.

– Куда же ты заворачиваешь, морда? – страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь.

– Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал.

Покомандовавши так с полчаса. Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То как улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить, то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской

¹⁶⁶ Плашка – резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или на станке.

отвесом; то, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами.

Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар – Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель к середине мостовой и сразу остановился, словно срезанный нулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления – посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал.

Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, двадцать один рубль семьдесят пять копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.

Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон¹⁶⁷. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке; железные штанги и копыя были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность: на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал.

Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копиями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цапки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам.

А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жесткой трубы которого било пламя, бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил держащегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома № 5. Он потерял еженощный заработок: ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил

¹⁶⁷ Самсон – герой ветхозаветных преданий, наделенный невиданной физической силой.

справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил христомбогом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше.

Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.

– При наличии отсутствия пропитанных шпал, – кричал Виктор Михайлович на весь двор, – это будет не трамвай, а одно горе!

– Когда же все это кончится! – сказала Елена Станиславовна. – Живем как дикари.

– Конца этому нет... Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова.

Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой.

– Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю – что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» – спрашиваю. А они говорят «спасибо» и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой, с ним был – красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал...

В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил.

– Витьки-слесаря опять нету? – спросил он у Елены Станиславовны.

– Ах, ничего я не знаю, – сказала гадалка, – ничего я не знаю.

И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе.

Дворник погладил цементный блок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески:

ХОД В СЛЕСАРНУЮ МАСТЕРСКУЮ

красовалась вывеска:

СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

И

ПОЧИНКА ПРИМУСОВ

под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал:

– У, гангрена!

Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, к колодцу, и, став на нее обеими ногами, начал скандалить.

– Ворюги у вас в доме номер семь живут! – вопил дворник. – Сволота всякая! Гадюка семибатьюшная! Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!..

В это время семибатьюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала.

С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор, не спеша, входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше.

– Слесарь-механик! – вскрикивал дворник. – Аристократ собачий!

Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.

– Харю разворочу! – неистовствовал дворник. – Образованный!

Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака».

Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал. Опасность миновала.

Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.

– Хам! – закричал Виктор Михайлович вслед шествию. – Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!

Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов». Виктор Михайлович еще долго хорохорился.

– Сукины сыны, – говорил он, обращаясь к зрителям, – возомнили о себе! Хамы!

– Будет вам, Виктор Михайлович! – крикнула из окна Елена Станиславовна. – Зайдите ко мне на минуточку.

Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать.

– Да говорю же вам, что это он, без усов, но он, по обыкновению, кричал Виктор Михайлович, – ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый!

– Тише вы, господи! Зачем он приехал, как вы думаете?

На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка.

– Ну, а вы как думаете?

Он усмехнулся с еще большей иронией.

– Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать.

– Вы думаете, что он подвергается опасности?

Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.

– Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбывают.

– Он послан из-за границы? – спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись.

– Безусловно, – ответил гениальный слесарь.

– С какой же целью он здесь?

– Не будьте ребенком.

– Все равно. Мне надо его видеть.

– А вы знаете, чем рискуете?

– Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем.

Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга.

– Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?

Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.

– Елена Станиславовна, – сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди, – я найду его и свяжусь с ним.

– Может быть, вы хотите еще компоту? – растрогалась гадалка.

Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.

Глава XI. Алфавит «Зеркало жизни»

На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

– Считаю вечер воспоминаний закрытым, – сказал Остап, – нужно переезжать в гостиницу.

Ипполит Матвеевич дрогнул.

– Этого нельзя.

– Почему-с?

– Там придется прописаться.

– Паспорт не в порядке?

– Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки. Концессионеры в раздумье помолчали.

– А фамилия Михельсон вам нравится? – неожиданно спросил великолепный Остап.

– Какой Михельсон? Сенатор?

– Нет. Член союза совторгслужащих.

– Я вас не пойму.

– Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

– Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется, друг детей... Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует.

Ипполит Матвеевич зарделся.

– Но удобно ли?

– По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу.

Воробьянинов все-таки запнулся.

– Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-Христоропуло или Злоуновым.

Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу. Остановились они в мебелированных комнатах «Сорбонна». Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их мебельровкой, Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.

– Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, – сказал Остап.

Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а мебельровка была строго выдержана: две кровати и ночной столик.

– Стиль каменного века, – заметил Остап с одобрением. – А доисторические животные в матрацах не водятся?

– Смотря по сезону, – ответил лукавый коридорный, – если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия».

В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза.

За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда.

Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках.

– Только бы ордера достать, – прошептал Ипполит Матвеевич, ваяясь на постель, – только бы ордера!..

Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу: «А маслом, – почему-то вертелось у него в голове, – каши не испортишь».

Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтой, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним бляели.

Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейников жил на Гусище – окраине Старгорода.

Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов.

Остап миновал светящийся остров-железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить».

После длительных расспросов, «к кому» да «зачем», ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил.

– Где здесь гражданин Коробейников? – спросил Бендер.

Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка – чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот – сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел.

Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым:

– Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза?

Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась.

– А раньше служили в жилотделе?

– Я всюду служил, – сказал старик весело.

– Даже в канцелярии градоначальства? При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и, наконец, остановилась в положении, свидетелевавшем,

что служба в градоначальстве – дело давнее и что все упомянуть положительно невозможно.

– А позвольте все-таки узнать, чем обязан? – спросил хозяин, с интересом глядя на гостя.

– Позволю, – ответил гость. – Я – Воробьянинова сын,

– Это какого же? Предводителя?

– Его.

– А он что, жив?

– Умер, гражданин Коробейников. Почил.

– Да, – без особой грусти сказал старик, – печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было?

– Не было, – любезно подтвердил Остап.

– Как же?..

– Ничего. Я от морганатического брака¹⁶⁸.

– Не Елены ли Станиславовны будете сынок?

– Да. Именно.

– А она в каком здоровье?

– Маман давно в могиле.

– Так, так, ах, как грустно!

И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду,

– Все умирают, – сказал он. – А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю...

– Вольдемар, – быстро сообщил Остап.

– Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я вас слушаю, Владимир Ипполитович. Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа.

Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это.

– Я хотел бы, – с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, – найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?

– Сложное дело, – ответил старик, подумав, – это только обеспеченному человеку под силу... А вы, простите, чем занимаетесь?

– Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре.

Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», – подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик – типичная сволочь».

– Так вот, – сказал Остап.

– Так вот, – сказал архивариус, – трудно, по можно...

– Потребуется расходов? – помог владелец мясохладобойни.

– Небольшая сумма...

– Ближе к телу, как говорит Мопассан¹⁶⁹. Сведения будут оплачены.

– Ну что ж, семьдесят рублей положите.

¹⁶⁸ Морганатический брак – брак царствующей особы, при котором супруг (или супруга) монарха и дети, рожденные в таком браке, не получают привилегий царствующего рода.

¹⁶⁹ Мопассан Ги де (1850–1893) – французский писатель.

– Это почему ж так много? Овес нынче дорог? Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником.

– Извольте шутить...

– Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?

– Деньги при вас?

Остап с готовностью похлопал себя по карману.

– Тогда пожалуйста хоть сейчас, – торжественно сказал Коробейников.

Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: А, Б, В и далее, до арьбергاردной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.

– Ого! – сказал восхищенный Остап. – Полный архив на дому!

– Совершенно полный, – скромно ответил архивариус. – Я, знаете, на всякий случай... Коммунизму он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться... Живем мы, знаете, как на вулкане... все может произойти... Кинутся тогда люди искать свои мебели, а где они, мебели? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет... А мне много не нужно – по десяточке за ордерок подадут – и на том спасибо... А то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!

Остап восторженно смотрел на старика.

– Дивная канцелярия, – сказал он, – полная механизация. Вы прямо герой труда!

Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.

– Все здесь, – сказал он, – весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это – алфавитная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-аулиста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов... Номер? Вот 82 742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» К" 97012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так далее... А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер 82 742... Дано. Шифоньер – в горвоенком, гардеробов три штуки – в детский интернат «Жаворонок»... И еще один гардероб – в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куда пошел? Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...

«Что-то не видел я там такого рояля», – подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

– Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина... На букву М, значит, и нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки¹⁷⁰ всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры... Сервизы даже и то есть...

– Ну, – сказал Остап, – вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква В.

– Есть буква В, – охотно отозвался Коробейников. – Сейчас. Вм. Вн. Ворицкий, N 48 238 Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек... Рояль «Беккер» N 54 809, вазы китайские, маркированные – четыре, французского завода «Севр», ковров обюссонов – восемь, разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров – два, хоросанских ковров – один, чучело медвежье с блюдом – одно, спальный гарнитур – двенадцать мест,

¹⁷⁰ Козетка – двухместный диванчик.

столовый гарнитур – шестнадцать мест, гостинный гарнитур – четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы...

– А кому роздано? – в нетерпении спросил Остап.

– Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом – во второй район милиции. Гобелен «Пастух» – в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» – в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан – в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный – в союз охотников, гарнитур столовый – в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостинный ореховый – по частям. Стол круглый и стул один – во 2-й дом собеса, диван с гнутой спинкой – в распоряжение жилотдела (до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили, сволочи), и еще один стул – товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом т. Буркина. Десять стульев в Москву, в музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма Наркомпроса... Вазы китайские, маркированные...

– Хвалю, – сказал Остап ликуя, – это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть.

– Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На N 48 238, литера В.

Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку.

– Вот-с. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?

– Куда мне все... Так... Воспоминания детства, гостинный гарнитур... Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»... Хорошее было время, золотое детство!. Так вот гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся.

Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два – по одному стулу, один – на круглый стол и один – на гобелен «Пастушка».

– Изволите ли видеть. Все в порядке. Где что стоит – все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа.

Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался,

– Можно расписочку писать? – осведомился архивариус, ловко выгибаясь.

– Можно, – любезно сказал Бендер, – пишите, борец за идею.

– Так я уж напишу.

– Кройте!

Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот же карман, где уже лежали драгоценные ордера.

– Ну, пока, – сказал он, сощурился, – я вас, кажется, сильно беспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии.

Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку.

– Пока, – повторил Остап. Он двинулся к выходу.

Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил:

– А деньги?

– Какие деньги? – сказал Остап, открывая дверь. – Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

– Да, как же! За мебель! За ордера!

– Голуба, – пропел Остап, – ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.

Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.

– Тише, дурак, – сказал Остап грозно, – говорят тебе русским языком – завтра, значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!..

Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста. Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом.

– Лед тронулся! – закричал Остап машинисту. – Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задержали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался.

Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко.

Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином.

Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ложкам обеденного стола.

Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.

– Шутки?! – крикнул он, вспоминая о погибших ордерах. – Теперь деньги только вперед, И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! Ручная работа!..

Звон «прошу крутить» давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал:

– Куда здесь войти?

Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь – драп) и ввел в столовую отца Федора.

– Великодушно извините, – сказал отец Федор.

Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества.

Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти.

– Деньги бы я попросил вперед, – заявил архивариус, – это мое правило.

– А это ничего, что я золотыми десятками? – заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.

– По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс.

Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит – зеркало жизни на букву П, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный т. Брунсу, проживающему по Виноградской, 34, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю.

– Все в одном месте? – воскликнул покупатель.

– Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете!

Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту.

Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков.

«И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? – подумал он, – С ума посходили».

Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.

Глава XII. Знойная женщина – мечта поэта

За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клетках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзаж. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тучком грязного белья.

В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съехались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской «Сорбонна» высадились их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распаивались, чувствуя тяжесть весны.

На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроля лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы.

В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), слышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штаблетах.

– Кстати, – сказал он, – прошу погасить задолженность.

Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, без пенсне, глазами,

– Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, семьдесят рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях?

Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии брильянтовой горы.

Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте жизни тешили его. «А святой отец? – мысленно ехидствовал он. – Дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».

Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь N 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались... В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора, Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал.

– Здравствуйте, батюшка, – сказал он с невыразимой сладостью.

Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответил:

– Доброе утро, Ипполит Матвеевич.

Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил:

– Не ушиб ли я вас во время последней встречи?

– Нет, отчего же, очень приятно было встретиться, – ответил ликующий отец Федор.

Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.

– Обедню небось уже не служите? – спросил он при следующей встрече.

– Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.

– Заметьте – свои сокровища! Свои!

– Мне неизвестно – чьи, а только ищут.

Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного – Остап Бендер, в голубом жилете, и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.

– Покупаете старые вещи? – спросил Остап грозно. – Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы?

– Что вам угодно? – прошептал отец Федор.

– Мне угодно продать вам старые брюки.

Священник оледенел и отодвинулся.

– Что же вы молчите, как архиерей на приеме?

Отец Федор медленно направился к своему номеру.

– Старые вещи покупаем, новые крадем! – крикнул Остап вслед.

Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться:

– Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши. Оптом всю партию – дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?!

Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отделилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:

– Сам ты дурак!

– Что? – крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок.

Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

– Почему опиум для народа? За дверью молчали.

– Папаша, вы пошлый человек! – прокричал Остап.

В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились.

– И враг бежит, бежит, бежит! – пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся.

Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.

– Ордер на гобелен «Пастушка», – сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. – Я купил этот гобелен у петербургского антиквара.

– К черту пастушку! – крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.

– Стол круглый... Как видно, от гарнитура...

– Дайте сюда столик. К чертовой матери столик! Остались два ордера: один – на 10 стульев, выданный музеем мебельного мастерства в Москве, другой – на один стул – т. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова¹⁷¹, 15.

– Готовьте деньги, – сказал Остап, – возможно, в Москву придется ехать.

– Но тут ведь тоже есть стул?

– Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку.

– Не шутите так, не нужно.

– Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго¹⁷² кушать.

– Мне почему-то кажется, – заметил Ипполит Матвеевич, – что ценности должны быть именно в этом стуле.

– Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом пятнадцать. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге.

Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.

– Как бы он за нами не пошел! – испугался Ипполит Матвеевич.

– После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится.

Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки, в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полупелюшковый шарф румынского оттенка.

¹⁷¹ Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – публицист и политический деятель, первый русский марксист.

¹⁷² Крем Марго – мороженое.

– Есть-то он есть, – сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой, – но как этот стул достать? Купить?
– Как же, – ответил Остап, – не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?..
– Что же делать?

Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет.

– Шик-модерн, – сказал он. – Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит.

– Нет, вы знаете, – оживился Ипполит Матвеевич, – когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там... Ну вот, ей-богу ж, я чувствую.

– Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.

– Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!

– Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство – грабить бедную вдову.

Ипполит Матвеевич опомнился.

– Хочется ведь скорее, – сказал он умоляюще.

– Скоро только кошки родятся, – наставительно заметил Остап. – Я женюсь на ней.

– На ком?

– На мадам Грицацуевой.

– Зачем же?

– Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле.

– Но ведь вы себя связываете на всю жизнь!

– Чего не сделаешь для блага концессии!

– На всю жизнь! – прошептал Ипполит Матвеевич.

Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось, Показались не чищенные со дня отъезда из города N голубые зубы.

– На всю жизнь! – прошептал Ипполит Матвеевич. – Это большая жертва.

– Жизнь! – сказал Остап. – Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что, если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слышали о гусаре-схимнике?¹⁷³ Ипполит Матвеевич не слышал.

– Буланов! Не слышали? Герой аристократического Петербурга? Сейчас услышите.

И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.

РАССКАЗ О ГУСАРЕ-СХИМНИКЕ ***

Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара – куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.

¹⁷³ Схимник – монах, посвященный в схиму; схима – высшая степень монашества, предписывающая затворническую жизнь и соблюдение строгих правил.

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходов против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок¹⁷⁴.

Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследства их увеличивали и без того огромное состояние гусара.

Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику¹⁷⁵ в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька.

Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины тревилась из-за него, мужчины зазавидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.

И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шума. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.

Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар¹⁷⁶ XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему – несчастный роман.

А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.

В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму: клубок с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и ряску, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.

Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.

¹⁷⁴ Штафирка – подкладка под обшлага рукавов; здесь: мелкий чиновник.

¹⁷⁵ Менелик (1844–1913) – император Абиссинии.

¹⁷⁶ Валтасар – последний вавилонский царь, имя которого упоминается в библейском рассказе о падении Вавилона. Несмотря на осаду столицы, предпринятую Киром, царь и все жители, имея у себя богатый запас продуктов, могли беспечно предаваться удовольствиям жизни.

Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя,

Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари.

Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет.

Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожалы плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.

Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения) он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он поворочался до утра, тихо стелая и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все: по углам его мрачной постели быстро перебежали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно.

В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина.

Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались.

Было испробовано последнее средство: продукты бр. Глик – розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.

Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным.

Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя, сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала, Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.

Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах туш и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:

– Мои маленькие друзья.

– Где вы были? – спросил Ипполит Матвеевич спросонья.

– У вдовы, – глухо ответил Остап.

– Ну?

Ипполит Матвеевич оперся на локоть.

– И вы женитесь на ней?

Глаза Остапа заискрились.

– Теперь я уже должен жениться, как честный человек.

Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул.

– Знойная женщина, – сказал Остап, – мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах – еще встречаются.

– Когда же свадьба?

– Послезавтра. Завтра нельзя: Первое – мая – все закрыто.

– Как же будет с нашим делом? Вы женитесь... А нам, может быть, придется ехать в Москву.

– Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается.

– А жена?

– Жена? Брильянтовая вдовушка? Последний вопрос! Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнарком. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.

Глава XIII. Дышите глубже: вы взволнованы!

В утро Первого мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки.

Колонна музработников, в мягких отложных воротничках, каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая.

Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Щ», все время насакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики:

– Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку!

Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович.

– Конечно же, вам сюда, в тупик, надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать! – надрывался Полесов. – Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!

Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше – в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду.

Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонке приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц.

Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.

– Васька! – кричали с тротуара. – Буржуй! Отдай подтяжки.

Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильнее!..

Физкультурники по команде отдельно кричали нечто невнятное.

Все шло, ехало и маршруировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая.

Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай.

Как-то, в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там.. где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире.

Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча:

– Хозрасчет.

Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши. Фамилия инженера была Треухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп¹⁷⁷, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки.

¹⁷⁷ Нэп – новая экономическая политика, нэп, проводилась в СССР в 1920-е гг.; названа новой, в отличие от экономической политики периода гражданской войны.

Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства Старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали.

– Это варварство! – кричал Треухов на жену. – Денег нет? А переплачивать на извозпромышленников, на гужевую доставку¹⁷⁸ на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого! Конечно, монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись!.. Трамвай окупится в шесть лет!

Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи, сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо к двенадцати трамвайных линий.

– Черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии! Без них Старгород задохнется. Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайнюю мере пятая часть жалованья уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить.

Потащил он свой проект и к новому заведующему Старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Треухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал:

– А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоитдешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!

– Вот это есть Азия! – сердито сказал Треухов. – Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.

– А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.

– Ну, и выписывайте себе ваших ишаков! – закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверью.

С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы:

– Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?

Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили.

Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему:

– У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак – его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество! А еще какое? Заем! Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться?

– Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди – через шесть лет.

– Ну, будем считать через десять. Теперь – акционерное общество. Кто войдет? Пищестрест, Маслоцентр. Канатчикам трамвай нужен? Нужен! Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики! НКПС¹⁷⁹, может быть, даст немного. Ну,

¹⁷⁸ Гужевой транспорт – вид дорожного (безрельсового) транспорта, как грузового, так и пассажирского, в котором транспортные средства (повозки) приводятся в движение животными.

¹⁷⁹ НКПС – народный комиссариат (совр. министерство) путей сообщения.

губисполком даст. Это уж обязательно. А раз начнем – Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся – за вами остановка.

Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед гужевым.

В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищтрест всячески старался вместо 15% акций получить только десять. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГубКК. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать.

– Ну, товарищ Треухов, – сказал Гаврилин, – начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить.

Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года. А нужны они были, самое позднее, через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец, дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном «фиате» на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки. Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки.

В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками: «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и... плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «С бумажным морем пора покончить» – стала дарить читателей солнечным и бодрыми заголовками очерков Маховика: «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее, в том же духе,

Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки:

«...Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.

Наверху – он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек, в затрапезной фуражке с молоточками.

Вспоминаю: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн»¹⁸⁰.

Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся, Спрашиваю:

– Как выполняются задания?

Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова оживает...

Он пожимает мне руку. Он говорит:

– Семьдесят процентов задания уже выполнено».

Статья кончалась так:

¹⁸⁰ Строчка из петербургской повести А. С. Пушкина «медный всадник».

«Он жмет мне на прощанье руку... Позади меня гудят стропила.

Рабочие спуют там и сям.

Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?

МАХОВИК».

Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было и иногда удавалось пропустить сочинения т. Маховика.

Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.

«Конечно, – писал он, – болты можно называть трансмиссией¹⁸¹, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах – все равно, что утверждать, будто бы виолончель рождает детей. Примите и проч.»

После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15 000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьез и слезы».

Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища.

Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на «арматуру», не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до Первого мая. К этому дню решительно все было готово.

Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле.

По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка¹⁸², в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета.

В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая.

На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров.

– Товарищи! – сказал Гаврилин. – Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым.

Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал».

– Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! – крикнул Гаврилин.

Принц Датский – Маховик – и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки:

¹⁸¹ Трансмиссия – в машиностроении совокупность сборочных единиц и механизмов, соединяющих двигатель (мотор) с ведущими колесами транспортного средства (автомобиля) или рабочим органом станка.

¹⁸² Зеркальный фотоаппарат.

«Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза т. Гаврилина. Толпа обратилась в слух».

Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик-Датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире...»

Гаврилин начал свою речь хорошо и просто:

– Трамвай построить, – сказал он, – это не ешака купить.

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора.¹⁸³ Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза...» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами:

– И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из дела, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!..

Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию...» Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию...» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решил и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил.

Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться.

Наконец, нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки.

– Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! – радостно возвестил Гаврилин. – Ну, говори, а то я совсем не то говорил, – добавил он шепотом.

Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец,

¹⁸³ Бора – американский политический деятель, активно выступавший за признание США Советского Союза и установление торговых отношений с СССР.

осуществить проект постройки огромной мясохладобойни. Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:

– Товарищи! Международное положение нашего государства...

И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае, «Вот обидно, – подумал он, – абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».

И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера, – восклицал он, – эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...» Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть – в тоне до и последнюю, патетическую – в тоне ми. Жесты его были умеренны и красивы.

«А мы только муть разводим, – решил Треухов, – лучше б совсем не говорили».

Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударил тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по Гусишу; пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного.

Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на

1 мая в 9 ч. вечера

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР

имеющий быть в клубе коммунальщиков по следующей программе:

1. Доклад т. Мосина
2. Вручение грамоты союзом коммунальщиков
3. Неофициальная часть:

большой концерт и семейный ужин с буфетом.

На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.

– Воздушный тормоз работает неважно, – заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, – не всасывает.

– Тебя не спросили, – ответил вагоновожатый, – авось засосет.

Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухов а качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали т. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не кто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что

Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.

Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами.

Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке¹⁸⁴ без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо.

– Внимание! – крикнул бородатый армяковладелец. – Коля! Ставь юпитера!

Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.

– Это вы кино? – спросил он. – Что ж вы днем не приехали?

– А когда назначено открытие трамвая?

– Он уже открыт.

– Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы – крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите... Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так. В три четверти... Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая... Коля! Начали! Говорите что-нибудь!..

– Ну, мне, право, так неудобно!..

– Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая... Люда! Войдите в рамку. Так. Дышите глубже: вы взволнованы!.. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так... Большое спасибо... Стоп!..

С давно дрожавшего «фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.

– Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите!

Гаврилин с ненавистью засопел.

– Прекрасно!.. Милочка!.. Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы... Так... Прекрасно. Коля, кончили.

– А трамвай снимать не будете? – спросил Треухов застенчиво.

– Видите ли, – промычал кожаный режиссер, – условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!

Кинохроника молниеносно исчезла.

– Ну, поедem, дружок, отдыхать, – сказал Гаврилин. – Ты что, закурил?

– Закурил, – сознался Треухов, – не выдержал. На семейном вечере голодный накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил:

– Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука. И главное – абсолютно простая. Мост через Гудзон...

Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы:

– Эти акробаты фарса, эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин! – кричал он.

¹⁸⁴ Армяк – верхняя, долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани, с капюшоном, без пуговиц, застежек, запахивается ремнем. Напоминает шерстяной, теплый халат.

Домой его отвезла жена на извозчике.

– Хочу ехать на трамвае, – говорил он жене, – ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать!.. Почему? Во-первых, это выгодно...

Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову.

– Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич. – сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе.

– Не имею чести, – пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллекту.

– Ну-ну, – сказал он, – что вы хотите сказать моему другу?

– Вам не надо беспокоиться, – зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. – Я от Елены Станиславовны...

– Как? Она здесь?

– Здесь. И очень хочет вас видеть.

– Зачем? – спросил Остап. – А вы кто такой?

– Я... Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню.

– Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, – нерешительно сказал Воробьянинов.

– Она чрезвычайно просила вас прийти.

– Да, но откуда она узнала?..

– Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал: знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно.

– Знакомая женщина? – спросил Остап деловито.

– М-да, старая знакомая...

– Тогда, может быть, зайдём поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто.

– Пожалуй.

– Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.

И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулоч.

Глава XIV. «Союз меча и орала»¹⁸⁵

Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседесть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы.

Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?» – Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году, перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от бывлой красоты не осталось и следа.

– Как вы изменились! – сказал он невольно.

Старуха бросилась ему на шею.

– Спасибо, – сказала она. – я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна.

¹⁸⁵ Орало – орудие для пахоты.

– Но я приехал вовсе не из Парижа, – растерянно сказал Воробьянинов.

– Мы с коллегой прибыли из Берлина, – поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича, – об этом не рекомендуется говорить вслух.

– Ах, я так рада вас видеть! – возопила гадалка. – Войдите сюда, в эту комнату... А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?

– О! – заметил Остап. – Первое свидание! Трудные минуты! Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?

Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантазмагорические¹⁸⁶ идеи, клонящиеся к спасению родины.

Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевыми.

– А вы помните, Елена Станиславовна? – говорил Ипполит Матвеевич.

– А вы помните, Ипполит Матвеевич? – говорила Елена Станиславовна.

«Кажется, наступил психологический момент для ужина», – подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал:

– В Берлине есть очень странный обычай – там едят так поздно, что нельзя понять, что это – ранний ужин или поздний обед.

Елена Станиславовна встрепелась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащила на кухню.

– А теперь действовать, действовать и действовать! – сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку.

– Старуха не подкачает? Надежная женщина?

Полесов молитвенно сложил руки.

– Ваше политическое кредо?

– Всегда! – восторженно ответил Полесов.

– Вы, надеюсь, кирилловец¹⁸⁷?

– Так точно.

Полесов вытянулся в струну.

– Россия вас не забудет! – рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс.

В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать.

– Мадам, – сказал он, – мы счастливы видеть в вашем лице...

Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Из всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито:

– Строгий секрет! Государственная тайна! Остап показал рукой на Воробьянинова:

– Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.

¹⁸⁶ Фантазмагорический – бредовый, причудливый.

¹⁸⁷ Кирилловец – принадлежащий к одному из трех основных течений в эмигрантском монархическом движении. «Кирилловцы» поддерживали Великого Князя Кирилла Владимировича, который в 1924 г. в связи с убийством лиц, стоявших перед ним в порядке престолонаследия, объявил о принятии дошедших до него согласно Основным Государственным Законам Российской Империи прав и обязанностей Императора Всероссийского. Поэтому «кирилловцы» именуется легитимистами.

Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрал подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа.

– Наших в городе много? – спросил Остап напрямик. – Каково настроение?

– При наличии отсутствия... – сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома N 5, возмнивший о себе хам, и платки три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее.

– Хорошо! – грянул Остап. – Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

– Кого ж можно пригласить! Максима Петровича разве с женой?

– Без жены, – поправил Остап, – без жены! Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?

В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне падежных.

– В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом. Заговорил Полесов:

– Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским.

Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.

– Что это значит? – спросил Ипполит Матвеевич.

– Это значит, – ответил Остап, – что вы отсталый человек.

– Почему?

– Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?

– Каких денег?

– Всяких. Включая серебро и медь.

– Тридцать пять рублей.

– И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию? Ипполит Матвеевич молчал.

– Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.

– Зачем?

– Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.

– Что же я должен делать? – простонал Ипполит Матвеевич.

– Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.

– Но ведь это же... обман.

– Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.

– К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести.

– Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай.

Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости.

Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.

Бывший гласный городской думы¹⁸⁸ Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову:

– Вы в каком полку служили?

Чарушников запыхтел.

– Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

– Вы дворянин?

– Да. Был.

– Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!

Остап отогнал Полесова от Никешы и Влады и с неподдельной суровостью спросил:

– В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.

Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано».

Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях.

Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.

– Крепитесь, – сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал.

– Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа.

Кислярский сочувственно загрустил,

– Вы знаете, кто это сидит? – спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.

– Как же, – ответил Кислярский, – это господин Воробьянинов.

– Это, – сказал Остап, – гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.

«В лучшем случае – два года со строгой изоляцией, – подумал Кислярский, начиная дрожать. – Зачем я сюда пришел?»

¹⁸⁸ Гласный – член собрания с правом решающего голоса в Российской империи.

– Тайный союз меча и орала! – зловеще прошептал Остап.

«Десять лет», – мелькнула у Кислярского мысль.

– Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!

«Я тебе покажу, сукин сын, – подумал Остап. – Меньше, чем за сто рублей, я тебя не выпущу».

Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.

– Граждане! – сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

Полесов не понял своего нового друга – молодого гвардейца.

«Какие дети? – подумал он. – Почему дети?» Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась, Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено, – решил он, – под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – и дело с концом».

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.

Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова», – думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер.

– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.

– Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.

Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленные Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа.

– В порядке старшинства, господа, – сказал Остап, – начнем с уважаемого Максима Петровича.

Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.

– В лучшие времена дам больше! – заявил он.

– Лучшие времена скоро наступят, – сказал Остап. – Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.

Восемь рублей дали Никеша с Владей.

– Мало, молодые люди.

Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес пятьдесят.

– Bravo, гусар! – сказал Остап. – Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?

Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнилельный. Остап был неумолим:

– В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей.

– Всего, – возгласил Остап, – четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета.

Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые двенадцать рублей.

Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами.

– О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, – говорил Остап на прощание, – строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне... Это, кстати, в ваших личных интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходиться ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.

– Ну, – сказал Остап, – будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделить на время. А я пошел.

Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу.

Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей.

– Извозчик! – крикнул он. – Вези в «Феникс»!

– Это можно, – сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану.

– Это что? Закрыто?

– По случаю Первого мая.

– Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь?

Остап решил поехать к своей невесте,

– А раньше как эта улица называлась? – спросил извозчик.

– Не знаю.

– Куда же ехать? И я не знаю.

Тем не менее Остап велел ехать и искать.

Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова – не иначе как бывшая Губернаторская.

– Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.

– Ну, и езжай!

Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса.

Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел ее.

Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.

– Вези в «Сорбонну»! – крикнул он. – Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!

Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король – сын турецкоподданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели.

Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный

затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии: товарищ Бендер.

Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько».

Остап все время произносил речи, речи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру:

– Так вы не тяните. Они там.

– Вы – стяжатель, – ответил пьяный Остап, – ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи.

Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться.

В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.

– Как это вам удалось? – выговорил, наконец, Воробьянинов.

– Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди». Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет – отдыхал на стуле по пути.

Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу.

– Тихо, – сказал Остап, – нужно действовать без шума.

Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела.

– Вы дверь заперли? – спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.

– Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь.

Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения.

– Готово, – сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица.

– Ну? – повторял Ипполит Матвеевич на разные лады. – Ну? Ну?

– Ну и ну, – отвечал Остап раздраженно, – один шанс против одиннадцати. И этот шанс... Он хорошенько порылся в стуле и закончил:

– И этот шанс пока не наш.

Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу.

Брильянтов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр.

– Теперь наши шансы увеличились.

Он походил по комнате.

– Ничего! Этот стул обошелся вдове больше, чем нам.

Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.

Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи.

– Пошлая вещь, – заметил Остап, – но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует.

Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей – это вам не вдова; там потруднее будет!

Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось пятьсот тридцать пять рублей), выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку, Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «караул!» и «хам!».

До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной.

Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья прикинули к окну. Вагоны проносились над Гусищем. Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс.

– Смотрите, смотрите! – крикнул он. – Скорее! Альхен, с-сукин сын!..

Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышинной толстовочке.

Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей.

Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул:

– Пашка! На толкучку едешь?

Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами.

– Видели? – радостно спросил Остап. – Красота! Вот работают люди!

Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине.

– Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве!

Часть вторая. В Москве

Глава XV. Среди океана стульев

Статистика знает все.

Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лесс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову – книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!

Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы, В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной

рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.

Кто же этот розовощекий индивид-обжора, пьянчуга и сластун? Гаргантюа¹⁸⁹, король дипсодов? Силаф Фосс?¹⁹⁰ Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка?¹⁹¹ Лукулл?¹⁹² Это не Лукулл. Это – Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это – нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.

От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много.

Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке – истертые ковры и паласы, то все же остается пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов. Для верности откажемся еще от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.

Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой.

Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.

Глава XVI. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца¹⁹³

Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли; у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходявших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.

¹⁸⁹ Гаргантюа – великан-обжора, один из героев сатирического романа французского писателя 16 века Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

¹⁹⁰ Силач Фосс – имеется в виду весьма известный на рубеже 19–20 веков цирковой артист, выступавший под именем Эмиль Фосс (или де Фосс, что, возможно, псевдоним), борец необычайной силы и веса. Гастроли этого чемпиона атлета из Штеттина часто сопровождалась серией скандалов, организованных с рекламными целями.

¹⁹¹ Яшка Красная Рубашка – герой русских сказок, веселый и дерзкий плут.

¹⁹² Лукулл (ок. 117 – ок. 56 до н.э.) – римский полководец, отойдя от политической деятельности, жил в Риме, где устраивал пиры, необычайная пышность которых вошла в поговорку.

¹⁹³ Имеется в виду живший в 13–14 веках немецкий монах-францисканец, легендарный алхимик, которому приписывалось изобретение пороха и огнестрельного оружия.

Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Старгородская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены.

Оставался самый томительный участок пути – последний час перед Москвой.

Из реденьких лесочков и рощ подсакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блестящие стеклом веранд и свежеразкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников.

В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевернув сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке¹⁹⁴, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними.

– Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? – встревоженно говорил он.

– Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством, Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.

Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны.

Пути вздваивались.

Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топоры. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Дёповцы загоняли паровоз в стойло.

От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.

Это была Москва. Это был Рязанский – самый свежий и новый из всех московских вокзалов.

Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.

Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского – попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского – выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик – наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с

¹⁹⁴ Битва при Калке – 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Русские, выступавшие в союзе с половцами, потерпели поражение. К истории Москвы эта битва отношения не имеет.

собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассалья¹⁹⁵, бывшая Дерibasовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это – башмачники из Талдома¹⁹⁶, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии – сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших.

Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.

Концессионеры с трудом пробилась к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них выселись геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.

– Очень удобно для свиданий! – сказал Остап. – Всегда есть десять минут форы.

Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.

– Куда мы, однако, едем? – спросил Ипполит Матвеевич.

– К хорошим людям, – ответил Остап, – в Москве их масса. И все мои знакомые.

– И мы у них остановимся?

– Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.

В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лотошники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.

Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом Вражке.

– Что это за дом? – спросил Ипполит Матвеевич.

Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:

– Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца.

– Неужели монаха?

– Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко.

Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расплзлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ.¹⁹⁷ Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди.

Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.

¹⁹⁵ Лассаль – Фердинанд (1825–1864) – немецкий политический деятель и писатель.

¹⁹⁶ Талдом – город в Московской области.

¹⁹⁷ МУНИ – Московское управление недвижимым имуществом.

– Свет и воздух, – сказал Остап.

Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел.

– Не пугайтесь, – заметил Остап, – это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики, – лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.

Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.

– Что, больно? – осведомился Остап. – Это еще ничего. Это – физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений – жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке,¹⁹⁸ а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.

По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.

– Ты дома, Коля? – тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.

В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.

– Дома, – ответили за дверью.

– Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! – зашептал женский голос из крайнего пенала слева,

– Да дайте же человеку поспать! – буркнул пенал N 2.

В третьем пенале радостно зашипели:

– К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.

В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались.

Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичках. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми – для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены – и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.

– Прекрасное утро, сударыня, – сказал Ипполит Матвеевич.

Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.

– Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но, вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте!

И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала.

– Зверевы дураки!

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

– Видите? Они ничего не слышат. Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите!..

– Да, – сказал Ипполит Матвеевич.

¹⁹⁸ Имеется в виду рынок на площади у Сухаревой башни, построенной в конце 17 века.

– А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле...

В это время вернулся Коля с Остапом.

– Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.

– Верно, ребята! – закричал Коля. – Идите к Иванову. Это свой парень.

– Приходите к нам в гости, – сказала Колина жена, – мы с мужем будем очень рады.

– Опять в гости зовут! – возмутились в крайнем пенале. – Мало им гостей!

– А вы – дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! – сказала Колина жена, не повышая голоса.

– Ты слышишь, Иван Андреевич, – заволновались в крайнем пенале, – твою жену оскорбляют, а ты молчишь.

Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванову.

Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей».

– Не беда, – сказал Остап, – я знаю, где ключ. Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.

Комната студента Иванову была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.

– Отлично устроимся, – сказал Остап, – приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей – сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?

Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.

– Аут, – сказал Остап, – класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать.

Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой.

Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.

Глава XVII. Уважайте матрацы, граждане!

– Лиза, пойдем обедать!

– Мне не хочется. Я вчера уже обедала.

– Я тебя не понимаю.

– Не пойду я есть фальшивого зайца.

– Ну, и глупо!

– Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.

– Сегодня будешь есть шарлотку.

– Мне что-то не хочется.

– Говори тише. Все слышно.

И молодые супруги перешли на драматический шепот.

Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.

– Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? – закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.

– Да говори тише! – громко закричала Лиза. – И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?

Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое – борщ монастырский и одно второе – фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» – задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:

– Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.

– Конечно, – с застенчивой иронией сказала Лиза. – например, ангина.

– Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.

– Как это глупо!

– Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.

Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоня фон из пресных и вялых лапшевников, каши, картофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.

– Ведь ты пойми, – закричал Коля, – какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!

– Пусть отнимает! – сказала Лиза. – Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.

– Почему же ты не хотела говорить?

– У меня не было сил. Я боялась заплакать.

– А теперь ты не боишься?

– Теперь мне уже все равно.

Лиза всплакнула.

– Лев Толстой, – сказал Коля дрожащим голосом, – тоже не ел мяса.

– Да-а, – ответила Лиза, икая от слез, – граф ел спаржу.

– Спаржа не мясо.

– А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал – лопал, лопал, лопал!

– Да замолчи!

– Лопал! Лопал! Лопал!

– А когда «Крейцерову сонату» писал, тогда тоже лопал? – ядовито спросил Коля.

– «Крейцера соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках!

– Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим Толстым?

– Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?

Коля тоже перешел на «вы» – в пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку,

– Куда ты идешь?

– Оставь меня в покое. Иду по делу. И Лиза убежала.

«Куда она могла пойти?» – подумал Коля. Он прислушался.

– Много воли дано вашей сестре при советской власти, – сказали в крайнем слева пенале.

– Утопится! – решили в третьем пенале.

Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями.

Лиза взволнованно бежала по улицам.

Был тот час воскресного дня, когда счастливицы везут по Арбату с рынка матрацы.

Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся цветочках, основу своего счастья!

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это – семейный очаг, альфа и омега мебелировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса? Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец.

Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему займы денег «до среды», шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов.

Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:

Под мягкий звон часов Буре¹⁹⁹ приятно отдыхать в качалке.

Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.

Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.

Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки – бескорыстно, повинувшись законам природы.

Начинается цветение молодости. Финагент, собравши налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус «Ювель N 1».

Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего мяча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:

– Пойди! Купи рубель и скалку!

– Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра!

¹⁹⁹ Имеются в виду часы торгового дома Павел Буре. Фирма эта была основана швейцарским коммерсантом П. Э. Буре, получившим в 1816 году от Александра 1 привилегию на торговлю часами. В 1920-е годы часы Буре считались признаком респектабельности.

– Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку. Матрац все помнит и все делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.

– Я сломя твое упорство, поэт! – говорит матрац. – Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.

– У меня нет жены! – кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.

– Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.

– Я не люблю детей!

– Ты полюбишь их!

– Вы пугаете меня, гражданин матрац!

– Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве кредит на мебель.

– Я убью тебя, матрац!

– Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.

Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливицы.

Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье – музейный день.

Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

– Эх! Люди жили!

Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном²⁰⁰. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин – штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль; что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?

В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит тоскуя:

– Эх! Люди жили!

Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни.

«Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться».

Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.

– Это просто безобразие! – сказала она вслух. Есть захотелось еще сильнее.

– Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.

И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацевладельницей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд

²⁰⁰ Пюви де Шаванн, Пьер Сесиль (1824–1898) французский художник, представитель символизма, классик монументально-декоративной живописи.

двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. «Пусть видят!» – решила озлобленная Лиза.

Глава XVIII. Музей мебели

Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской;

МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек, и Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль.

Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:

– Богато жили люди!

Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.

В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять.

Это были комнаты, обставленные павловским ампиrom, красным деревом и карельской березой – мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копиями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака»²⁰¹, показался бы на столе чернильным прибором. Так по крайней мере чудилось Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел.

В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.

Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило – ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.

По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами.

Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые – Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик.

– Вот хорошо! – сказала Лиза. – Будет не так скучно.

Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых

²⁰¹ Речь идет о премьере балета Р. М. Глиэра «Красный мак», поставленного Большим академическим театром в 1927 году.

ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками.

Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха.

Наконец, Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез.²⁰²

Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. Подходя, Лиза услышала звучный голос:

– Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.

– Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть.

– Здравствуйте, – сказала Лиза.

Оба повернулись и сразу сморщились.

– Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе.

Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать а важном деле поисков брильянтовой мебели.

– Мы – типичные провинциалы, – сказал Бендер нетерпеливо, – но как попали сюда вы, москвичка?

– Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.

– Вот как? – заметил Ипполит Матвеевич.

– Ну, покинем этот зал, – сказал Остап.

– А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.

– Начинается! – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: – Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского²⁰³.

– Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса, – сообщил Ипполит Матвеевич, – туда, пожалуй, отправимся.

Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.

Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспособливалась виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.

²⁰² стиль Луи-Сез (Луи Шестнадцатый) – стиль, представляющий собой нечто среднее между рококо и классицизмом.

²⁰³ Керенский Александр Федорович (1881–1970) – русский политический деятель, последний премьер Временного правительства в 1917 году.

– Потерпим, – шепнул Остап, – мебель не уйдет; а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную. Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена многочисленными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.

– Смотрите, смотрите! – доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав. – Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда?

– Прелестная мебель! – гневно сказал Остап. – Упадочная только.

– А здесь я уже была, – сказала Лиза, входя в красную гостиную, – здесь, я думаю, останавливаться не стоит.

К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые.

– Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала.

– Подождите, – сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки, – одну минуточку.

Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.

– Вы устали, барышня, – сказал он Лизе, – присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал. Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.

– Они? – опросил Остап.

– Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть.

Все стулья тут? Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите...

Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.

– Позвольте, – сказал он, наконец, – двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.

– А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья.

Они стали ходить между стульями.

– Ну? – торопил Остап.

– Спинка как будто не такая, как у моих.

– Значит, не те?

– Не те.

– Напрасно я с вами связался, кажется. Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.

– Ладно, – сказал Остап, – заседание продолжается. Стул – не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду.

– Чего это вы такой грустный? – говорила Лиза. – Вы устали?

Ипполит Матвеевич отделялся молчанием.

– У вас голова болит?

– Да немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.

Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначившихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за брильянтами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой

Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.

– Да, – сказал он, нежно глядя на собеседницу, – такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета..

– Петровна. А вас как зовут?

Обменялись именами-отчествами.

«Сказка любви дорогой», – подумал Ипполит Матвеевич, взглянув на простое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры²⁰⁴ с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая безусловно ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра, А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.

– Вы научный работник? – спросила Лиза.

– Да, некоторым образом, – ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство.

– А сколько вам лет, простите за нескромность?

– К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.

Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.

– Но все-таки? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?

– Почти. Тридцать восемь.

– Ого! Вы выглядите значительно моложе. Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.

– Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? – спросил Ипполит Матвеевич в нос.

Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.

– Куда это товарищ Бендер запропастился? – сказала она тоненьким голосом.

– Так когда же? – спросил Воробьянинов нетерпеливо. – Когда и где мы увидимся?

– Ну, я не знаю. Когда хотите.

– Сегодня можно?

– Сегодня?

– Умоляю вас.

– Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.

– Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, эти май-чародей веет свежим своим опахалом»²⁰⁵.

– Это Жарова стихи?

– М-м... Кажется. Так сегодня? Где же?

– Какой вы странный! Где хотите. Хотите – у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет...

Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.

²⁰⁴ Редерер – марка шампанского.

²⁰⁵ Воробьянинов цитирует строки стихотворения К. М. Фофанова «Май», или, что более вероятно, романс, весьма популярный в 191-е гг. Стихи Фофанова, считавшегося декадентом, Лиза приписывает А. А. Жарову – известному «комсомольскому поэту», автору популярных в 1920-е годы песен.

– Простите, мадемуазель, – сказал он быстро, – но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.

У Ипполита Матвеевича захватило дыхание.

– До свиданья, Елизавета Петровна, – сказал он поспешно, – простите, простите, простите, но мы страшно спешим.

И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью.

– Если бы не я, – сказал Остап, когда они спускались по лестнице, – ни черта бы не вышло. Молитесь на меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?

– Что за издевательство! – воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.

– Молчание, – холодно сказал Остап, – вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель – кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.

– Ну, и что же? – закричал Ипполит Матвеевич. – Что же сказал вам заведующий?

– Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите, – спросил я его, – чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличии?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель? – спрашивает он. – У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги. Искал полчаса и, наконец, возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?

– Продала? – пискнул Воробьянинов.

– Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки²⁰⁶. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены?

– Скорее! – закричал Ипполит Матвеевич.

– Извозчик! – завопил Остап. Они сели не торгуясь.

– Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.

В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы.

В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.

– Они? – спросил Остап.

– Боже, боже, – твердил Ипполит Матвеевич, – они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.

– На всякий случай проверим, – сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу:

– Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?

– Эти? Эти – да.

– А они продаются?

²⁰⁶ Главное управление научными музейными и научно-художественными учреждениями Народного комиссариата просвещения.

- Продаются.
- Какая цена?
- Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона.
- Ага. Сегодня?
- Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.
- А сейчас они не продаются?
- Нет. Завтра с пяти часов.

Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.

- Разрешите, – пролепетал Ипполит Матвеевич, – осмотреть. Можно?

Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.

- Молитесь на меня! – шептал Остап. – Молитесь, предводитель.

Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.

- Завтра, – говорил он, – завтра, завтра, завтра.

Ему хотелось петь...

Глава XIX. Баллотировка по-европейски

В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацукеева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.

Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.

Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:

УМОЛЯЮ

лиц, знающих местопребывание.

Ушел из дому т. Бендер, лет 25–30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.

Указавш. прошу сообщ. за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацукеевой

- Это ваш сын? – участливо осведомилась в конторе.

- Муж он мне! – ответила страдалница, закрывая лицо платком.

- Ах, муж!

- Законный. А что?

- Да ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.

Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла.

Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды». Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.

Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело: муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?

К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами: «Местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик: «Получите билеты!» Полесов важно говорил: «Годовой» – и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.

Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.

– А как вы думаете, Елена Станиславовна, – говорил он, – чем объяснить отсутствие наших руководителей?

Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.

– А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, – продолжал неугомонный слесарь, – что они выполняют сейчас особое задание?

Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возмнившим о себе хамом».

– А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки? Гадалка согласилась и заметила:

– А ведь Ипполит Матвеевич герой!

– Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.

И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча к орала», особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки», гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до умоисступления.

К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.

– Ты, Виктор, не болбочи, – говорил ему рассудительный Дядьев, – чего ты целыми днями по городу носишься?

– Надо действовать! – кричал Полесов.

– Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал – дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская – представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.

– Ну, в этом мы и не сомневаемся, – сказал Чарушников, надуваясь.

– И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?

Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не

придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.

– Что же нам сейчас делать? – нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.

– Погодите, – сказал Дядьев, – берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры!

– Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! – воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся.

– Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай – в диктаторы!

– Да что вы, господа, – сказал Дядьев, – предводитель – дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...

– Господина Дядьева! – восторженно закричал Полесов. – Кому же еще взять бразды над всей губернией?

– Я очень польщен доверием... – начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.

– Этот вопрос, господа, – сказал он с надсадой в голосе, – следовало бы провентилировать. На Дядьева он старался не смотреть. Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.

– Я не возражаю, – вымолвил он, – давайте пробаллотуруем. Закрытым голосованием или открытым?

– Нам по-советскому не надо, – обиженно сказал Чарушников, – давайте голосовать по-честному, по-европейски – закрыто.

Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова – две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.

Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.

Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него.

Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:

– А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.

– Почему же все-таки? – проговорил великодушный губернатор. – Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.

– Просим, просим! – закричали все.

– Так считать избрание утвержденным?

Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:

– Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотуйте!

В пустую сахарницу посыпались бумажки.

– Шесть голосов – за, – сказал Полесов, – и один воздержался.

– Поздравляю вас, господин голова! – сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз. – Поздравляю вас! Чарушников расцвел.

– Остается освежиться, ваше превосходительство, – сказал он Дядьеву. – Слетай-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть?

Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.

Попечителем учебного округа²⁰⁷ наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:

– Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил. На Владю набросились.

– В такой решительный час, – закричали ему, – нельзя помышлять о собственном благе!

Подумайте об отечестве,

Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.

Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета.²⁰⁸ Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.

Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора;²⁰⁹ заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы.²¹⁰ Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок».²¹¹ Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.

– Паз-звольте! – воскликнул вдруг Чарушников. – Губернатору целых два чиновника! А мне?

– Городскому голове, – мягко сказал губернатор, – чиновников для особых поручений не полагается по штату.

– Ну, тогда секретаря.

Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.

– Нельзя ли, – сказала она робея, – тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой... Очень, очень милый, очень способный... Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз... Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.

²⁰⁷ Попечитель учебного округа – высокопоставленный чиновник министерства просвещения, подчинявшийся непосредственно министерскому руководству. Попечителю надлежало контролировать деятельность всех гражданских учебных заведений округа (в округ входило две и более административно-территориальные единицы губернского масштаба). Накануне мировой войны в Российской империи было пятнадцать учебных округов и аналогичных округам объединений.

²⁰⁸ Биржевой комитет – исполнительный орган при биржах, который периодически избирался в соответствии с положениями устава Московской биржи 1870 года, объявленного нормативным.

Председателями обычно выбирали крупных предпринимателей и финансистов.

²⁰⁹ Акцизный инспектор – чиновник, ответственный за взимание установленных местной властью и обычно включенных в цену товара дополнительных налогов (акцизных сборов) с продавцов или производителей товаров. Податный инспектор следил за соответствием величины налогов доходам налогоплательщиков. Фабричный инспектор отвечал за контроль соблюдения предпринимателями норм фабричного законодательства, охраны труда (в первую очередь – по отношению к малолетним), за предотвращение конфликтов предпринимателей с рабочими и т. п.

²¹⁰ Земская управа – исполнительный орган земства, местного общесословного самоуправления, распорядительным органом которого было земское собрание – губернское или уездное. Земская управа имела свои канцелярии, подразделявшиеся на отделы. Избирались земские органы на три года. Купеческая управа – исполнительный орган общегильдийного сословного самоуправления, чьим распорядительным органом было купеческое общество города. Мещанская управа – исполнительный орган сословного самоуправления при распорядительном органе, мещанском обществе города. Органы сословного управления избирались на три года.

²¹¹ Благотворительные общества с такими названиями были широко известны в предреволюционные годы.

– Пожалуй, можно будет, – милостиво сказал Чарушников, – как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся.

– Что ж, – заметил Дядьев, – кажется, в общих чертах... все? Все как будто?

– А я? – раздался вдруг тонкий, волнующийся голос.

Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и орала».

Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.

– Виктор Михайлович! – застонали все. – Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же!

Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела.

– Господа, – сказала она, – это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?

Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.

– Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?

– А, Виктор Михайлович? – спросил губернатор. – Хотите быть попечителем?

– Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! – поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.

– А Распо-опов? – обидчиво протянул Виктор Михайлович. – Вы же уже назначили Распопова?

– Да, в самом деле, куда девать Распопова?

– В брандмейстеры, что ли?..

– В брандмейстеры! – заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и воронье драконы понесли его на пожар городского театра.

– Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!

– Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер.

– За процветание пожарной дружины! – иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все:

– Вы всегда были левым! Знаем вас!

– Господа, какой же я левый?

– Знаем, знаем!..

– Левый!

– Все евреи левые!

– Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.

– Левый, левый, не скрывайте!

– Ночью спит и видит во сне Милюкова!²¹²

– Кадет! Кадет!²¹³

– Кадеты Финляндию продали²¹⁴, – замычал вдруг Чарушников, – у японцев деньги брали? Армяшек разводили.²¹⁵

²¹² Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства.

²¹³ Кадеты – (конституционно-демократическая партия; название также «партия народной свободы»), одна из основных политических партий в России в 1905–1917 гг.

²¹⁴ После того, как Временное правительство, где министром иностранных дел был кадетский лидер Милюков, восстановило 7 марта 1917 года автономию Финляндии, последовательно ограничиваемую

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазами, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

– Я всегда был октябристом²¹⁶ и останусь им. Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.

– Прежде всего, господа, демократия, – сказал Чарушников, – наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!

– Надеюсь, – ядовито заинтересовался губернатор, – среди нас нет так называемых социал-демократов?

Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит. Заговорили о войне.

– Не сегодня-завтра, – сказал Дядьев.

– Будет война, будет.

– Советую запастись кое-чем, пока не поздно.

– Вы думаете? – встревожился Кислярский.

– А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки – как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые марки, имеющие хождение наравне²¹⁷, и всякая такая штука.

– Война – дело решенное.

– Вы как знаете, – сказал Дядьев, – а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.

– А ваши дела с мануфактурой?

– Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.

Полесов усмехнулся.

– Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них – ну, как вы думаете, сколько аэропланов?

– Штук двести!

– Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.

Разошлись за полночь.

– Да-а... Довели большевики до ручки.

Губернатор пошел провожать городского голову.

царским правительством с начала 1910-х, правые радикалы обвинили кадетов в предательстве национальных интересов. Полная независимость Финляндии была установлена Дерптским (Тартуским) договором 1920 г., подписанным большевиками.

²¹⁵ Речь, вероятно, идет о том, что в предреволюционные годы русская либеральная пресса выражала возмущение политикой турецкого правительства, организовавшего геноцид армян в 1915–1916 годах (более полутора миллионов жертв), лидеры же кадетов, как и большинство интеллигентов, сочувствовали армянским сепаратистам.

²¹⁶ Октябристы – «Союз 17 октября» – право-либеральная партия, пропагандировавшая идеи конституционной монархии. Названа в честь императорского манифеста 17 октября 1905 года, где декларировались принципы «неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

²¹⁷ Из-за дефицита серебра и меди в годы Первой мировой войны были напечатаны почтовые марки с надписью, указывавшей правомерность их использования вместо разменных монет.

Оба шли преувеличенно ровно.

– Губернатор! – говорил Чарушников. – Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?

– Я штатским генералом буду, а тебе завидно?

Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.

– Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.

– За баллотированного двух небаллотированных дают.

– Па-апрашу со мной не острить! – закричал вдруг Чарушников на всю улицу.

– Что же ты, дурак, кричишь? – спросил губернатор. – Хочешь в милиции ночевать?

– Мне нельзя в милиции ночевать, – ответил городской голова, – я советский служащий...

Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.

Глава XX. От Севильи до Гренады

Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом N 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?

Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку...

Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России. Только письма жене пишет.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,

писанное им в Харькове, на вокзале, своей жене в уездный город N

Голубушка моя, Катерина Александровна! Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время.

Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.

Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси,

Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и найдем прислугу.

Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее брильянты.

Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти брильянты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.

Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виновать.

Приехал я в Старгород, и представь себе – этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник, – нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.

Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение); несу я мою мебель к себе в номера «Сорбонна», и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю – Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.

Разломали мы стул – ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчился.

Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.

«Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его».

Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.

А я пошел к себе в номера «Сорбонна» и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался – пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич – очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом N 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут как раз в «Сорбонне» я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.

Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.

Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в «Новоросцементе», как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.

Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный – центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал. Сделай:

1) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги, 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю.

Твой муж Федя.

Нота-бене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?

Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.

Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.

Гаснут дальней Альпухары

Золотистые края.

Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.

На призывный звон гитары

Выйди, милая моя.

Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.

От Севильи до Гренады

В тихом сумраке ночей...

В пенах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.

Раздаются серенады,

Раздается звон мечей...

Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.

Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова²¹⁸ так долго кормила знаменитого художника Илью Репина.

Но вот послышались легкие, неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натываясь на его эластичные стены и сладко бормоча.

– Это вы, Елизавета Петровна? – спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.

В ответ пробасили:

– Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь.

Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.

Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу, под карамельно-зеленое вечернее небо.

– Где же мы будем гулять? – спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и, вместо того чтобы прямо сказать: «Я здесь, Инезилья, стою под окном»²¹⁹, начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.

– Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скардность чувствуется. А мы, в Свое время, денег не жалели. «В жизни живем мы только раз», есть такая песенка.

Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа-спасителя.

²¹⁸ Нордман-Северова Н. Б. (1863–1914) – жена И. Е. Репина, пропагандировавшая вегетарианство; она действительно готовила блюда из сена.

²¹⁹ Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина, на которое был написан популярный романс М. И. Глинки.

За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса²²⁰ дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.

Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей – бывших химиков – и об однообразии вегетарианского стола.

Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.

– Пойдемте в театр, – предложил Ипполит Матвеевич.

– Лучше в кино, – сказала Лиза, – в кино дешевле.

– О! При чем тут деньги! Такая ночь, и вдруг какие-то деньги.

Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого тридцать четвертого ряда.

В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтой размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорила когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.

После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в «Прагу», образцовую столовую МСПО²²¹ – «лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер.

«Прага» поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно: она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.

Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики.

– Пройдемте туда, в угол, – предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпивал дежурное попури из «Баядерки»²²², были свободные столики.

Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось

²²⁰ Могэс – Московское объединение государственных электростанций.

²²¹ МСПО – Московский союз потребительских обществ – организация, объединявшая продовольственные магазины, столовые, кондитерские и колбасные фабрики, хлебопекарни и т. п. Бывший арбатский ресторан «Прага», подобно многим другим аналогичным заведениям в 1927 году, официально именовался «столовая-кафе».

²²² «Баядерка» – балет балетмейстера Мариуса Петипа на музыку Людвиг Федоровича Минкуса.

неестественным. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях.

– Будьте добры! – взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.²²³

– Сию минуточку-с! – кричали официанты на ходу.

Наконец, карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.

– Однако, – пробормотал он, – телячьи котлеты – два двадцать пять, филе – два двадцать пять, водка – пять рублей.

– За пять рублей большой графин-с, – сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.

«Что со мной? – ужасался Ипполит Матвеевич. – Я становлюсь смешон».

– Вот, пожалуйста, – сказал он Лизе с запоздалой вежливостью, – не угодно ли выбрать? Что будете есть?

Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает что-то не то.

– Я совсем не хочу есть, – сказала она дрогнувшим голосом. – Или вот что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?

Официант стал топтаться, как конь.

– Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной.

– Тогда вот что, – сказал Ипполит Матвеевич, решившись, – дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?

– Буду.

– Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.

– В графинчике будет.

– Тогда – большой графин.

Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.

– Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?

В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.

– Не надо, – с неприятной грубостью сказал он. – Почему у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.

Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:

– Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.

– Да-а, – протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.

«Ничего, – думал он, – выпью водки – разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то».

Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше.

Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.

Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.

На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.

– Ну, вот мы снова увиделись с вами, – развязно сказал он в публику. – Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще²²⁴. Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйста!

²²³ Нарпит – профсоюз работников народного питания, объединявший всех сотрудников столовых, кафе, чайных, буфетов и т. п.

²²⁴ Марьяна Роща – в ту пору окраинный район Москвы, изобиловавший воровскими притонами. Соответственно, концерансье намекает на специфический характер репертуара певицы.

Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин.

Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной роще, и запел:

Ходите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Ходите,
Та-ра-ра-ра, –

Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаредными советскими бандитами, захопал в такт ладошами и стал подпевать:

Ходите,
Та-ра-ра-ра...

Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола:

– Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.

– Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..

На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.

– Девять рублей двадцать копеек? – бормотал он. – Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?

Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.

В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.

– Слушайте! – говорила она. – Слушайте! Слушайте!

– Поедем в номера! – убеждал Воробьянинов. Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.

Ночной зефир
Струит эфир...²²⁵

Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.

Шумит,

Бежит

Гвадалквивир.

Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:

– Держи вора!

Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немзыкально кричал:

Ходите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра...

²²⁵ Цитируется стихотворение А. С. Пушкина, на которое было написано несколько романсов.

Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про брильянты.

– Веселый барин! – воскликнул извозчик.

Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.

Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла.

Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.

Глава XXI. Экзекуция

Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.

– Похоже на то, – сказал Остап, – что уже завтра мы сможем, при наличии доброй волн, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.

Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить.

От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье»²²⁶ и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.

Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина, бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья.

Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой.

«А большой бы здесь начался переполюх, – подумал Остап, оглядывая аукционную публику, – если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».

– Фигура, изображающая правосудие! – провозгласил аукционист. – Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной, справа, в конце – семь. Восемь рублей в первом ряду, прямо, Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз, в первом ряду, прямо.

К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег.

²²⁶ Вероятно, имеется в виду «Столетие Одессы» – название сорта суконной клетчатой ткани.

Праздновалось столетие города в 1895 году, узкие клетчатые брюки тогда считались еще модными, и примерно тогда же российские фабрики освоили выпуск входившего в моду коверкота (англ. covercoat – верхняя одежда) – плотной шерстяной или полушерстяной ткани с мелким узором.

Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло бакара, пудреница фарфоровая.

Время тянулось мучительно.

– Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен, Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего. В публике засмеялись.

– Купите, предводитель, – съязвил Остап, – вы, кажется, любите.

Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.

– Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?

В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь «Правосудие» в полном составе.

– Пять рублей – бронзовое «Правосудие»!

– Шесть! – четко сказал гражданин.

– Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа.

– Девять с полтиной, – тихо сказал любитель «Правосудия», поднимая руку.

– С полтиной, прямо. Второй раз, с полтиной, прямо. Третий раз, с полтиной, Молоточек опустил. На гражданина из первого ряда налетела барышня.

Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу.

– Десять стульев из дворца! – сказал вдруг аукционист.

– Почему из дворца? – тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Остап рассердился:

– Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!

– Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.

Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.

– Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! – зашипел Остап. – Сядьте, я вам говорю!

У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.

– Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей. Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой высказывали руки. Остап был спокоен.

– Чего же вы не торгуетесь? – набросился на него Воробьянинов.

– Пошел вон, – ответил Остап, стиснув зубы.

– Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок.

Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.

Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья («Чудесные полукресла! Дивная работа! Саня! Из дворца же!») и подняла руку.

– Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз. Зал потух. Слишком дорого.

– Сто сорок пять. Два.

Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.

– Сто сорок пять. Три.

Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:

– Двести.

Все головы повернулись в сторону concessionеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа.

– Двести, раз, – сказал он, – двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей – три, в четвертом ряду справа.

Рука с молоточком повисла над кафедрой.

– Мама! – сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.

– Продано, – сказал аукционист. – Барышня! В четвертом ряду справа.

– Ну, председатель, эффектно? – спросил Остап. – Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?

Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.

– Вы купили стулья?

– Мы! – воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. – Мы, мы. Когда их можно будет взять?

– А когда хотите. Хоть сейчас!

Мотив «Ходите, вы всюду бродите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. «Наши стулья, наши, наши, наши!» Об этом кричал весь его организм. «Наши!» – кричала печень. «Наши!» – подтверждала слепая кишка.

Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду²²⁷. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем.

– А почему же двести тридцать, а не двести? – услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.

– Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора, – ответила барышня.

– Ну, что же делать! Берите!

Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия:

– Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите – дамочка ждет. Ну?

Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.

– Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?

– У меня нет денег, – пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.

– У кого нет? – спросил Остап очень тихо.

– У меня.

– А двести рублей?!

– Я... м-м-м... п-потерял.

Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.

– Дайте деньги! – прошептал он с ненавистью. – Старая сволочь!

– Так вы будете платить? – спросила барышня.

– Одну минуточку! – сказал Остап, чарующе улыбаясь, – маленькая заминка.

Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами.

Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.

– Позвольте! – завопил он. – Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей.

– Хорошо, – сказала барышня кротко, – я сейчас все устрою.

²²⁷ Сен-Готард – перевал в Альпах, в Швейцарии. Высота 2108 м. Через Сен-Готард проходит шоссе, а на высоте 1100 м построен туннель (длина около 15 км), по которому проходит железная дорога Цюрих – Милан.

Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.

– По правилам аукционного торга, – звонко заявил он, – лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.

Изумленные друзья сидели недвижимо.

– Папрашу вас! – сказал аукционист.

Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

– Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился.

И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора.

Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружелюбно молчал.

– Возмутительные порядки, – трусливо забормотал Ипполит Матвеевич, – форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.

Остап молчал.

– Нет, действительно это ч-черт знает что такое! – продолжал горячиться Воробьянинов. – Дерут с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти...

– Да, – деревянно сказал Остап.

– Правда? – переспросил Воробьянинов. – С ума сойти можно!

– Можно.

Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

– Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.

– Ну, теперь пошел вон!

Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся.

Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.

– Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?

– Това-ариц Бендер, – взмолился Воробьянинов. – Товарищ Бендер!

– Иди! Иди! И к Иванову не приходи! Выгоню!

– Това-ариц Бендер!

Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться.

– Все пропало! – пробормотал он.

– Что пропало? – угодливо спросил Воробьянинов.

– Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо.

В это время в аукционном зале происходило следующее: аукционист, почувствовавший, что выколлотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.

– Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?

К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие.

– Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите, кто и что. Чтоб ни один стул не ушел.

В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.

Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными.

Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.

– Продают, продают, – зашептал Ипполит Матвеевич, – четыре и два уже продали.

– Это вы удружили, – сказал Остап, – радуйтесь. В руках все было, понимаете – в руках. Можете вы это понять?

В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам:

– С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности. С полтиной, прямо. Раз – с полтиной, прямо.

Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.

– А скажите, – поспешно спросил он Остапа, – здесь, в самом деле, аукцион? Да? Аукцион? И здесь, в самом деле, продаются вещи? Замечательно!

Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.

– Вот здесь действительно продают вещи? И, в самом деле, можно дешево купить? Высокий класс? Очень, очень! Ах!..

Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных concessionеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крикнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.

– А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..

Беспрерывно бляя и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.

Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.

На Сивцевом Бражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки.

У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.

– Добрый вечер, – решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.

Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:

– Так будет со всеми, – сказал Коля детским голосом, – кто покусится...

На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.

Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть.

– Правильно, – приговаривал Остап, – а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не подделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу... Еще разок... Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз «Меча и орала» прекратил бы свое существование.

– Ну, кажется, хватит, – сказал Коля, пряча руку в карман.

– Еще один разик, – умолял Остап.

– Ну его к черту! Будет знать другой раз!

Коля ушел. Остап поднялся к Иванову и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.

– Гражданин Михельсон! – крикнул Остап. – Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!

В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.

– Неслыханная наглость! – сказал он гневно. – Я еле сдержал себя.

– Ай-яй-яй, – посочувствовал Остап, – какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивают чужие деньги... Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?

– Я его вызову на дуэль!

– Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя венниками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванову и соседа справа. Он – бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках – это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?

В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.

Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Колумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.

Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья, – Варсонофьевский, – он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.

– Очень быстро бежал, – сказал беспризорный, – из головы выскочило.

– Не получишь денег, – заявил наниматель.

– Дя-адя!.. Да я тебе покажу.

– Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе.

Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот.

Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка».

Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.

– Казарменный переулок, у Чистых Прудов.

– Номер?

– Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.

Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя – у ворот стояли стрелки ОВО НКПС²²⁸.

– Наверно, уехал, – закончил беспризорный свой доклад.

Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски, – рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было ведено явиться на другой день пораньше), – технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.

– Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее – самое верное. Но денег мало. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.

Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! – расплывчатый и туманный.

– Ну, что ж, – сказал Остап громко. – На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!

Глава XXII. Людоедка Эллочка

Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов.

Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

1. Хамите.

2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

3. Знаменито.

²²⁸ ОВО НКПС – Отдел вооруженной охраны путей сообщения, подразделение НКПС, в задачу которого входила охрана товарных вагонов, складов, железнодорожных магистралей и т. п.

4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
5. Мрак.
6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)
7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)
8. Не учите меня жить.
9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка», – при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», – как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)
10. Кр-р-расота!
11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)
12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)
13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)
14. У вас вся спина белая. (Шутка.)
15. Подумаешь.
16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)
17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.

Если рассмотреть фотографии Элочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна – анфас, другая – в профиль), то не трудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носики подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком.

Рост Элочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.

Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива.

Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Элочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.

Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.

– Хо-хо! – воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее.

Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я – самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре».

Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное – «хо-хо».

В такой великий час к ней пришла Фимка Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда²²⁹ и вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.

– Ого! – сказала Эллочка сама себе. Это значило: «или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочери миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту²³⁰ была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.

Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.

Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешла новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд.

Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых лисах, 2) с бриллиантовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку).

Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля.

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.

– Мрачный муж пришел, – отчетливо сказала Эллочка.

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.

– Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья.

– Хо-хо!

– Нет, в самом деле?

– Кр-расота!

– Да. Стулья хорошие.

– Зна-ме-ни-тые!

– Подарил кто-нибудь?

– Ого!

²²⁹ Вандербилты – «железнодорожные короли», одно из богатейших семейств в США, основу династического благосостояния которого заложил Корнелиус Вандербилт (1794–1877).

²³⁰ Имеется в виду широко практиковавшаяся во второй половине 1920-х годов государственными и кооперативными торговыми учреждениями продажа рабочим и служащим товаров с рассрочкой платежа при условии предоставления гарантий предприятиями или учреждениями, где работали покупатели. Долгосрочный кредит получали обычно на полгода – в объеме месячного заработка.

– Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил...

– Эрнестуля! Хамишь!

– Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!

– Подумаешь!

– Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!

– Шутите!

– Да, да. Вы живете не по средствам...

– Не учите меня жить!

– Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей...

– Мрак!

– Взятки не беру, денег не краду и подделывать их не умею...

– Жуть!

Эрнест Павлович замолчал.

– Вот что, – сказал он, наконец, – так жить нельзя.

– Хо-хо, – сказала Эллочка, садясь на новый стул.

– Нам надо разойтись.

– Подумаешь!

– Мы не сходимся характерами. Я...

– Ты толстый и красивый парниша.

– Сколько раз я просил не называть меня парнишей!

– Шутите!

– И откуда у тебя этот идиотский жаргон!

– Не учите меня жить!

– О, черт! – крикнул инженер.

– Хамите, Эрнестуля.

– Давай разойдемся мирно.

– Ого!

– Ты мне ничего не докажешь! Этот спор...

– Я побью тебя, как ребенка.

– Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.

– Шутите!

– Мебель мы делим поровну.

– Жуть!

– Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу...

– Знаменито, – сказала Эллочка презрительно.

– А я перееду к Ивану Алексеевичу.

– Ого!

– Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня... Только мебели нет.

– Кр-расота!

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.

– Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра... И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?!

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.

– У тебя вся спина белая, – сказала Эллочка грамофонным голосом.

– До свидания, Елена.

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись:

– Поедешь в таксе? Кр-расота!

Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимкой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.

– Кажется, будут носить длинное и широкое, – говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.

– Мрак.

И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.

Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом.

– Не врешь?

– Что вы, дядя... Вот сюда, в парадное. Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.

– Прибавить надо, – сказал мальчик по-извозчичьи.

– От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.²³¹

Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.

– Ого? – спросили из-за двери.

– По делу, – ответил Остап.

Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрытки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

– Прекрасный мех! – воскликнул он.

– Шутите! – сказала Эллочка нежно. – Это мексиканский тушкан.

– Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.²³² Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.

– Вы – парниша что надо, – заметила Эллочка в результате первых минут знакомства.

– Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?

– Хо-хо!

²³¹ Беспризорных подростков и несовершеннолетних правонарушителей в 1920-е годы официально именовали «морально дефективными».

²³² Ни «мексиканские тушканы», ни «шанхайские барсы» зоологам неизвестны.

- Но я к вам по одному деликатному делу.
- Шутите!
- Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.
- Хамите!
- Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.
- Жуть!

Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.

«Новое дело, – подумал он, – стулья расползаются, как тараканы».

– Милая девушка, – неожиданно сказал Остап, – продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.

– Хамите, парниша, – лукаво сказала Эллочка.

– Хо-хо, – втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе, – решил он, – предложим обмен».

– Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Эллочка насторожилась.

– Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.

– Должно быть, знаменито, – заинтересовалась Эллочка.

– Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне – стул, а я вам – ситечко. Хотите?

И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.

Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала:

– Хо-хо!

Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.

Глава XXIII. Авессалом Владимирович Изнуренков

Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:

– И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте!

Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», – думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик.

В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Ивановуло уходил, Бендер вдавливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ:

– Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.

И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.

В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Элочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, – третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.

– Даже если в стульях ничего нет, – говорил Остап, – считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам самим приятнее.

В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Элочкиного мужа.

Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе N 6. Трясаясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.

Высадившись у Красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов я, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате N 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович ИЗНУРЕНКОВ

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

– Простите, – сказал он придушенным голосом, – могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах мебелировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

– Фу! – сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты – блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин²³³ – в пении, Горький – в литературе, Капабланка²³⁴ – в шахматах, Мельников²³⁵ – в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, – в чистке сапог желтым кремом.

Шаляпин пел. Горький писал большой роман, Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков – острил.

Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.

Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.

– Это ужасно! – кричал он. – Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?

И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии.

После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами».

Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне²³⁶ опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.

Он бегал по редакционным комнатам, натываясь на урны для окурков и бляя. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.

²³³ Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – выдающийся русский певец, народный артист Республики (1918).

²³⁴ Х. Р. Капабланка (1888–1942) – был чемпионом мира по шахматам в 1921–1927 годах.

²³⁵ Я. Ф. Мельников (1896–1960) был чемпионом России в 1915 году, чемпионом СССР в 1924–1935 годах, Европы – в 1927 году.

²³⁶ Гейне Генрих (1797–1856) – знаменитый немецкий поэт и публицист.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

– Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я заплачу, наконец!

Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки как свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.

Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.

– Поймите же, – заговорил хозяин примирительным тоном, – ведь я не могу на это согласиться.

Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.

– Это не я виноват. Виноват сам Музпред²³⁷. Да, я признаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель – орудие производства. И стул – тоже орудие производства!

Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.

– Отпустите стул! – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. – Слышите? Вы! Бюрократ!

Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:

– Простите, недоразумение, служба такая.

Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.

– Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!

Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.

– Подождите, – крикнул вдруг Изнуренков. – Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он, в самом деле, пушист до чрезвычайности?

Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.

– Высокий класс!.. – бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. – Ах!.. Ах!..

Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи:

– Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда...»

– Так я пойду, гражданин, – глупо сказал директор концессии.

– Подождите, подождите! – заволновался вдруг Изнуренков. – Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..

²³⁷ Музпред – Объединение государственных музыкальных предприятий при Народном комиссариате просвещения, или же Государственный музыкальный трест «Музпред». Занималось производством, ремонтом, продажей и прокатом музыкальных инструментов и граммофонов.

Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.

– Простите, душечка, – сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник.

– Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.

– Премного благодарен, – сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.

– Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!.. Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова бляение, визг, пение и страстные крики.

На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.

Эрнест Павлович Шукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.

Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено.

«Пойду умоюсь», – решил он.

Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.

– Хорошо! – сказал Эрнест Павлович. Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить.

Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.

«Пусть хоть он воды принесет, – решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, – а то черт знает что такое».

Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.

– Дворник! – закричал Эрнест Павлович. – Дворник! Никто не отозвался.

Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев.

– Дворник! – крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилося по ступенькам.

– Гу-гу! – ответила лестница.

– Дворник! Дворник!

– Гум-гум! Гум-гум!

Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась, Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. «Положение», – подумал Эрнест Павлович.

– Вот сволочь! – сказал он двери. Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка. По лестнице толкали вверх детскую колясочку. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.

– С ума можно сойти!

Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.

«Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» – подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.

Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел.

Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно – пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень.

Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.

Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило.

«Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!»

Задышавшись и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.

Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Арлекино, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем.²³⁸ Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца.

Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой.

Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался.

– Несносный мальчишка! – послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором. – Сколько раз я ему говорила!

Эрнест Павлович, повинувшись уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.

Очутившись на сваей, загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, держа себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды.

– Господи! – сказал инженер. – Боже мой! Боже мой!

Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!

²³⁸ Арлекино, Коломбина – традиционные персонажи итальянских уличных комедийных представлений.

Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог – нервы сдали. Он попал в склеп.

– Наследили за собой, как свиньи! – услышал он старушечий голос с нижней площадки. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдать пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было,

Глава XXIV. Клуб автомобилистов

В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор.

Выбирались из загона (материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.

Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.

Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:

– Как? Сегодня не будет шахмат?

– Не вмещаются, – ответил секретарь. – Подвал большой. Триста строк.

– Не ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец...

– Хорошо. Сколько вы хотите?

– Не меньше ста пятидесяти.

– Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.

Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная индийская партия Тартаковер – Боголюбов²³⁹ лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили. Пришел репортер Персицкий.

– Нужно давать впечатления с пленума?²⁴⁰ – спросил он очень тихо.

– Конечно! – закричал секретарь. – Ведь позавчера говорили.

– Пленум есть, – сказал Персицкий еще тише, – и две зарисовки, но они не дают мне места.

²³⁹ Оба знаменитых шахматиста родились в России, оба покинули ее, однако политическими эмигрантами официально не считались: С. Г. Тартаковер (1887–1956) эмигрировал вместе с родителями в детстве, а Е. Д. Боголюбов (1889–1952) был интернирован в 1914 году, когда выступал в Германии, там он женился, вернулся в Россию через десять лет, стал победителем чемпионатов СССР 1924 и 1925 годов, но в 1926 году уехал на родину жены. Книги Боголюбова и Тартаковера издавались в СССР в 1920-е годы. Что касается упомянутой партии, то, возможно, речь идет о поединке, состоявшемся на Нью-Йоркском турнире 1924 года.

²⁴⁰ Вероятно, речь идет о пленуме Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, состоявшемся в мае 1927 года.

– Как не дают? С кем вы говорили? Что они, походили с ума?

Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений.

– У нас секаровская жидкость!²⁴¹ – кричал он грустным голосом.

За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул.

– Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения!

– Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.

– Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную.

Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.

– Ага, – сказал секретарь, – очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.

– Я думаю так, – проговорил художник. – Стальной Шлем²⁴² и общее положение Германии...

– Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.

Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте – «Данцигский коридор²⁴³», на челюсти – «Мечты о реванше», на ошейнике – «План Дауэса»²⁴⁴ и на высунутом языке – «Штреземан»²⁴⁵. Перед собакой художник поставил Пуанкаре,²⁴⁶ державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: «Французские предложения о гарантиях безопасности».²⁴⁷ Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал: «Пуанкаре». набросок был готов.

²⁴¹ Имеется в виду препарат, который создал французский физиолог Ш. Броун-Секар (1817–1894); это широко рекламировавшееся средство омоложения представляло собой вытяжку из семенных желез животных.

²⁴² Союз немецких фронтовиков, ветеранов мировой войны; эта организация националистического характера была создана осенью 1918 года; к 1927 году численность ее превышала двести тысяч.

²⁴³ Данцигский коридор – Установленная в соответствии с Версальским мирным договором 1919 года полоса польской территории между нижним течением Вислы и Померанией, отделявшая от Германии Восточную Пруссию и Данциг и предоставлявшая Польше выход к Балтийскому морю. Уничтожение этой полосы (называвшейся также Польским коридором), которая рассекала территорию Германии, было основным требованием немецких националистов и предметом постоянных дипломатических конфликтов того времени.

²⁴⁴ Ч. Г. Дауэс (1865–1951) – вице-президент США в 1925–1929 годах, банкир. Под его руководством был создан план (утвержден в 1924 году), который предусматривал получение Германией займов и кредитов для восстановления экономического потенциала. В советской прессе план Дауэса характеризовался как средство «эксплуатации немецких рабочих американскими капиталистами».

²⁴⁵ Г. Штреземан (1878–1929) был в 1923–1929 годах министром иностранных дел Германии. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года.

²⁴⁶ Р. Пуанкаре (1860–1934) в 1926–1929 годах был премьер-министром Франции.

²⁴⁷ Усиление Германии в результате реализации плана Дауэса французское правительство считало угрозой Европе и особенно Франции, почему и требовало постоянно гарантий европейской и французской безопасности.

На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа.

Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками «Жиллет», подсвечивая их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер: 3 3/4 квадрата, 2 колонки и так далее – указания, необходимые для цинкографии.

В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:

– Товарищ Арно желает узнать...

Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках²⁴⁸, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86²⁴⁹, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиной в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.

– Ого-го! – смеялись иностранцы. – Колоссаль!

Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров²⁵⁰.

Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой тона ручку, то на гостей, весело объяснял.

Крик в секретариате продолжался. Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Ласкером на сен-себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта».

Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочсть ее секретарь решил во что бы тони стало, из чисто спортивного интереса.

Когда он дошел до места: «...Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига наций регистрирует его, то придется признать, что...», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки.

«Суд и быт» зашел с другой стороны и сказал обидчиво:

– Я не понимаю.

– Ну-ну, – забормотал секретарь, стараясь оттянуть время, – в чем дело?

– Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы...

– Где пишут? – закричал секретарь. – Я не читал.

– Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.

– А когда вам поручили чубаровское дело²⁵¹, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечерку.

²⁴⁸ Велосипедные брюки – по фасону напоминали брюки-гольф: штанины укороченные, только не сужающиеся, а слегка расширяющиеся от бедер вниз, с манжетами ниже колен, но выше щиколотки, застегивающимися на пуговицу или кнопку.

²⁴⁹ Перо № 86 – перья № 86 были наиболее используемыми в школах, канцеляриях и т. п.

²⁵⁰ Рабкор – рабочий корреспондент, рабочий или другой работник (инженер, служащий) промышленного предприятия, строительной, транспортной или иной городской организации, добровольно взявший на себя общественную обязанность корреспондировать в газету.

²⁵¹ В августе 1926 года в Чубаровом переулке Ленинграда было совершено бандитское нападение на фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием. В декабре 1927 года слушание дела

– Откуда вы это знаете?

– Знаю. Мне говорили.

– В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.

– Паша! – сказал секретарь тихо. – Позовите Персицкого. «Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике.

Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение.

Было самое горячее редакционное время – пять часов.

Над разгоревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди.

По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:

– У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.

Это значило, что она любит другого. Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

– Дайте десять копеек на трамвай! За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали «читчики», и потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимостью прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом), молчали.

Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева: поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволочло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.

Авдотьев несколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.

– Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное, – сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол. – У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам займы рублей пятьсот на восемь месяцев?

– Можешь не сомневаться.

завершилось в Ленинградском губернском суде. Обвинение в изнасиловании было предъявлено 22 подсудимым, еще 4 привлекались к ответственности «за дачу ложных показаний». Самому старшему из «чубаровцев» исполнилось 50 лет, остальным – от 17 до 25, причем социальное положение преступников не позволяло обойтись привычными ссылками на «буржуазную психологию» при объяснении причин инцидента. К примеру, автор хроникальной статьи «Чубаровский процесс», опубликованной во втором номере журнала «Красная панорама» за 1927 год, сообщал, что все – обвиняемые – «рабочие, в большинстве – семейные, в большинстве – не пьяницы, в большинстве – не судившиеся, есть и комсомольцы. Короче, это не так называемый «преступный элемент». В э том и – лежит глубокая социальная серьезность процесса, поэтому к нему и было привлечено внимание всего Советского Союза». Процесс приобрел политический характер: в периодике подсудимым – инкриминировали «нападение на советский быт» и т. п., на предпрятиях организовывались «митинги трудящихся», выносившие резолюции с требованиями самого сурового наказания «чубаровцам». Семеро из них были приговорены к расстрелу, остальные, включая обвиняемых в лжесвидетельстве, – к различным срокам лишения свободы.

– Что? Ты думаешь – мертвое дело?

– Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов?

– Уже очень много.

Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся.

– За пятьсот рублей мы покупаем на «кладбище» машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца – к августу – мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет, куда ему угодно.

– А пятьсот рублей на покупку?

– Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?

Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном «Правду». Он подумал и отказался.

– Ты, – сказал Авдотьев, – старик!

Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцать копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но...

– Что «но»? – кричал Авдотьев. – Если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!

– Иди, иди! – говорили старички. – Сейчас последний посыл, мешаешь работать!

Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец, нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:

– Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала. И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.

– Ты, старый матрац, – говорил Персицкий голубоглазому юноше, – на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? На сколько? На пятьдесят?²⁵² Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль.

– А если моя облигация выиграет? – защищался юноша.

– А сколько ты хочешь выиграть?

– Пятьдесят тысяч.

– На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю – тоже. И если Авдотьев тоже. Словом, чья бы облигация ни выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах «Суд и быт» катит,

²⁵² Имеются в виду облигации государственного внутреннего десятипроцентного выигрышного займа на срок с 1 марта 1927 года по 1 марта 1935 года. Каждая облигация продавалась за 24 рубля при номинальной стоимости 25 рублей и объявленных 10 процентах годового дохода, причем до истечения срока займа планировалось тридцать тиражей выигрышей, из них три – в 1927 году. В государственных учреждениях «ценные бумаги» такого рода обычно распространялись принудительно – на сумму, соответствующую заранее определенной части жалования. Вероятно, поэтому Персицкий и уверен, что у всех его товарищей непременно есть облигации.

хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино... Ну? Ну? Ухаживать будешь!..

Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с «кладбища» была гарантирована на составленный из облигаций капитал.

Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.

– А что, ребятки, – сказал он, – не записаться ли также и мне?

– Запишись, старик, отчего же, – ответил Авдотьев, – только не к нам. У нас уже, к сожалению, полный комплект, и прием новых членов прекращен до тысяча девятьсот двадцать девятого года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.

Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.

– Скажите, товарищ, – остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом, – где здесь редакция газеты «Станок»?

Это был великий комбинатор.

Глава XXV. Разговор с голым и инженером

Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.

Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами²⁵³, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.

Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола. На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

²⁵³ Моссельпромщицы – служащие Московского треста по переработке сельскохозяйственных продуктов – Моссельпрома, – торговавшие с лотков папиросами, конфетами и т. п. Элементом их униформы было кепи с надписью «Моссельпром», аналогичные надписи делались и на лотках.

– Требую протокола! – с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего Я помчался далее.

Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.

«За такие штуки надо морду бить», – решил Остап.

Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь.

Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.

– О-о-о, – стонал голый, – о-о-о...

– Скажите, это вы здесь льете воду? – спросил Остап раздраженно. – Что это за место для купанья? Вы с ума сошли!

Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул.

– Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор!

– Ключ, – замычал инженер.

– Что ключ? – спросил Остап.

– От кв-в-варти-ыры.

– Где деньги лежат?

Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.

– Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!

Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.

Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру.

Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные тупфы. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.

Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович, с криками «пардон! пардон!»... закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках,

– Вы меня просто спасли! – возбужденно кричал он. – Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.

– К тому, видно, и шло.

– Я очутился в ужасном положении.

И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.

– Если бы не вы, я бы погиб, – закончил инженер.

– Да, – сказал Остап, – со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.

Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.

– Совсем так, как с вами, – начал Бендер, – только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником²⁵⁴ в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег: простуды я не боялся – дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз – градусов двадцать. Я стучу – не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаюне открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, выдумаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Инженеру все это было очень близко.

– Да, – сказал Остап, – так это вы инженер Щукин?

– Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите, Неудобно, право.

– О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.

– Чрезвычайно буду рад вам служить.

– Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.

– Да, пожалуйста! – воскликнул Эрнест Павлович. – Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.

– Нет, зачем же! Для меня это – сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.

Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.

Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь как первый.

Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.

В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину сварного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.

²⁵⁴ Н. И. Махно (1888–1934) и Ю. О. Тютюнник (1891–1929) – удачливые партизанские лидеры времен гражданской войны. Отряды крестьянской повстанческой армии под командованием анархиста Махно и отряды украинских националистов, которыми руководил Тютюнник, совершали стремительные рейды, захватывая и грабя населенные пункты на территориях, контролируемых как белыми, так и красными войсками, а затем столь же стремительно отступали. В данном случае, вероятно, речь идет о зиме 1919/20 года, когда Тютюнник возглавил знаменитый конный поход, благодаря которому и сложилась его военная репутация.

Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: concessionеры играли в такую рулетку, где zero приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.

Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.

– Ого! – сказал технический руководитель. – Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?

– Товарищ Бендер, – пробормотал предводитель.

– Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.

Остап склонил голову набок и сощурил глаза.

– Не мучьте дитю, – забасил он, наконец, – где стул? Почему вы его не принесли?

Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.

– А мои инструкции? – спросил Остап грозно. – Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, – это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом голову оторвет: счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница.

Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.

– Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов представляется мне абсурдным. *Volens-nevolens*²⁵⁵, но я должен поставить новые условия.

Ипполит Матвеевич задыхался. До этих пор он старался не дышать.

– Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите – двадцать процентов?

Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.

– Почему же вы не хотите? Вам мало?

– М-мало.

– Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?

– Согласен на сорок.

– Грабеж среди бела дня! – сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой. – Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?

– Это вам нужен ключ от квартиры, – пролепетал Ипполит Матвеевич.

– Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.

²⁵⁵ (*Искаж.*) расхожая латинская поговорка *volens nolens* – волей-неволей.

Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски брильянтов.

Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники,дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибывало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания.

Его несло в открытое море приключений.

Глава XXVI. Два визита

Подобно распеленатому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой, величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках.

Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту.

Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту.

– Что плохо, то плохо, – говорил он, – конечно.

В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно бляя, убегал.

Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события.

Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе».

Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали.

Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.

– Ах, ах, – вскрикивал Авессалом Владимирович, – божественно! «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир...»²⁵⁶ Ах, ах! Высокий класс!.. Вы – королева Марго.²⁵⁷

Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась.

– Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!

Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:

– Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах!

Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кемто раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостью:

– Скажите, а это брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!

Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить комплименты. И он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа.

Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:

– Изнуренков здесь живет? Это вы и есть? Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег, иди прием подписки на журнал для слепых.

– Что же это, товарищ, – жестко сказал Бендер, – это совсем не дело – прогонять казенного курьера.

– Какого курьера? – ужаснулся Изнуренков.

– Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул, – строго проговорил Остап.

Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.

– Нет! Сидите! – закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. – Они не имеют права.

– Насчет прав молчали бы, гражданин! Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!

С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.

– Вывожу мебель! – решительно заявил Бендер.

– Нет, не вывозите!

– Как не вывожу, – усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор, – когда именно вывожу.

Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.

– А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я заплачу!

²⁵⁶ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеопатра».

²⁵⁷ Королева Марго – Маргарита Французская, Маргарита Валуа, прекраснейшая женщина своего времени, младшая дочери Генриха II и Екатерины Медичи, имя которой окружено множеством легенд. Она является героиней одноименного романа А. Дюма.

Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:

– Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы?

Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подсакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты. Остап отвез стул на извозчике.

– Учитесь, – сказал он Ипполиту Матвеевичу, – стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?

После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.

– Шансы все увеличиваются, – сказал Остап, – а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?

– А что такое?

– Может быть, никаких брильянтов нет?

Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.

– В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Ивановуло увеличится еще только на один стул.

– О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, – заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.

Остап нахмурился.

Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.

– Что вы мелете? В какой газете?

Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».

– Вот здесь. В отделе «Что случилось за день». Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей – под суд».

Действительно, в отделе «Что случилось за день» непарелью было напечатано:

ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ

Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика N 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

– Это извозчик отделался легким испугом, а не я, – ворчливо заметил О.Бендер. – Идиоты! Пишут, пишут – и сами не знают, что пишут. Ах! Это – «Станок». Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история!

Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул.

Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь, согласно объявлению, продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов.

Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.

Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.

– Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, – сказал Бендер.

– Какая клевета? – спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри. Редактор прочел указанную Остапом заметку.

– В чем же вы, товарищ, видите клевету?

– Как же! А вот это:

«Пострадавший отделался легким испугом».

– Не понимаю.

Остап ласково посмотрел на редактора и на стул.

– Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром – опровержение нужно.

– Вот что, гражданин, – сказал редактор, – никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.

– Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, – говорил Остап, покидая кабинет.

Он уже увидел все, что ему было нужно.

Глава XXVII. Замечательная допровская корзинка²⁵⁸

Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза²⁵⁹ «Хлебопродукта». Прохожие останавливались.

– Куда очередь стоит? – спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.

– Дожили, – говорил брандмейстер, – скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.

Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полосовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду».

Доказав Полесову, как дважды два – четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и, присоединялись к мучной очереди.

Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.

В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним – его жена Сашкен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туалъденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания

²⁵⁸ Допровская корзинка – «дежурная» корзинка или чемоданчик с самыми необходимыми вещами на случай внезапного ареста.

²⁵⁹ Лабаз – хозяйственное строение, обычно продуктовый склад, лавка.

скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет²⁶⁰.

Полесов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задира брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации.

Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена.

Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.

– Слушай, Генриетта, – сказал он жене, – пора уже переносить мануфактуру к шурину.

– А что, разве придут? – спросила Генриетта Кислярская.

– Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?

– Так что, уже приготовить белье? Несчастливая моя жизнь! Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и – ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!

Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.

– Может быть, я не приду ночевать, – сказал Кислярский, – тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?

– Может быть, возьмешь с собой примус?

– Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.

У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом – столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.

– Можешь меня не провожать, – сказал опытный муж. – Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.

И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.

– Куда вы, гражданин Кислярский? – окликнул Полесов.

Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам.

– Иду сознаваться, – ответил Кислярский.

– В чем?

– В мече и орале.

Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.

Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.

– Кислярский – провокатор! – закричал брендмейстер. – Только что пошел доносить. Его еще видно.

– Как? И корзинка при нем? – ужаснулся старгородский губернатор.

²⁶⁰ Маркизет – легкая, прозрачная (вуалевидная) ткань из хлопковой пряжи.

– При нем.

Дядьев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.

Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.

– А как же деньги? – спросил Рубенс.

– За деньгами придете к жене.

– А почему вы с корзинкой? – подозрительно осведомился Рубенс.

– Иду в баню.

– Ну, желаю вам легкого пара.

Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО²⁶¹, бывшую «Бонбон де Варсови»²⁶², выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал.

– Можно! – ответил хорошо знакомый Кислярскому голос.

Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.

Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.

– Вот он, – воскликнул Дядьев, – самый главный октябрист!

– Во-первых, – сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, – во-первых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...

– Красноармейская! – закричал Дядьев.

– Номер три! – хором сообщили Владя и Никеша.

– Во двор и налево, – добавил Виктор Михайлович, – я могу показать.

Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну.

Только в камере, переменяв белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.

Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова грустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения.

Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме в присутствии недоброжелателя – пикового короля.

Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.

Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человеческим голосом.

– Дожились! – сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из подмышки перышко.

²⁶¹ То есть кондитерскую Старгородского союза потребительских обществ.

²⁶² «Бонбон де Варсови» – (фр. Bonbon de Varsovie – букв. варшавская конфетка) – кондитерская фирма в предреволюционной России.

Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям.

Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.

– При наличии отсутствия, – раздраженно сказала птица.

И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?»

– Мать моя! – простонала Грицацуева.

– В каком полку служили? – спросил попугай голосом Бендера. – Кра-р-р-рах... Европа нам поможет.

После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:

– Попка дурак!

Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич.

– По объявлению, – сказал Варфоломеич, – два часа жду, барышня.

Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.

– Ох! – запела вдова. – Истомилась душенька!

– От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?

Вдова упала на мешки с мукой.

– Какие у вас организмы слабые, – сладко сказал Варфоломеич. – Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе...

– Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! – причитала чувствительная вдова.

– Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет?

– Все берите! – повторила вдова.

– Двадцать рублей, – сухо сказал Варфоломеич.

Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали.

– Сколько? – переспросила она.

– Пятнадцать рублей, – спустил цену Варфоломеич.

Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.

Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.

– Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.

Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки, не выпуская их из рук, стал читать:

– Вот извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю... ушел из дому товарищ Бендер... зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет...» Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот... «Попал под лошадь...» Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте... «Попал под лошадь...» Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: «Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика N 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом...» Так вот, эти документки я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед... У меня уж такое правило.

Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди.

Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА.

писанное в Ростове, в водогрейне «Млечный путь», жене своей в уездный город N

Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. «Новоросцемент» – весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. «Да, – сказали мне, – служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть²⁶³, по делу техники безопасности».

Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолись богу, продай мой диагоналевый²⁶⁴ студенческий мундир.

И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.

Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить – того и гляди украдут. Народ здесь бедовый.

Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего, матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда – совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика.

Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.

Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.

Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английское кепи за 2 р. 50 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.

Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю.

Твой вечно муж Федя.

Глава XXVIII. Курочка и тихоокеанский петушок

²⁶³ Азнефть – Государственное объединение азербайджанской нефтяной промышленности, которое в официальной документации также именовалось «Азнефть».

²⁶⁴ Диагоналевый – диагональ – плотная шерстяная ткань с характерным рисунком: выпуклыми косыми параллельными рубчиками.

Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.

В разгар работы вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка.

– Слушайте, Персицкий, – сказал Степа, – к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам объяснит. Степа, посмеиваясь, убежал.

– Ну? – спросил Персицкий. – Что скажете?

Мадам Грицацуева (это была она) возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку.

– Так, – сказал Персицкий, – ...попал под лошадь... отделался легким испугом... В чем же дело?

– Адрес, – просительно молвила вдова, – нельзя ли адрес узнать?

– Чей адрес?

– О. Бендера.

– Откуда же я знаю?

– А вот товарищ говорил, что вы знаете.

– Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.

– А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках.

– Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка.

Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.

«Сволочь Степа, – подумал Персицкий. – Ну, ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает».

– Ну, что я могу сделать? – раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой. – Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я – лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..

Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас». Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярия и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка.

– Пардон, мадам, вы видите, что я занят!

С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персицкого она снова заговорила. Репортер осатанел.

– Вот что, тетка, – сказал он, – так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.

И Персицкий, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.

Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.

Коридоры Дома народов были так длинные и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира – бегуном Нурми.²⁶⁵

Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.

²⁶⁵ П. Нурми (1897–1973) – финский спортсмен, олимпийский чемпион 1920, 1924 и 1928 годов в беге на длинные дистанции.

Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой.

При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.

– Товарищ Бендер, – закричала вдова в восторге, – куда же вы?

Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.

– Подождите, что я скажу, – просила она.

Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.

– Ну, спасибо, – бурчал Остап, сидя на пятой этажке, – нашла время для randevu. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором.

В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти.

Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций... с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.

Наконец, Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбегала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.

В Москве любят запирать двери.

Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие – «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана²⁶⁶, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.

Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?

Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, – закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала.

В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко – стоит только открыть имеющиеся в изобилии

²⁶⁶ Подомовая охрана – в 1917–1919 годах жильцы многоквартирных домов самостоятельно организовывали отряды вооруженной охраны для ночных дежурств в подъездах.

выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.

Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.

Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.

Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:

1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Вербки.

Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику.

Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение! А может быть, и просто хочет уплатить подходящий налог! Но барьер помешал – осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.

Рогатка применяется на улице. Ставят ее весною на шумной магистрали якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.

Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит.

Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные. К прямым можно отнести:

**ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ
ХОДА НЕТ**

Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.

Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи:

**БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ
ПРИЕМА НЕТ
СВОИМ ПОСЕЩЕНИЕМ ТЫ МЕШАЕШЬ ЗАНЯТОМУ ЧЕЛОВЕКУ**

Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, – там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте

человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека.

К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!

Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовой судьбе, изредка вздремывала и ждала утра.

Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки.

Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.

– Суслик! – позвала вдова. – Су-у-услик!

Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и радужные призраки.

Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда – и он пропал бы за поворотом.

Со стоном «Товарищ Бендер!» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.

– А, – сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью, – вы тоже здесь?

– Здесь, здесь, – твердила вдова радостно.

– Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись, – пригласил технический директор.

Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия.

– Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.

Вдова была лишена фантазии.

– Суслик, – сказала она в пятый раз. – Откройте мне дверь, товарищ Бендер.

– Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?

Вдова мучилась.

– Ну, чего вы терзаетесь? – спрашивал Остап. – Кто вам мешает жить?

– Сам уехал, а сам спрашивает! – И вдова заплакала.

– Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка – это молекула в космосе.

– А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер...

– Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?

Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.

– Изменщик! – выговорила она, вздрогнув. У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:

Частица черта в нас

Заключена подчас!

И сила женских чар

Родит в груди пожар...²⁶⁷

– Чтоб тебе лопнуть! – пожелала вдова по окончании танца. – Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем забрал?

– Вы, кажется, переходите на личности? – заметил Остап холодно.

²⁶⁷ Ария из оперетты И. Кальмана «Сильва».

– Украл, украл! – твердила вдова.
– Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
– А ситечко кто взял?
– Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
– Унес, – куковала вдова.
– Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?
– Вор, вор!
– В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.
Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить.
– Обниматься некогда, – сказал он, – прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.²⁶⁸
– Караул!! – завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.

Глава XXIX. Автор «Гаврилиады»

Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни²⁶⁹, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподружки²⁷⁰. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом.

Невежды, упрямы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.

Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека, Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения.

Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.

²⁶⁸ Неточно цитируется популярный роман Б. А. Прозорова (Прозоровского) «Корабли»: «Мы никогда друг друга не любили, /...И разошлись, как ночью корабли».

²⁶⁹ То есть сотрудницы канцелярии, регистрирующие входящие и исходящие документы.

²⁷⁰ Термин, относящийся к периоду официально допускаемой безработицы. Согласно тогдашним политическим и правовым установкам, учреждения и предприятия обязаны были обеспечивать несовершеннолетних (15–17 лет) работой, для чего администрацией сохранялось (бронировалось) минимальное количество рабочих мест. Численность несовершеннолетних была заранее определена в процентном отношении к общей численности сотрудников: при появлении соответствующих вакансий надлежало прежде всего принимать на работу подростков «по броне». Как правило, принимались те, кого направляли горкомы и райкомы комсомола.

– Доброе утро, – сказал Никифор. – Написал замечательные стихи.
– О чем? – спросил начальник литстранички. – На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...
Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.
Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал:
– «Баллада о гангрене».
– Это интересно, – заметила гигроскопическая персона. – Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.
Ляпис немедленно задекламировал:
 Страдал Гаврила²⁷¹ от гангрены,
 Гаврила от гангрены слег...
Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом²⁷² рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.
– Вы делаете успехи, Трубецкой, – одобрил редактор, – но хотелось бы еще больше... Вы понимаете?
Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.
В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.
– Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только – быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников²⁷³ и вместе с тем, вы понимаете?..
– Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется: «Последнее письмо». Вот...
 Служил Гаврила почтальоном,
 Гаврила письма разносил...
История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.
– Где же происходило дело? – спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.
– В чем дело? – сказал Ляпис. – Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.
– Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.
– А почему вы не хотите почтальона?
– Пусть полежит. Мы его берем условно. Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева, а пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа – стихотворец из пригорода.
Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием: «Молитва браконьера».
Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил.

²⁷¹ Имя Гаврила ассоциировалось тогда с Гаврилой-бузотером, популярным героем анекдотов, молодым рабочим, ражим детской, незадачливым и добродушным. «Бузотер Гаврила» – постоянный персонаж фельетонов, шуточных поэм и карикатур, публиковавшихся в московском сатирическом еженедельнике «Бузотер» (1924–1927).

²⁷² Ямб – двусложный стихотворный размер.

²⁷³ Потельработники – сотрудники предприятий и учреждений Народного комиссариата почт и телеграфа – Наркомпочтеля или Наркомпотеля.

– Очень хорошо! – сказал добрый Наперников. – Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое – выкиньте с корнем «молитву».

– И зайца, – сказал конкурент.

– Почему же зайца? – удивился Наперников.

– Потому что не сезон.

– Слышите, Трубецкой, измените и зайца.

Поэма в преображенном виде носила название. «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:

Гаврила ждал в засаде птицу.

Гаврила птицу подстрелил...

и т. д.

После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком.

Гаврила флейтой торговал...

Простак из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом,

Бамбук Гаврила порубал.

Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носила длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было попрежнему эпическим:

Служил Гаврила хлебопеком,

Гаврила булку испекал...

Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие – в четверг, или пятницу – через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов – туда, где Ляписа никогда не печатали.

Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.

– А! – воскликнул Персицкий. – Ляпус!

– Слушайте, – сказал Никифор Ляпис, понижая голос, – дайте три рубля. Мне «Герасим и Муму» должен кучу денег.

– Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.

И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка». Завязался общий разговор.

– Ну, как торговали? – спрашивал Персицкий.

– Написал замечательные стихи!

– Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? «Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал»?

– Что Гаврила! Ведь это же халтура! – защищался Ляпис. – Я написал о Кавказе.

– А вы были на Кавказе?

– Через две недели поеду.

– А вы не боитесь, Ляпус? Там же шакалы!

– Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!

После этого ответа все насторожились.

– Скажите, Ляпус, – спросил Персицкий, – какие, по-вашему, шакалы?

– Да знаю я, отстаньте!

– Ну, скажите, если знаете!

– Ну, такие... в форме змеи.

– Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.

– Никогда я этого не говорил! – закричал Трубецкой.

– Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести. Ляпус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар²⁷⁴ – это бальное платье? Почему?!

– Вы – мещанин, – сказал Ляпис хвастливо.

– Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?

– Видел.

– Ну, скажите, какая она!

– Оставьте меня в покое. Вы псих!

– А облучок видели? На скачках были?

– Не обязательно всюду быть! – кричал Ляпис. – Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.

– О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.

Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:

– Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.

После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.

– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

– Я писал.

– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...» Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!

– В чем дело?

– Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?

– Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...

– Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

– Такой... Падает, одним словом.

– Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно падает! Подождите, Ляпус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его!

Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза, от Домиций до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.

– Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая помощью рукоятки...» И так далее. И далее: «Джон Диксон в 1879 г. установил на

²⁷⁴ Пеньюар – разновидность домашней женской одежды, изготовленной обычно из кружева и шелка, аналог женского халата.

место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры», при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.». И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Эфроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!

– Мне нужны деньги.

– Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.

– Я купил мебель и вышел из бюджета.

– И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит – грош!

– Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе...

– В форме змеи?

– Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой...

– От Хины Члек? – закричали присутствующие в один голос.

– Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу. Окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.

– Ай-яй-яй! – сказал Персицкий, закрывая лицо руками. – Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр «Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся».

– Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распоролы всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?

– Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите... Сейчас... Вот: «Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой». Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос комода»... Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, кстати. Ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа²⁷⁵? Или еще лучше: гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в «Гермуму», то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура – Эльстоном, а третья – Юсуповым...²⁷⁶ Эх вы, халтурщик!..

ГЛАВА XXX. В театре Колумба

Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок²⁷⁷.

В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.

²⁷⁵ Валуа – династия французских королей в XIV–XVI веках.

²⁷⁶ В данном случае подразумевается титулатура Ф. Ф. Юсупова (1887–1967) – одного из организаторов убийства Г. Е. Распутина. Отец Юсупова, граф Ф. Ф. Сумароков-Эльстон, женившись на княжне З. Н. Юсуповой, последней представительнице этого рода, добился права на титул князя Юсупова, разумеется, при сохранении собственного. Соответственно, и сын был князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. В 1927 году он издал в Париже книгу «Конец Распутина: Воспоминания», широко обсуждавшуюся на родине автора.

²⁷⁷ Имеется в виду цвет офицерских мундиров Корпуса жандармов в XIX веке, а позже – цвет мундирных кантов.

Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард²⁷⁸ с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.

Карета несла на себе герб МКХ²⁷⁹, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.

На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.

Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.

– Послушайте, – сказал вдруг великий комбинатор, – как вас звали в детстве?

– А зачем вам?

– Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем – слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?

– Киса, – ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.

– Конгениально. Так, вот что, Киса, – посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.

Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя²⁸⁰, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.

– Ого, – сказал Ипполит Матвеевич, – краснота какая-то.

Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.

– Честное слово, цифра восемь! – воскликнул Воробьянинов. – Первый раз вижу такой синяк.

– А другой цифры нет? – спокойно спросил Остап.

– Как будто бы буква Р.

– Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А вы, ничего-то вы толком не умеете. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною – стул вдовицы. За мною – два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага – архиепископа.

Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.

²⁷⁸ Кавалергард – военнослужащий одного из полков гвардейской тяжелой кавалерии.

²⁷⁹ МКХ – Московское коммунальное хозяйство.

²⁸⁰ Антиной – юноша необычайной красоты, родом из Вифинии, на северо-западе Малой Азии. Древнеримский император Адриан (117–138), путешествуя по Востоку, случайно встретил Антиноя и влюбился в него.

Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным парходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы»²⁸¹ последним спектаклем сезона. Нужно было решить – оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула, или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.

– А то, может быть, разделимся? – спросил Остап. – Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.

Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.

– Из двух зайцев, – сказал он, – выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!

Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестренках, кепках, брюках-дудочках²⁸², галстуках «собачья радость»²⁸³ и ботиночках «джимми»²⁸⁴.

Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым)²⁸⁵. Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был не опасен.

²⁸¹ Пьеса Н. В. Гоголя.

²⁸² Брюки-дудочки – узкие брюки длиной до щиколоток.

²⁸³ Галстук «собачья радость» – о каких конкретно фасоне и расцветке идет речь, не вполне ясно: «собачьей радостью» именовали тогда и галстук-бабочку, вероятно, по аналогии с ошейником, и галстук-бант – ленту, часто цветную, завязывавшуюся бантом под воротником рубашки, и короткие широкие, бледно-розовые, в белую крапинку или горошек галстуки, напоминавшие, надо полагать, дешевую вареную колбасу, прозванную так же.

²⁸⁴ Ботиночки «джимми» – имеются в виду полуботинки с длинными узкими носами на высоком каблуке или же просто полуботинки на толстой каучуковой подошве – фасоны, заимствованные из американских фильмов, что, вероятно, и обусловило экзотическое для СССР прозвище.

²⁸⁵ Г. Г. Елисеев (1858–1942) – владелец многочисленных винных и гастрономических магазинов, самый крупный из которых располагался на Тверской. И. М. Филиппов (1827–1878) – создатель сети «филипповских» булочных и кондитерских в Москве, славившихся дешевизной и высоким качеством продукции; потомки сохранили название фирмы, филипповская булочная с кофейной находилась неподалеку от елисеевского магазина на Тверской. Ныне магазин и булочная на Тверской носят имена прежних владельцев – Елисеевский гастроном и Филипповская булочная.

Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка, У трамвайной остановки горячился громкоговоритель.

Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.

Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.

– Все-таки, – сказал он, – очень дорого. Шестнадцатый ряд – три рубля.

– Как я не люблю, – заметил Остап. – этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?

– Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!

– Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.

И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе»²⁸⁶. Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.

Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы не видите, что я даже калош не снял», пробился к окошечку и заглянул внутрь.

Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.

– Скорее, – крикнул он Остапу, – вашу бумажку?

– Два места, – сказал Остап тихо, – в партере,

– Кому?

– Мне!

– А кто вы такой, чтобы я давал вам места?

– А я все-таки думаю, что вы меня знаете.

– Не узнаю.

Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.

– Ходят всякие, – сказал администратор, пожимая плечами, – кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Где я его видел?

И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.

²⁸⁶ В названии организации, явно пародирующем неудобопроизносимые советские аббревиатуры, соединены имена двух литературных героев: хрестоматийно известного норвежского принца из трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и зулусского воина из романа Р. Г. Хаггарда «Аллен Квотермейн».

Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

Из одиннадцатого ряда, где сидели concessionеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха²⁸⁷, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.

К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:

– Степа-ан!

Одновременное этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.

– Степа-а-н!! – повторил Подколесин, делая новый прыжок.

Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликнулся, Подколесин трагически спросил:

– Что же ты молчишь, как Лига наций?

– Очевидно, я Чемберлена испугался, – ответил Степан, почесывая шкуру.

Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем современной пьесы.

– Ну что, шьет портной сюртук?

Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил:

– Шьет!

Оркестр сыграл поурри из «Чио-чио-сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.

– А что, – спросил Подколесин, – не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?

Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:

– Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?

– А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?

– Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты.

После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:

– Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.

Публика покорила. Свет так и не зажегся до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно – на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:

– Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!

²⁸⁷ Кружка Эсмарха – стеклянная, фаянсовая или металлическая кружка с гибкой резиновой отводной трубкой длиной до 2 метров, используется для клизм и спринцеваний. Изобрел это приспособление немецкий медик Ф. А. Эсмарх (1823–1908).

– Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое верблюдо!

В антракте concessionеры прочли афишу:

ЖЕНИТЬБА

Текст – Н. В. Гоголя.

Стихи – М. Шершеляфамова.

Литмонтаж – И. Антиохийского.

Музыкальное сопровождение – Х. Иванова.

Автор спектакля – Ник. Сестрин.

Вещественное оформление – Симбиевич-Синдиевич.

Свет – Платон Плащук. Звуковое оформление – Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Грим – мастерской Крулт. Парики – Фома Кочура. Мебель – древесных мастерских Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара. Инструктор акробатики – Жоржетта Тираспольских. Гидравлический пресс – под управлением монтера Мечникова.

Афиша набрана, сверстана и отпечатана

в школе ФЗУ КРУЛТ

– Вам нравится? – робко спросил Ипполит Матвеевич.

– А вам?

– Очень интересно, только Степан какой-то странный.

– А мне не понравилось, – сказал Остап, – в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вогопаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?

Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.

Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна должна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она прыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.

Женихи были очень смешны, в особенности – Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковородке. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.

– Я доволен спектаклем, – сказал Остап, – стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.

Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.

– Ну, – указал Остап, – вам, Кисочка, надо байбай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите

два жестких места для сиденья до Нижнего, Курской дороги. Не беда – посидим. Всего одна ночь.

На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:

– Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?

– Беда с этим прессом, – отвечал Мечников, – работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется.

– А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»?

– Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.

За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление – Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

– Вы вчера мне не в ногу подавали, – жаловалась Агафья Тихоновна, – я так и свалиться могу.

Звуковое оформление загалдело:

– Что ж делать! Две кружки лопнули!

– Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? – кричал Галкин.

– Зайдите в Госмедторг²⁸⁸. Не то что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя! – поддержал Палкин.

– А вы разве и на термометрах играете? – ужаснулась девушка.

– На термометрах мы не играем, – заметил Залкинд, – но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь – приходится мерить температуру.

Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женой по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.

Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.

Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые, потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимофеевичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло.

– Ну, пойдем и мы, – сказал Остап. Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.

– Безенчук! – сказал он в крайнем удивлении. – Ты как сюда попал?

Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.

– Господин Воробьянинов! – закричал он. – Почет дорогому гостю!

– Ну, как дела?

– Плохи дела, – ответил гробовых дел мастер.

– Что же так?

– Клиента ищу. Не идет клиент.

– «Нимфа» перебивает?

– Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только «Пьер и Константин» перекинулся.

– Да что ты говоришь? Неужели умер?

²⁸⁸ Госмедторг – акционерное общество производства и торговли химико-фармацевтическими препаратами и медицинским имуществом – «Госмедторгпром». У общества был свой магазин на улице Петровка.

– Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили – разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал.

– Ай-яй-яй, – бормотал Ипполит Матвеевич, – ай-яй-яй! Ну, что ж, значит, ты его и похоронил?

– Я и похоронил. Кому же другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает?

– Одолел, значит?

– Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.

– Растирался?

– Нам растираться не к чему.

– А сюда тебя зачем принесло?

– Товар привез.

– Какой же товар?

– Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные – так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.

– Восемь штук, – сказал Безенчук самодовольно, – один к одному. Как огурчики.

– А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

– А гриб?

– Какой гриб?

– Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москва гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:

– Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.

– В Париже?

– Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно: устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.

Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись. Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.

Часть третья. Сокровище мадам Петуховой

Глава XXXI. Волшебная ночь на Волге

Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства, под надписью: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым.

Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый как цветная капуста, валил из паровых труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у

дебаркадера N 2. Грузчики вонзали железные когти²⁸⁹ в тюки хлопка, на пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокросоленные кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки.

«Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича.

– Что вы переживаете? – спросил Остап. – Вообразите, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет.

Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение: тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался, на свой страх и риск, совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с «Женитьбой». «Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак²⁹⁰ на пристани.

Нежные созданы с чемоданчиками и портплекдами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды, и с опасением поглядывали на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть:

ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки.

Разворачиваясь против течения, подходил пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть и другого животного, заменявшего в доисторические времена парходную сирену.

Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории.

В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку.

²⁸⁹ Имеются в виду специальные серпообразные крючья на веревках, облегчающие подъем груза и перенос его на спине, благодаря которым грузчики и получили прозвище «крючники».

²⁹⁰ Бивак – место расположения людей на отдых и ночевку под открытым небом.

– Бросьте стул! – завопил Бендер. – Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход.

По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексотоны, пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление.

Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени.

Топот и перебранка продолжались до позднего вечера.

В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивала электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток вперемежку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой²⁹¹ ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы:

ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

ЛИЧНЫЙ СТОЛ

ОБЩАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

К большим, табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше:

БЕЗ ДЕЛА НЕ ВХОДИТЬ

ПРИЕМА НЕТ

ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

ВСЕ СПРАВКИ В РЕГИСТРАТУРЕ

Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда.

– Где же мы будем обедать? – волновались они. – А если дождь?

– Ой, – сказал Ник. Сестрин своему помощнику, – не могу?... Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?

– Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли.

Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту.

– Так, так, – говорила пятерка с иронией, – а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен!

С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор.

Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров.

– Почему же вы мне раньше не сказали?! – кричал член комиссии.

– Откуда я мог знать, что он заболел.

– Это черт знает что! Тогда поезжайте в рабис²⁹² и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.

– Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит.

²⁹¹ Эспаньолка – короткая и узкая остроконечная борода.

²⁹² Рабис – профессиональный союз работников искусства. Согласно тогдашним правовым установкам, местное отделение этого союза могло направить художников, которые прошли там регистрацию и не имели постоянного места работы, в распоряжение организаций, заблаговременно приславших заявки.

– Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите.

Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали:

– Пропуск!

– Товарищ! – заорал Бендер. – Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен!

Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.

– Значит, товарищ, – говорил толстячок, – нам от вас потребуется следующее: исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице. Ну, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю – работы много.

– Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу.

– И вы можете сейчас же ехать с нами?

– Это будет трудновато, но я постараюсь.

Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом.

– Ваши условия? – спросил Остап дерзко. – Имейте в виду, я не похоронная контора.

– Условия сдельные. По расценкам рабиса.

Остап поморщился, что стоило ему большого труда.

– Но, кроме того, еще бесплатный стол, – поспешно добавил толстунчик, – и отдельная каюта.

– Ну, ладно, – сказал Остап со вздохом, – соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент.

– Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет – пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.

– Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке.

Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова.

Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиной к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм.

Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия.

Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий, Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки.

Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его:

– Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходи снимай! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск.

Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход.

– Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно.

– Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

Толстяк угрюмо отошел.

– Ну, Киса, – заметил Остап, – придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что: я – художник, окончил ВХУТЕМАС²⁹³, а вы – мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег.

Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны, басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый берег. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком.

Еще слышался ропот работающих «ундервудов»²⁹⁴, а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех плывущих на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый вечер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода темные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывши рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:

Пароход по Волге плывал,

Волга-матушка река...

А остальные суровые участники заседания пророкотали припев:

Сире-энь цвяте-от...²⁹⁵

Резолюция по докладу председателя месткома так и не была написана. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением Х. Иванов извлекал из инструмента самые лирические ноты. Virtuoz-балалаечник плелся за Мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса:

– Не уходи! Твои лобзанья жгучи, я лаской страстную еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужною не гаснул небосклон...

Симбиевич-Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней вещественное оформление «Женитьбы» казалось ему возмутительным свинством. Он с гадливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии.

В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихоновна зевнула и, не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя, пошла спать, В душах месткомовцев снова зазвучал

²⁹³ Высшие государственные художественно-технические мастерские, организованные в 1921 году. Подразумевается, что художник-самозванец получил диплом не позже чем за год до описываемых событий, поскольку в 1926 году на основе ВХУТЕМАСа был создан Высший государственный художественно-технический институт – ВХУТЕИИ.

²⁹⁴ Ундервуд – печатная машинка.

²⁹⁵ Неточно цитируется один из куплетов популярной лирической песни «Волжская» («Волжские страдания»): «Пароход идет «Анюта», /Волга–матушка река, /На нем белая каюта, /Заливает берега. /Сирень цветет, /Не плачь, придет...» Текст песни варьировался, однако во всех вариантах вторая строка каждой строфы – «Волга–матушка река», четвертая – «Заливает берега», рефрен – «Сирень цветет, /Не плачь, придет».

гендоговор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич-Синдиевич после зрелого размышления пришел к тому выводу, что оформление «Женитьбы» не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо.

В каюте первого класса Остап, лежа на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича:

– Вы умеете рисовать? Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею.

Он подумал и продолжал:

– А буквы вы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо! Ведь мы-то художники! Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это в конце концов не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.

Глава XXXII. Нечистая пара

Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты – огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя – «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия». «Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения.

На пароходе стали просыпаться. На пристань «Бармино» полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские притащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки облилось шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов.

Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов неся кастаньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали. Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке:

«Все – на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма».

Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап с помощью мальчика Кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов.

Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведро краски и угодливо заглядывал

в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту.

Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Выхода, однако, не было – приходилось довольствоваться и этим.

На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении.

Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа.

Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барминцы смотрели и слушали.

Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу.

– Воробьянинов, – шепнул он, – для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить – пойте погромче.

Старик опешил.

– Что же мне петь?

– Уж во всяком случае не «боже, царя храни!». Что-нибудь страстное: «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.

Великий комбинатор, прилепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери:

НИК. СЕСТРИН

Режиссер театра «Колумба»

Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх, к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал:

– Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь никто почти не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержанием.

Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден. Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка.

– А почему бы не отнести его в нашу каюту? – спросил он нетерпеливо. – Мы б его вскрыли сейчас же, И если бы нашли брильянты, то сейчас же на берег...

– А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: «Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде!» Так бы вы поступили?

Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях.

Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не дойдут. Искусство, оно всегда доходит!» Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен. Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. Берег покрылся улыбками.

«Барыня, барыня, – вырабатывал виртуоз, – сударыня-барыня».

Балалайка пришла в движение. Она перелетала за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит – барин без часов!»²⁹⁶ Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций.

Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками.

Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в трубку с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и к общему удовольствию стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за Полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами с такой силой, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард»²⁹⁷ нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, иноходью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго и плавно вертел ручку аппарата. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката.

Закончив съемку, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся. Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу. Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов.

– Так имейте в виду, – предостерегал толстяк, – с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя.

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер, – транспарант будет.

Наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло.

²⁹⁶ Имеется в виду народная плясовая песня, серия куплетов о барыне и барине – жадных, тщеславных и глупых щеголях и транжирах, причем у каждой серии был свой рефрен: «Ах, какая барыня, /Барыня-сударыня» и «Ах ты барин, барин мой, /Сударь-барин дорогой».

²⁹⁷ Группу составляли кинематографисты, призывавшие к отказу от коммерческой ангажированности и поиску новых художественных приемов. В СССР печатались труды теоретика «Авангарда» –Л. Деллюка (1890–1924), который, в частности, сформулировал категорию «фотогении» –аспекта действительности, наиболее подходящего для выражения средствами фото– или киноискусства.

Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро.

Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного Кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье.

Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами, глубоко внизу, плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло.

– Есть! – сказал Остап придушенным голосом.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,

писанное им в Баку, из меблированных комнат «Стоимость» жене своей в уездный город N

Дорогая и бесценная моя Катя! С каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Пишу я тебе из меблированных комнат «Стоимость» после того, как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной руке ношу пальто, на другой пиджак, – и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка, Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу.

По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Иностранцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре и видел я много турецких вещей и шалей. Захотел я тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), тогда и мусульманское покрывало купить можно будет.

Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) уронил пиджак брата твоего, булочника, в Каспийское море и 2) в меня на базаре плюнул одnogорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное – пощекотал хворостинкой в ноздре! А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу твоему брату, булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев?

Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в отпуска город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом Мысу, – такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума – на 15 рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже.

Твой вечно муж Федя.

Пост-скрипту: Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах «Стоимость» пальто брата твоего, булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето! Ты брату ничего не говори.

Глава XXXIII. Изгнание из рая

Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе N автомобиль Гос. N 1, повредившись на ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» – у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары, – забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!

– Есть! – повторил Остап сорвавшимся голосом. – Держите!

Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом.

– Что за черт! – сказал Остап. – Больше ничего нет!

– Н-н-не может быть, – пролепетал Ипполит Матвеевич.

– Ну, вы тоже посмотрите!

Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли,

– Нету? – спросил Остап.

– Нет.

Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту.

– Так, – сказал Бендер. – Что-то мы, во всяком случае, нашли.

Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него.

– Давайте, давайте! Чего глаза пялите! Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью:

ЭТИМ ПОЛУКРЕСЛОМ

МАСТЕР ГАМБС

начинает новую партию мебели.

1865 г. Санкт-Петербург

Надпись эту Остап прочел вслух.

– А где же брильянты? – спросил Ипполит Матвеевич.

– Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Брильянтов, как видите, нет.

На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.

Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал.

– Молчи, грусть, молчи. Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула – девяносто девять шансов из ста!

За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за брильянтами – все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой.

– Это вы нарочно? – спросил Остап. Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и, высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе. И начался третий день плавания. Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций.

После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра.

– Место занято, – хмуро сказал Галкин.

– Кем занято? – зловеще спросил кларнет.

– Мною, Галкиным.

– А еще кем?

– Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиным.

– А Елкина у вас нет? Это наше место.

С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеегорынычем стоял геликон – самая мощная машина в оркестре. Покачивалась похожая на ухо валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки, и саксофонвозмутительная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы, – был жалок и походил на носогрейку.

– Клистирный батальон, – сказал задира-кларнет, – претендует на место.

– Вы, – сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, – вы – консерваторы от музыки!

– Не мешайте нам репетировать!

– Это вы нам мешаете? На ваших ночных посудилах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит.

– А на ваших самоварах репетируй – не репетируй, ни черта не получится.

Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждая свое. Вниз по реке неслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по битому стеклу. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление – негрскую пляску: «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии.

В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса

электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки, Оставалось повернуть, выключатель,

Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки.

На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич И великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху; стоя по бокам темной еще скрижали.

Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе.

– Давай! – скомандовал толстячок. Транспарант осветился.

Остап посмотрел вниз, на толпу. Розовый свет лег на лица.

Зрители засмеялись. Потом наступило молчание. И суровый голос снизу сказал:

– Где завхоз?

Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз.

– Посмотрите, – сказал голос, – полюбуйтесь на вашу работу!

– Сейчас вытурят! – шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу.

И точно, на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок.

– Ну, как транспарантик? – нахально спросил Остап. – Доходит?

– Собирайте вещи! – закричал завхоз.

– К чему такая спешка?

– Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!

– Гоните его! – донесся снизу ответственный голос.

– Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это, в самом деле, неважный транспарант?

Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани.

В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут.

– Сучья лапа, – сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань.

– Поручили бы оформление транспаранта мне. Я б его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался.

На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.

– М-да, – сказал Остап, – транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.

Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьюми вместо рук.

Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка.

– Резюмирую положение, – сказал Остап жизнерадостно. – Пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии²⁹⁸. Актив: путеводитель по Волге издания тысяча девятьсот двадцать шестого года (пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте). Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани. Концессионеры устроились на пристанских лавках.

При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:

«На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные

²⁹⁸ Детскими комиссиями выпускались значки (жетоны) для продажи с целью использования выручки на нужды детских учреждений.

материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8000 жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум».

– Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал, – сказал Остап. – Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться и, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше, в Сталинграде.

Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником – кипучим владельцем крыш, чердаков и слуховых окон.

Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.

Глава XXXIV. Междупланетный шахматный конгресс

С утра по Васюкам ходил высокий, худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши:

22 июня 1927 г.

В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему:

«ПЛОДОТВОРНАЯ ДЕБЮТНАЯ ИДЕЯ»

и

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ В ШАХМАТЫ

на 160 досках

гроссмейстера (старший мастер)²⁹⁹ О. Бендер. Все приходят со своими досками.

Плата за игру – 50 коп. Плата за вход – 20 коп. Начало ровно в 6 час. вечера

Администрация К. Михельсон.

Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.

В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании.³⁰⁰

– Гроссмейстер О. Бендер! – заявил Остап, присаживаясь на стол. – Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.

²⁹⁹ Звание «гроссмейстер» для советских шахматистов было учреждено в 1927 году (упразднено в 1931–м), однако в описываемое время это звание еще никто не получил. Немногочисленных же обладателей звания «мастер СССР» любители шахмат могли знать поименно, почему Бендер и титулуется так, чтобы заранее предусмотреть нежелательные вопросы. Соответственно для васюкинцев экзотическая титулатура Бендера – прямое указание на то, что в город приехал шахматист, с успехом участвовавший в международных турнирах, возможно – иностранец. Сама глава – своеобразный отклик на тогдашний шахматный ажиотаж в СССР: благодаря московскому международному турниру 1925 года, визитам в СССР всемирно известных шахматистов и готовящейся I Лондонской шахматной Олимпиаде 1927 года шахматные рубрики периодических изданий стали необычайно популярны.

³⁰⁰ Фр. Шпильгаген (1829–1911) – немецкий писатель, автор популярных в России социально-политических романов. Собрание его сочинений выпустил известный петербургский издатель-«прогрессист» Л. Ф. Пантелеев (1840–1919) в 1896–1899 годах.

Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.

– Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! – крикнул одноглазый. – Присядьте, пожалуйста. Я сейчас.

И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекции за 1925 год».

Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера.

– Проездом в Казань, – говорил Остап отрывисто, – да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.³⁰¹

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

– Вы не поверите, – говорил он, – как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер³⁰² дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокорстве. Гроссмейстер перешел на местные темы.

– Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно! Идея имела успех.

– И в самом деле, – сказали васюкинцы, – почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех коней»?

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью,

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.

– Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб четырех коней» при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

– Да! – кричал он. – Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир.

– Как? – закричали все.

– Вполне реальная вещь, – ответил гроссмейстер, – мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации

³⁰¹ Карлсбадские (карловарские) международные турниры считались традиционными международными соревнованиями шахматистов, однако именно в 1927 году такой турнир не проводился. Авторы романа подчеркивают, что Бендер попросту пересказывает все, что когда-либо читал или слышал о шахматах и шахматистах.

³⁰² Э. Ласкер (1868–1941) – чемпион мира в 1894–1921 годах.

международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмар и доктора Григорьева³⁰³ обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

– Но деньги! – застонали васюкинцы. – Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

– Все учтено могучим ураганом, – сказал О. Бендер, – деньги дадут сборы.

– Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...

– Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС³⁰⁴ построит железнодорожную магистраль Москва–Васюки. Это – раз. Два – это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, – четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это – в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва–Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносившихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам – москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.

Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот – все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо

³⁰³ А. И. Нимцович (1886–1935) официально считался с 1906 года одним из сильнейших шахматистов мира, участник международных турниров и матчей на первенство мира. Р. Рети (1889–1929) с 1909 года участвовал в международных турнирах, возглавлял команду Чехословакии на I шахматной Олимпиаде 1927 года. А. К. Рубинштейн (1882–1961) – участник международных турниров с 1905 года, в 1920-е годы считался одним из сильнейших шахматистов мира. Г. Мароци (1879–1951) – участник международных турниров с 1895 года, возглавлял команду Венгрии на I шахматной Олимпиаде. Э. Тарраш (1862–1934) – призер международных турниров 1889–1894 годов, претендент на мировое первенство. М. Видмар (1885–1962) – один из ведущих шахматистов мира 1910–1920-х годов, председатель Шахматного союза Югославии.

³⁰⁴ НКПС – наркомат (министерство) путей сообщения.

откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней».

Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина.

Приветственные крики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным.

Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька, висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком.

– Это он! – закричал одноглазый. – Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки.

Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился.

Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал:

– Помириться! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помириться!

Хозе-Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал:

– Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с b5 на c4.

– Ура! – воскликнул одноглазый. – Просто и убедительно, в стиле чемпиона! И вся невообразимая толпа подхватила:

– Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!!

Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей.

Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками.

– Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы.

– Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой делается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

– Да-а, – выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взглядом. – Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?

Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.

– Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы. Одноглазый подталкивал своих соратников.

– Ну! – спрашивал он. – Что вы скажете?

– Устроим! Устроим! – гомонили васюкинцы.

– Сколько же нужно денег на это... телеграммы?

– Смешная цифра, – сказал Остап, – сто рублей.

– У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...

Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.

– Ладно, – сказал он, – давайте ваши двадцать рублей.

– А хватит? – спросил одноглазый.

– На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать.

Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.

– Я голодаю, – сказал Воробьянинов трескучим голосом.

Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки.

– Слушайте, Воробьянинов, – закричал Остап, – прекратите часа на полтора кассовые операции! Идем обедать в нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.

– Ни одного билета не продал, – сообщил Ипполит Матвеевич.

– Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира.

– Так зачем же нам сеанс одновременной игры? – зашептал администратор. – Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход, – как раз «Карл Либкнехт» сверху пришел, – спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Авось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы – богачи, и все принадлежит нам.

– На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем... А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей тридцать.

– Побьют! – горько сказал Воробьянинов.

– Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.

К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнувший одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник».

Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.

– Ну, как? – тихо спросил гроссмейстер.

– Входных – тридцать и для игры – двадцать, – ответил администратор.
– Шестнадцать рублей. Слабо, слабо!
– Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют.
– Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать, а пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать!

Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале.

– Закрывайте окошечко! Давайте деньги! – сказал Остап. – Теперь вот что. Нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу, пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме.

Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход e2–e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это несколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии.

Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками.

Неделю тому назад состоялся вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене:

ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ – ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду.

– Товарищи! – сказал он прекрасным голосом. – Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал, и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем-Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, – это «*Quasi una fantasia*». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, – это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...

Блондин в третьем ряду зарделся.

– А вон тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета.

– Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хотел сказать – в шахматах... А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева.³⁰⁵

Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию.

Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви.

³⁰⁵ Авторы вышучивают тогдашние споры о гипермодернизме – сложившемся в 1910–1920-е годы направлении шахматной стратегии, особенно сильно повлиявшем на дебютную теорию, о которой, кстати, должен был рассказать васюкинец Бендер. Основателями этого направления считались Нимцович, Рети и Алехин. Сам термин «гипермодернизм», или «ультрасовременные шахматы», был предложен Тартаковым. Примечательно, что упомянутые лжегроссмейстером Капабланка, Ласкер и Григорьев гипермодернистами не были.

Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдать гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода.

Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки e2 на клетку e4.

Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело:

– Гроссмейстер сыграл e2–e4.

Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с e2 на e4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения, Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:

– Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!

«С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией», – решил он про себя.

Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора.³⁰⁶ Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.

Сперва любители, и первый среди них – одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно.

С необычайной легкостью и безусловно ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдать, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.

– Мат! – пролепетал насмерть перепуганный брюнет. – Вам мат, товарищ гроссмейстер. Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.

«Пора удирать», – подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.

– Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер, – залебезил одноглазый. – Конь так не ходит.

– Пардон, пардон, извиняюсь, – ответил гроссмейстер, – после лекции я несколько устал.

В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий.

³⁰⁶ Имеется в виду Ф. А. Даникан Филидор (1726–1795), автор изданной в 1749 году хрестоматийно известной монографии «Анализ шахматной игры».

Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман.

Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.

– Только что на этом месте стояла моя ладья! – закричал одноглазый, осмотревшись, – а теперь ее уже нет!

– Нет, значит, и не было! – грубовато ответил Остап.

– Как же не было? Я ясно помню!

– Конечно, не было!

– Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

– Выиграл.

– Когда? На каком ходу?

– Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

– Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!

– Контора пишет, – сказал Остап.

– Это возмутительно! – заорал одноглазый. – Отдайте мою ладью.

– Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!

– Отдайте ладью!

С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.

– Товарищи! – заверещал одноглазый. – Смотрите все! Любителя бьют! Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.

Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители.

– Держите гроссмейстера! – ревел одноглазый.

– Жулье! – поддерживали остальные.

– Пижоны! – грызался гроссмейстер, увеличивая скорость.

– Караул! – кричали избитые шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед.

– Вот я вас сейчас, сволочей! – гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки.

Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатались куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен.

– Держите гроссмейстера! – катилось сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.

Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором.

Ипполит Матвеевич идилично сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал.

– Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове – гонорар довольно приличный.

Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк.

– Держи гроссмейстера! – вопили в перегруженной барке.

– Ходу, Киса! – сказал Остап. – Если они нас догонят, не смогу поручиться за целостность вашего пенсне.

Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил.

– Не уйдете, сволочи! – кричали из барки.

Остап не отвечал: было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку.

– Валяй, – шептал Остап самому себе.

Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку concessionеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Concessionеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера.

– Берегите пенсне, Киса! – в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. – Сейчас начнется!

– Господа! – воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. – Неужели вы будете нас бить?

– Еще как! – загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.

Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду.

– Осторожней! – пискнул одноглазый капитан. Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась.

Общий вопль нарушил спокойствие реки.

– Уау! – протяжно стонали шахматисты. Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый.

– Пижоны! – в восторге кричал Остап. – Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?

Остап описал вокруг потерпевших крушение круг.

– Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарю вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны... Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки, центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует «Клуб четырех коней»!

Глава XXXV. И др.

Утро застало concessionеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двойковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.

Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями.

– С добрым утром, Киса, – сказал он, давясь зевотой. – Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало...³⁰⁷

– Пристань, – доложил Ипполит Матвеевич.

Остап вытащил путеводитель и справился.

– Судя по всему – Чебоксары. Так, так... «Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары...» Киса, он, в самом деле, красиво расположен?... «В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя»... Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно... Откроем «Пти-шво»³⁰⁸ и с этого «Пти-шво» будем иметь верный гран-кусочек хлеба... Ну-с, дальше. «Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом»...

Но, еще прежде чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плившим по течению впереди лодки.

– Стул! – закричал Остап. – Администратор! Наш стул плывет.

Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки concessionеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо.

Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно направляющийся в Каспийское море.

– Здорово, приятель! – крикнул Остап. – Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать Уголовного розыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами с северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить,

³⁰⁷ Неточно цитируется первая строфа стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом», которое было дежурным декламационным номером на литературных вечерах предреволюционных лет.

³⁰⁸ (от фр. *petits chevaux* – лошадки) – настольная игра, имитирующая бега на ипподроме: по разграфленному картонному листу противники передвигают от «старта» к «финишу» фишки в форме лошадей, скорость передвижения которых определяется количеством очков, набираемых при поочередном бросании игральные костей.

туповатое... «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона...» Вот, Киса, что о вас написали бы.

– А о вас бы что написали? – сердито спросил Воробьянинов.

– О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романа: «Прощай ты, Новая деревня».³⁰⁹ Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23 VIII–24 г. кустарной артелью «Пегас и Парнас» за N 86/1562». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами».

Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с трупной колумбовцев в Сталинграде.

«Скрябин» пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани, Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши,

Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персицкого.

Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики:

– Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? «Ликую с вами». Пусть догадываются!

Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «ура!».

После того как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и, весело крича, покатали прямо на вокзал.

– Кажется, в Сталинграде они играть не будут, – сказал Ипполит Матвеевич.

Это озадачило Остапа.

– Придется ехать, – решил он, – а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет.

На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую-Минеральные Воды, Денег у концессионеров хватило только на один билет.

– Вы умеете ездить зайцем? – спросил Остап Воробьянинова.

– Я попробую, – робко сказал Ипполит Матвеевич.

– Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я.

³⁰⁹ Имеется в виду народная песня: «Прощай ты, Новая деревня, /Прощай ты, вся моя семья! /Прощай, подруга дорогая, /Как знать, увижу ль я тебя?..»

Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию «Минеральные Воды» Северо-Кавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа.

Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве.

– Где вы были? – простонал предводитель. – Я так измучился!

– Это вы-то измучились, разъезжая с билетом а кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы – свинья, гражданин предводитель! Где театр?

– В Пятигорске.

– Едем! Я кое-что накопал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит.

Дачный поезд, брэнча, как телега, в пятьдесят минут дотацил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.

Глава XXXVI. Вид на малахитовую лужу

Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рошицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя.

Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки³¹⁰, парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш».³¹¹ Концессионеры, в тяжелых, грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках, чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции.

На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку.

Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал –Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек.

В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.

Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов,

³¹⁰ «Чертова кожа» – плотная хлопчатобумажная ткань, получившая столь экзотичное название за необычайную прочность, способность долго не намочать и легкий глянец, придающий некоторое сходство с выделанной кожей. Коломянка (от нем. Kalamank) – льняная ткань, тоже плотная и гладкая.

³¹¹ Имеются в виду рубашки с отложным незастегивающимся, открывающим горло воротником. Считалось, что такой фасон популярен среди парижских бандитов – апашей (от фр. apache – название племени индейцев, используемое в значении «налетки», «разбойники», «грабители» и т. п.), которые принципиально не носили галстуков, повязывая прямо на шею под воротник яркий платок.

– Эх, Киса, – сказал Остап, – мы чужие на этом празднике жизни.

Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника.

Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице.

Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-среднячков.

На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусяй и соглашался.

– Можно, – говорил он, – это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся. Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.

– Ну, – сказал Остап, – за все дело десятку!

– Дуся! – удивился монтер. – Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.

– Сколько же вы хотите?

– Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.

– Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.

– Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

– Хорошо излагает, собака, – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, – учитесь.

– Когда же вы стулья принесете?

– Стулья против денег.

– Это можно, – сказал Остап, не думая.

– Деньги вперед, – заявил монтер, – утром – деньги, вечером – стулья или вечером – деньги, а на другой день утром – стулья.

– А может быть, сегодня – стулья, а завтра – деньги? – пытал Остап.

– Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.

– Но ведь я, – сказал Остап, – только завтра получу деньги по телеграфу.

– Тогда и разговаривать будем, – заключил упрямый монтер, – а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?

И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.

Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.

– Время, – сказал он, – которое мы имеем, – это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк.

Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова.

– Снимите пиджак, предводитель, поживее, – сказал он неожиданно.

Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.

– Что вы делаете? – завопил Воробьянинов. – Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!

– Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!

Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.

– Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.

– Что же я должен делать? – слезливо спросил Воробьянинов.

– Французский язык знаете, надеюсь?

– Очень плохо. В пределах гимназического курса.

– Гм... Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?

– Мосье, – начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, – мосье, гм, гм... же не, что ли, же не манж па... шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк... сис... сис... жур. Значит, же не манж па сис жур.

– Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в Европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран.³¹² Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?

– Зачем мне это все? – воскликнул Ипполит Матвеевич.

– Затем, – сказал Остап веско, – что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подавание, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?

Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.

– Ай-яй-яй, – сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись, – посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!

– Никогда, – принялся вдруг чрево вещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал руки.

– Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап. – Вы не протягивали руки?

– Не протягивал.

– Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою к воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию³¹³ и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...

– Да, – пробормотал предводитель.

– В таком случае повторите заклинание.

– Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.

– Еще раз. Жалостнее! Ипполит Матвеевич повторил.

– Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто – вечером больше подают.

– А вы, – спросил Ипполит Матвеевич, – куда пойдете?

³¹² А. Мильеран (1859–1943) был в 1920–1924 годах президентом Франции, затем избирался в Сенат, его политическая деятельность довольно часто обсуждалась в советской периодике.

³¹³ Речь идет об одной из традиционных, определенных балетными правилами позиций, с которых начинается движение в танце: ноги выпрямлены в коленях, ступни развернуты перпендикулярно друг другу – так, чтобы правая пятка была прижата к середине левой ступни.

– Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.

Друзья разошлись.

Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.

– Прежде всего система, – бормотал он, – каждая общественная копейка должна быть учтена.

Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха.

Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.

Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.

Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишённого предрассудков, может явиться доходной статьёй:

«Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».

И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создававшаяся ситуация.

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

– Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!

Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

– Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?

– Совершеннейшая правда, – подтвердил Остап, – этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза – десять копеек и не членам профсоюза – тридцать копеек.

Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

– Членам профсоюза – десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком провалился.

В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы:

– Мсье, же не манж па... Гебен зи мир битте... Подайте что-нибудь депутату Государственной думы...

Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слово «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медяков рубля на три.

Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони³¹⁴ на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами.

– Подайте бывшему члену Государственной думы, – бормотал предводитель.

– Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? – раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. – И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс!

Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробышек, толстенький Авессалом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами:

– Скажите, вы в самом деле видели Родзянко?³¹⁵ Пуришкевич,³¹⁶ в самом деле, был лысый? Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс!

Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в «Цветнике» мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось:

– Ах! Ах! «Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!»³¹⁷ Ах! Ах! «Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..» Ах! Ах! «А поутру она вновь улыбалась!» Высокий класс!..

Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого.

В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.

– Хо-хо! – раздавалось в ночной тиши. – Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота!

В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее попрежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским N 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.

После ликвидации второго дома собеса (было продано все, включая даже туалъденоровый колпак повара и лозунг: «Тщательно пережевывая пищу, ты

³¹⁴ Мацони – кисломолочный напиток армянского происхождения. Является традиционным армянским и грузинским ферментированным молоком, являющимся важным продуктом питания их национальных кухонь.

³¹⁵ М. В. Родзянко (1859–1924) – один из лидеров октябристов, в 1911–1917 годах – председатель Государственной думы, впоследствии – эмигрант. Из-за высокого роста, дородности и вообще «монументальной» – по словам современников – внешности он стал своего рода думским символом.

³¹⁶ В. М. Пуришкевич (1870–1920) – праворадикальный публицист, поэт, один из основателей экстремистских организаций «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», депутат Государственной думы с 1907 года, участник убийства Распутина. По причине одиозных политических воззрений подвергался нападкам либеральной прессы, в связи с чем его обширная лысина стала постоянной мишенью карикатуристов.

³¹⁷ Неточно цитируется первая строфа стихотворения А. С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне...», или, что более вероятно, популярный романс М. А. Балакирева на пушкинские стихи.

помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в Провал, но не успел. Это спасло его: Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей.

Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях «Цветника».

– Сколько насбирали? – спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.

– Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные – медь и немного серебра.

– Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете. Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали?

– Изнуренков дал.

– Да не может быть! Авессалом? Ишь ты, шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал!

– Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся!

– Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса! А вы еще кобенились, лорда хранителя печати ломали! Ну, Кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого – хватит.

На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.

Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука.

Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск.

Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.

Глава XXXVII. Зеленый мыс

Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.

Брунс вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул:

– Му-у-усик!

Дача молчала.

Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям.

Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал:

– Му-у-у-усик! Му-у-у-усик!

Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил:

– Мусик!!! Готов гусик?!

– Андрей Михайлович! – закричал женский голос из комнаты. – Не морочь мне голову! Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил:

– Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!

– Пошел вон, обжора! – ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться.

Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями, и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая борода. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом:

– Где здесь находится инженер Брунс?

– Я инженер Брунс, – сказал заклинитель гусика неожиданным басом. – Чем могу?

Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.

– Вы с ума сошли! – воскликнул инженер, вскакивая. – Встаньте, пожалуйста!

– Не встану, – ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.

– Встаньте!

– Не встану!

И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.

– Мусик! Иди сюда! – закричал испуганный инженер. – Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас!

– Не встану, – повторил отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа.

Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачистил:

– На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю.

Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой).

– Не смею, – забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, – не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ.

И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени.

Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.

– Мусик, – сказал он, тяжело дыша, – поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение.

Мусик сразу взяла деловой тон.

– В моем доме, – сказала она грозно, – пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!

– Голубушка! – умилился отец Федор. – Матушка!

– Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?

Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умиленное.. Только после долгих расспросов удалось понять, что он как особой милости просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит.

Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по-черепашьи гоняться за инженером.

– Почему, – кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора, – почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять!

– Да ведь это мои стулья, – простонал отец Федор.

– То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно! Это явный псих!

– Мои, – униженно твердил отец Федор.

– Что ж, по-вашему, я у вас их украл? – вскипел инженер. – Украл? Слышишь, Мусик! Это какой-то шантаж!

– Ни боже мой, – шепнул отец Федор.

– Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума!³¹⁸ Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство. Пообедать не дадут по-человечески!

Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не покуситься и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.

– Что? – крикнул инженер багровея. – Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!

– Я не псих, а единственно выполняю волю пославшей мя жены...

– О ч-черт, – сказал инженер, – опять ползать начал! Мусик! Он опять ползает!

– Назначьте же цену, – стонал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.

– Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет!

– А мы на чем сидеть будем? – спросила Мусик.:

– Купим другие.

– Это за двадцать-то рублей?

– За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят продам.

Ответом послужил страшный удар головой о драцену.

– Ну, Мусик, это мне уже надоело. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум:

– Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше.

– Не корысти ради, – пропел отец Федор, – а токмо во исполнение воли больной жены,

– Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы... ну... продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.

– Возьмите даром! – воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:

³¹⁸ Слово «пандемониум» обычно употреблялось в значении «преисподняя», «ад».

– Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.

– Пятьдесят, – предложил отец Федор.

– Мусик! – сказал инженер. – Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина!

– Не корысти ради...

– Багратион!

Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться,

В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.

– Не корысти ради, – сказал мягкий голос. – Пятьдесят пять рублей.

Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез.

Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду.

Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль, В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.

– Сто тридцать восемь! – кричал он откуда-то с неба.

А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.

– Сто сорок один, – предлагал отец Федор, – не корысти ради, господин Брунс, а токмо...

Наконец, инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать:

– Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь.

Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и ударяющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.

– Ну и гусики теперь пошли, – пробормотал инженер, входя в комнаты.

Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.

В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму:

ТОВАР НАШЕЛ ВЫШЛИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ТЕЛЕГРАФОМ ПРОДАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ ФЕДЯ

Два дня он восторженно слонялся у брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками:

– Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!

На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой:

**ПРОДАЛА ВСЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ОДНОЙ КОПЕЙКИ ЦЕЛУЮ И ЖДУ ЕВСТИГНЕЕВ
ВСЕ ОБЕДАЕТ КАТЯ**

Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс.

Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега.

Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью.

– Принес деньги я, – сказал отец Федор, – уступили бы малость.

– Мусик, – застонал инженер, – я не могу больше!

– Да нет, я деньги принес, – заторопился отец Федор, – двести рублей, как вы говорили.

– Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья. И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень.

Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Брильянты сыпались в карманы, как семечки.

Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку.

Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссе, мимо рестораника «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишённого в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали.

Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.

– Стой! – закричал вдруг отец Федор вознице. – Стой, мусульманин!

И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок пляжа и вынул топорик.

Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.

– Ага! – крикнул отец Федор. – Я т-тебе покажу!

И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.

– Ага! Ага! Ага! – приговаривал отец Федор, рубя сплеча.

Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора.

От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар.

А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой

весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак.

Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно.

Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Коти,³¹⁹ шелковые чулки и необандероленный сухумский табак,³²⁰ потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.

Глава XXXVIII. Под облаками

Через три дня после сделки concessionеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня concessionеры не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти в бутафорской.

– Вот вам и Кислые воды! – заявил Остап, узнав об отъезде театра. – Сучья лапа этот монтер! Имей после этого дело с теарботниками!

Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно.

– Нужны деньги на поездку во Владикавказ, – сказал Остап. – Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды! Захватывающий пейзаж! Чудный горный воздух! И в финале всего – сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание.

Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унижительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ.

В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком.

После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи.

Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.

– Слишком много шику, – сказал он. – Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.

У владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга³²¹, и ласковые люди говорили:

³¹⁹ То есть пудру, изготовленную на предприятиях французского парфюмера Ф. Коти (1874–1934). В данном случае, вероятно, речь идет о подделке или контрабанде.

³²⁰ Бандеролью называли этикетку в виде узкой бумажной ленты с оттиском специального штампа или иным рисунком, наклеивавшуюся на товарную упаковку после уплаты торговцем пошлины; соответственно, «необандероленный» означает «беспошлинный».

– Кто поедет по Военно-Грузинской дороге, тех в город везем бесплатно.

– Куда же вы. Киса? – сказал Остап. – Нам в автобус. Пусть везут нас бесплатно.

Подвезенный автобусом к конторе Закавказского автотранспортного торгово-промышленного акционерного общества, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горы и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.

Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взять с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека»,³²² за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек.

– Довольно, – сказал Остап, – выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух!.. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны набирать не меньше двух рублей! Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы...

Спозаранку concessionеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.

– Нам повезло, Киса, – сказал Остап, – ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..

Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса – постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волооча левую ногу.

Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали: не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука.

После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась вверх, и вечером concessionеры очутились на станции Ларе, в тысяче метров над уровнем моря.

Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами.

Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, sprysnutyi горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларе сейчас же встала грандиозная стена Бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти сажням, concessionеры увидели столько

³²¹ То есть автобус, принадлежавший Закавказскому автотранспортному торгово-промышленному акционерному обществу.

³²² Речь идет о владикавказском городском парке с оранжереями.

надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека:

– Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла! Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.». Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?

– Киса, – продолжал Остап, – давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».

И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу.

Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары,³²³ сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб.

В это время, в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом.

На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь добротными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше.

Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал:

– Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!

Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне.

Ущелье раскололось в глазах отца Федора, Терек прекратил свой тысячелетний крик.

Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом.

Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

– Куда девал сокровища убиенной тобой тещи?

Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне.

– Говори! – приказывал отец Федор. – Покайся, грешник!

Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло:

Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валы...³²⁴

Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись.

– А, вот это кто?! – дружелюбно закричал Остап. – Конкурирующая организация!

Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.

– Бейте его, товарищ Бендер! – кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич.

– Лови его! Держи!

Остап засвистал и заулюлюкал.

³²³ Речь идет о развалинах средневековой крепости в Дарьяльском ущелье, которые легенда связывала с грузинской царицей Тамарой (XII век). Замок этот изображен в балладе Лермонтова «Тамара».

³²⁴ Неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Обвал».

– Тю-у-у! – кричал он, пускаясь вдогонку. – Битва при пирамидах,³²⁵ или Бендер на охоте! Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул!

Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх.

– У-у-у! – кричал Остап снизу. – Держи его!

– Он унес наши припасы! – завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.

– Стой! – загремел Остап. – Стой, тебе говорю!

Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.

– Отдай колбасу! – взывал Остап. – Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.

– Я отдам колбасу! – закричал отец Федор. – Снимите меня!

В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы.

– Сними-ите меня! – жалобно кричал отец Федор.

Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили.

Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.

Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю.

Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробежавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила – солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:

– Соседями будем.

– Матушка! – с чувством сказал отец Федор. – Не корысти ради...

– Знаю, знаю, – заметила царица, – а токмо волею пославшей ты жены.

– Откуда-ж вы знаете? – удивился отец Федор.

– Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем! А?

Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи.

На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.

– Птицы, – говорил он им звучным голосом, – покайтесь в своих грехах публично!

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.

– Направо – замок Тамары, – говорили опытные проводники, – а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно.

– И дикий же народ! – удивлялись экскурсанты. – Дети гор!

³²⁵ Намек на Египетскую экспедицию Наполеона, во время которой французскими солдатами проводились массовые казни пленных.

Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба.

Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

Птичка божия не знает
Ни заботы, як труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.³²⁶

Орел покосился на отца Федора, закричал «ку-куре-ку» и улетел.

– Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора.

Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом:

И будешь ты царицей ми-и-и-и-рра,
Подр-р-руга ве-е-чная моя!³²⁷

И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна.

– Не корысти ради, – сказал отец Федор брандмейстеру, – а токмо...

Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу.

Глава XXXIX. Землетрясение

– Как вы думаете, предводитель, – спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, – чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?

Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.

Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое – альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича:

– Давай денги! Денги давай!

Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.

– Святое дело, – сказал Остап, – капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.

К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.

– Давай денги! Денги давай! – закричал он сердито.

Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом.

³²⁶ Стихи из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

³²⁷ Имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна «Демон».

Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.

В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.

Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.

Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.

Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «Суд и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок».

– Привал! – закричал Персицкий. – Хозяин! Пятнадцать шашлыков!

Во «Франции» заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню.

– Вы не узнаете этого молодого человека? – спросил Остап. – Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали! Что это значит?

Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким.

– Бонжур! – сказал репортер. – Где это я вас видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли?

Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился.

– Позвольте, позвольте, – продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера. – Не на вас ли это в Москве, на Свердловской площади, налетела извозчицья лошадь?

– Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом.

– А вы тут как, по художественной части орудуете?

– Нет, я с экскурсионными целями.

– Пешком?

– Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле просто глупость.

– Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю – свои, коллективные. Прямое сообщение Москва–Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа!

– Откуда у вас все это? – завистливо спросил Остап. – Сто тысяч выиграла?

– Сто не сто, а пятьдесят выиграла.

– В девятку?

– На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу.

– Да, – сказал Остап, – и на эти деньги вы купили автомобили?

– Как видите!

– Так-с. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.

– Какой старшой?

– Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу... А?

– Я вас понимаю. Нет, не нужен.

– Не нужен?

– Нет. К сожалению. И художник также не нужен.

– В таком случае дайте десять рублей.

– Авдотын, – сказал Персицкий. – Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчетное.

– Этого крайне мало, – заметил Остап, – но я принимаю. Я понимаю всю затрудительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Во всяком случае – благодарю!

Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком компаньоном.

– Видали вы этот блеск? – спросил Остап Ипполита Матвеевича.

– Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? – деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге, – Я хотел было подойти к ним потанцевать.

– Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, вы-и-гра-ли пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли?

И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах.³²⁸

На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места: Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету – древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису.

Вечером путники миновали ЗАГЭС – Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре.

Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.

– Городок не плох, – сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели, – вы знаете, Киса...

Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать.

³²⁸ Лимитрофы (лат. *limitrophus* – пограничный) – государства, образовавшиеся на западных окраинах Российской империи в результате революции 1917 года и Гражданской войны: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок.

– Знаете, кто это? – шепнул он быстро. – Это «Одесская бубличная артель Московские баранки», гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надуть щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем! Идем!

Действительно, в некотором отдалении от concessionеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучовом костюме и канотье.³²⁹

– Вы, кажется, знакомы, – сказал Остап шепотом, – вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайтесь внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить.

Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам.

Ресторанные столы были расставлены на траве Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку.

– Прикажете чего-нибудь подать, – втолковывал Бендер.

По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр.

– И поесть чего-нибудь, – сказал Остап. – Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству.

«Опять! – с отчаянием подумал Кислярский. – Опять начинаются мои мученья. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым! И Генриетта советовала!»

Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.

– Так вот, – сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, – в двух словах. За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться,

У Кислярского посеребрились щеки.

– Мы рады, – продолжал Остап, – встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.

– Гм... да! – гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони.

– Да, – шептал Остап. – Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

– Не надо, – твердо сказал Кислярский.

В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого

³²⁹ Чесуча (от кит. tsoudzu – шелк-сырец) – дорогая шелковая ткань, обычно светло – или темно-золотистая. Канотье (от фр. canotier – гребец) – соломенная шляпа с низкой тульей правильной цилиндрической формы и узкими прямыми полями, шляпы этого фасона были элементом молодежной моды 1870-х годов – их носили увлекающиеся греблей. В сатирической журналистике 1920-х годов чесучовый костюм и канотье – атрибуты преуспевающего коммерсанта, нэпмана.

комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь.

– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. – Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.

– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»

Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму: «ЕДУ ТВОЕМУ СОВЕТУ КРЫМ ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ГОТОВЬ КОРЗИНКУ».

Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхтклуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой.

– Ах! – говорил Бендер, – высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, Киса?

– Товарищ Бендер, – твердил Воробьянинов, – как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром.

– Хо-хо! – возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант». – Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я – как Суворов!.. Грабьте город. Киса! Веселитесь!

И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.³³⁰

Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко.

– Здравствуйте! – сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». – Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!

Театральная хроника

Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба.

Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.

³³⁰ Цитируется романс «Вечерний звон» А. А. Алябьева на стихи И. И. Козлова – перевод с английского стихотворения Т. Мура.

– Ага! Я вам говорил! – сказал Воробьянинов,
– Что вы мне говорили! – окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени.

В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон.

Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках.

Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал:

– Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает!

В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу брильянты, Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен.

Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор.

К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу, возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер».³³¹ Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками.

Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина.

– Подождите, Воробьянинов! – крикнул Остап.

И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями.

– Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.

И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород.

Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасенья. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море.

К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.

Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного: холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, может быть, и потому, что вид

³³¹ Акционерное общество «Крымкурсо» – самая крупная крымская автотранспортная организация, занималось как автобусными, так и автомобильными перевозками, равным образом экскурсиями по Крыму; промыслово-кооперативное товарищество (или же «автоартель») «Крымский шофер» предлагало клиентам таксомаршруты исключительно на легковых автомобилях.

Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился.

Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте.

Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания невероятно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохладиться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, под хлынувший наконец свежий дождь.

– За мной, Киса, – скомандовал Остап. – В случае чего мы – не нашедшие выхода из театра провинциалы.

Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену.

Великий комбинатор побежал вверх по лестнице, в бутафорскую.

– Идите сюда! – крикнул он.

Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх.

– Видите? – сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «...хочу...»

– Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте, Киса, спички. Я его вскрою.

И Остап полез в карман за инструментами.

– Ну-с, – сказал он, протягивая руку к стулу, – еще одну спичку, предводитель.

Вспыхнула спичка, и странное дело, стул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол.

– Мама! – крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.

Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю, Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами.

Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года.³³²

Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.

– Товарищ Бендер! Что это такое? – кричал Ипполит Матвеевич в ужасе.

Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.

– Что это? – вопил Воробьянинов.

С улицы доносились крики, звон и топот.

– Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа.

И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой.

– Давайте плоскогубцы! – крикнул он Остапу.

– Идиот вы паршивый! – застонал Остап. – Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух!

– Плоскогубцы! – ревел обезумевший Ипполит Матвеевич.

– Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память?

³³² Речь в данном случае идет о землетрясении 11 сентября 1927 года, однако первое, куда менее сильное, было гораздо раньше – 26 июня.

С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом.

Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса.

– Ну, теперь давайте стул, – хладнокровно сказал Бендер. – Вам, я вижу, уже надоело его держать.

– Не дам! – взвизгнул Ипполит Матвеевич.

– Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул. Слышите?

– Это мой стул! – заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.

– В таком случае получайте гонорар, старая калоша!

И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее.

В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.

– Ну, теперь хорошо, – сказал Остап, переводя дыхание, – бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен! Поняли?

– Понял.

Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов.

На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула.

Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком.

Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу.

Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания.

– В конце концов, – сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, – теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается. Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена.

Глава XL. Сокровище

В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопуло. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап

возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе брильянты мадам Петуховой.

Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода брильянтовой скачки он потерял свои привычки.

По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами Изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым.

Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменялся необыкновенно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота.

Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства: чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника», наконец землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть.

В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором.

Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его.

В коридоре раздался топот ног и кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблочки. Он тяжело дышал.

– Ипполит Матвеевич! – закричал он. – Слушайте, Ипполит Матвеевич!

Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял...

– Есть? – выдохнул он.

– В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт вас раздери!

– Не кричите, все слышно.

– Верно, верно, могут услышать, – зашептал Остап быстро. – Есть, Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, новом клубе... Вчера было открытие... Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высокий класс!

Не ожидая, шока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.

– Вы одеты, как сапожник! – радостно болтал Остап. – Кто так ходит, Киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное! Скажите, вы, в самом деле, были предводителем дворянства?

Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамбсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.

– Через это окошечко, – сказал он, – мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса, – третье окно от парадного подъезда.

Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО³³³ и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам.

– Если бы я играл в Васюках, – сказал Остап, – сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве.

Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирали прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорило нежностью:

– Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну, зачем вам, зачем вам столько денег?

– Как зачем? Как зачем? – кипятился Ипполит Матвеевич.

Остап чистосердечно смеялся и прикивал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.

– Ну что вы купите. Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцать тысяч вам за глаза хватит... Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня... А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах... А? Подходит вам это предложение?

Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления.

Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок.

– Вы в самом деле на меня обиделись? – спросил Остап. – Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.

Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.

– А? Киса, – резвился Остап, – соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванову уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в камердинеры... Теплое местечко.

Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал:

– Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть.

Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил:

– А то камердинером!.. Приличное жалованье... Харчи... Чаевые... Ну, ну, пошутил... Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

³³³ уездный отдел Наркомпроса.

Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями.

Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам. Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание: поскорее все кончить.

Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наизывательнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами.

Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался.

Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря.

– Тем лучше, – прошептал Ипполит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу.

«Что это за лужа? – подумал Ипполит Матвеевич. – Да, да, кровь... Товарищ Бендер скончался».

Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь.

Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Брильянты все мои, а вовсе не шесть процентов», пошел на Каланчевскую площадь.

У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор.

Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Опешить ему было некуда. За ним никто не гнался.

Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула.

Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями.

«Сейчас же на автомобиль, – подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, – на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там...»

И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя:

– Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!

Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу.

– Этого не может быть, – повторял он, отойдя на квартал. – Этого не может быть!

И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами:

– Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть.

Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Брильянтовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут.

– Ходят тут, ходят всякие, – услышал Воробьянинов над своим ухом.

Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр.

– Ходят и ходят, – общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество, – и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный.

Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.

– Да, – сказал старик, – необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нет-у.

– А что же в нем такого необыкновенного? – спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями.

Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.

– Ну, и вот, – начал старик, – я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб... Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: «Куда, мол, дрова у тебя идут?» А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом – там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение: господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсоюз³³⁴ кредита не утверждал. Только весной товарищ Красильников стул для сцены купил, стул хороший, мягкий...

³³⁴ Дорожный комитет профессионального союза работников железнодорожного транспорта.

Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сторожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился. – С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю – из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке.

– Бусы, – проговорил Ипполит Матвеевич.

– Бусы! – визгнул старик восхищенно. – И смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией...

– Где же драгоценность? – закричал предводитель.

– Где, где, – передразнил старик, – тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!

– Где? Где?

– Да вот они! – закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. – Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр, в калошах не пускают!..

Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.

Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал.

Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навывлет волчицы, – вылетел на середину площади, мотнулся под мост и, отгалкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничным свой поход.